

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ
&
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

EPISTEMOLOGY & PHILOSOPHY
OF SCIENCE

Ежеквартальный журнал • 2014 • Т. XXXIX • № 1

Журнал «Эпистемология & философия науки» – научно-теоретический журнал Института философии Российской академии наук. Его тематику составляют теория познания, общая методология науки и специальные науки о познании. Наряду с философскими статьями журнал публикует материалы по социологии научного знания, теоретической истории науки, когнитивной психологии, когнитивной лингвистике и ряду других дисциплин. Позиция журнала определяется как принципиально междисциплинарная: всестороннее описание всякого феномена культуры невозможно без выявления его познавательного содержания, а эпистемологический анализ нуждается в привлечении результатов и методов специальных наук о познании.

Выбор материалов обусловлен их значением для развития философско-эпистемологических исследований и совершенствования преподавания философии, а также истории и философии науки в высшей школе.

В работе редакционной коллегии, международного редакционно-издательского совета и регионального редакционного совета журнала принимают участие известные российские и зарубежные философы и ученые.

Главный редактор: чл.-корр. РАН И.Т. Касавин

Заместитель главного редактора: д-р филос. наук И.А. Герасимова

Ответственный секретарь: канд. филос. наук П.С. Куслий

Адрес редакции: 119991, Москва, Волхонка, 14/1, стр. 5

Институт философии РАН

Телефон: (495) 697-9576

Факс: (495) 697-9576

Электронная почта: journal@iph.ras.ru

По вопросам подписки, оптовой и розничной продажи просьба обращаться в Издательский Дом «Альфа-М»

Адрес: 127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В

Телефон/факс: (495) 363-4260 (573)

Электронная почта: alfa-m@inbox.ru

Посетите нашу страницу на сайте: iph.ras.ru/journal.htm



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

**ЭПИСТЕМОЛОГИЯ
&
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ**

**Epistemology & Philosophy
of Science**

Т. XXXIX • № 1

Ежеквартальный научно-теоретический журнал

МОСКВА

Альфа-М

2014

СОДЕРЖАНИЕ [CONTENTS]



Editorial

- STS: опережающая натурализация или догоняющая модернизация? [STS: Anticipatory Naturalization or Catching up Modernization?]** 5
И.Т. Касавин [Ilya Kasavin]



Panel Discussion: On Our Inner World and How It Appears to Us

- Как нам представлен наш внутренний мир? [On Our Inner World and How It Appears to Us]** 18
Е.В. Золотухина-Аболина [Elena Zolotuhina-Abolina]
- Внутренний мир в перспективе конструктивизма [The Inner World from a Constructivist Perspective]** 29
В.И. Пржиленский [Vladimir Przhilenskiy]
- Феноменологические концепции сознания и проблема внутреннего мира [Phenomenological Conceptions of Consciousness and the Problem of the Inner World]** 34
М.А. Белоусов [Michael Belousov]
- На каком языке субъективность говорит сама с собой? [In What Language Does Subjectivity Speak to Itself?]** 39
С.С. Мерзляков [Sergey Merzlyakov]
- Аспекты «внутреннего мира» и семантика естественного языка [Aspects of “the Inner World” and Semantics of Natural Language]** 44
П.С. Куслий [Petr Kusliy]
- Ответ оппонентам [A Reply to the Opponents]** 51
Е.В. Золотухина-Аболина [Elena Zolotuhina-Abolina]



Epistemology and Cognition

- A Progress Report on Cognitive Foundationalism and Metaphysical Realism.** 53
Tom Rockmore
- Эклектика и синкретизм: к вопросу о системности научного знания [Eclecticism and Syncretism: on Systemacy of Scientific Knowledge]** 60
Л.А. Микешина [Lyudmila Mikeshina]
- Об эпистемологической самобытности коллективных познавательных процессов [On the Epistemological Originality of the Collective Cognitive Processes]** 79
А.А. Крушанов [Alexander Krushanov]

Проблема «третьего мира» в современной эпистемологии [The Problem of the “Third World” in Contemporary Epistemology]	96
<i>Г.Д. Левин [Georgy Levin]</i>	



Language and Mind

Феноменологическая интерпретация «принципа удовольствия» [Phenomenological Interpretation of the «Pleasure Principle»]	111
<i>А.В. Емельянов [Alexandr Emelyanov]</i>	

Онтологический статус феномена дискурса [Ontological Status of the Phenomenon of Discourse]	124
<i>В.Т. Фаритов [Vyacheslav Faritov]</i>	



Vista

The Arrival and Establishment of Analytic Philosophy in Spain	137
<i>Juan J. Acero</i>	



Case-studies – Science studies

К вопросу о структуре псевдонауки: псевдонаука как девиантная интерпретация [To the Question of Structure of Pseudoscience: Pseudoscience as Deviant Interpretation]	152
<i>А.М. Конопкин [Alexey Konopkin]</i>	



Interdisciplinary Studies

Научная революция в медицине XVIII в. [Scientific Revolution in Medicine of the XVIIIth Century].	173
<i>А.М. Сточик, С.Н. Затравкин [Andrey Stochik, Sergey Zatravkin]</i>	

Стиль научного мышления: эпохальная или дисциплинарная концепция? [A Style of Scientific Thinking: A Epochal or a Disciplinary Concept?]	191
<i>А.А. Поздняков [Alexandr Pozdnyakov]</i>	

Редукционизм и холизм в познании живого: методологический диалог [Reductionism and Holism in a Process of Cognition of the Living: a Methodological Dialogue].	211
<i>Е.Б. Музрукова, Р.А. Фандо [Elena Muzrukova, Roman Fando]</i>	



Archive

Отто Нейрат и движение за единство науки [Translation: Otto Neurath. Die neue Enzyklopaedie des wissenschaftlichen Empirismus]	227
<i>В.В. Болатов [Vitaly Bolatov]</i>	

Новая энциклопедия научного эмпиризма.	229
<i>Отто Нейрат</i>	



Book Reviews

Философские исследования значения в Институте философии РАН [Philosophical Investigations of Meaning at the Institute of Philosophy, RAS]	241
<i>П.С. Куслий [Petr Kusliy]</i>	
Рациональность и культура [Rationality and Culture]	249
<i>В.В. Болатаяв [Vitaly Bolataev]</i>	
<i>Памятка для авторов</i>	253
<i>Подписка</i>	254

Публикуемые материалы прошли процедуру рецензирования
и экспертного отбора.

Журнал включен в новый перечень периодических изданий, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией РФ для публикации материалов кандидатских и
докторских диссертационных исследований в области философии, социологии и
культурологии (с 1 января 2007 г.).

**All materials underwent the process of anonymous peer review and were
approved for publication by the Editorial Board.**

Editor:

Ilya Kasavin (Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences (IPh RAS))

Editorial Assistants:

Irina Gerasimova (IPh RAS)

Petr Kusliy (IPh RAS)

Vitaliy Bolataev (NRU HSE)

Editorial Board:

Alexandre Antonovski (IPh RAS), Vladimir Arshinov (IPh RAS), Valentin Bazhanov (Ulyanovsk State U), Irina Chernikova (Tomsk State U), Vladimir Filatov (RSUH), Vitaly Gorokhov (IPh RAS), Vladimir Kolpakov (IPh RAS), Natalia Kuznetsova (RSUH), Jennifer Lackey (Northwestern U, USA), Joan Leach (U. of Queensland, Australia), Natalia Martishina (Siberian Transport U), Lyudmila Mikeshina (Moscow State Pedagogical U), Alexander Nikiforov (IPh RAS), Alexander Ogurtsov (IPh RAS), Vladimir Porus (NRU Higher School of Economics), Sergei Sekundant (Odessa State U, Ukraine), Sergei Schavelev (Kursk State Medical U), Yaroslav Shramko (Kryvyi Rih National U, Ukraine)

International Editorial Council:

Steve Fuller (U of Warwick, Great Britain), Piama Gaidenko (IPh RAS, Russia), Abdusalam Guseinov (IPh RAS, Russia), Rom Harre (London School of Economics, Great Britain), Jaakko Hintikka (Boston U, USA), Vladislav Lektorski (IPh RAS, Russia), Hans Lenk (U Karlsruhe, Germany), Vladimir Mironov (Moscow state U, Russia), Hans Poser (Technische U Berlin, Germany), Tom Rockmore (Duquesne U, USA), Vyacheslav Stepin (IPh RAS, Russia)

© Институт философии РАН. Все права защищены, 2014

© «Альфа-М», 2014

© Institute of Philosophy RAS. All rights reserved, 2014

© «Alfa-M», 2014



S TS: ОПЕРЕЖАЮЩАЯ НАТУРАЛИЗАЦИЯ ИЛИ ДОГОНЯЮЩАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ¹?

Илья Теодорович Касавин – доктор философских наук, член-корреспондент РАН, заведующий сектором социальной эпистемологии Института философии РАН. E-mail: itkasavin@gmail.com.

Science and Technology Studies (STS) является одним из ведущих мировых трендов в философско-междисциплинарных исследованиях, который обнаруживает явные параллели с российской традицией философии науки и науковедения. Анализ этой предметной области показывает, что перед STS сегодня стоят по крайней мере две задачи: избежать собственного идейного застоя и внести практический вклад во взаимоотношения науки и общества. Первая в целом решается в междисциплинарном взаимодействии философии и других дисциплин, изучающих науку. Решение второй задачи состоит в том, чтобы поддерживать баланс между нормой культурной автономии научного исследования, с одной стороны, и фактическим бытием науки как социального института – с другой. Обе эти задачи изначально предполагают акцент на философской точке зрения и некоторое снижение технологизма, свойственное STS. Нужно осмысление эмпирического бытия науки поставить в зависимость от изначальных задач философской рефлексии: соразмерить многообразие реальности с культурно-историческим разнообразием духа.

Ключевые слова: наука, техника, науковедение, философия науки, история науки, социология науки, натурализм, ситуационные исследования, мировоззрение.

S TS: ANTICIPATORY NATURALIZATION OR CATCHING UP MODERNIZATION?

Ilya Kasavin – doctor of philosophical sciences, correspondent-member of the Russian Academy of Sciences, chair of the Department of Social Epistemology of the Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences.



Science and Technology Studies (STS) is one of the world's leading trends in philosophical and interdisciplinary research that reveals the obvious parallels with the Russian tradition of the philosophy of science and the science of science. Analysis of this subject area shows that STS faces today at least two challenges: to avoid theoretical stagnation and to make a practical contribution to the relationship between science and society. The first one is principally solvable through interdisciplinary collaboration between philosophy and other disciplines studying science. The second challenge needs to maintain a balance between the cultural autonomy of scientific research, on the one hand, and the actual existence of science as a social institution, on the other. Both of these tasks are already inherently imply an emphasis on philosophical point of view and some decrease of technocratism characteristic to STS. The understanding of empirical existence of science has to be put in dependence on the initial task of philosophical reflection: to adjust the diversity of reality to the cultural and historical diversity of the mind.

Key words: science, technology, STS, philosophy of science, history of science, sociology of science, naturalism, case studies, Big Questions.

¹ Исследование выполнено в рамках гранта Президента РФ по поддержке ведущих научных школ «Истоки и перспективы социальной эпистемологии», № НШ-5941.2014.6.



Философская и социально-гуманитарная мысль в России продолжает свое движение по траектории догоняющей модернизации. Такой образ возникает при наблюдении за тем, как в отечественной науке и образовании происходит освоение STS. Под этой аббревиатурой скрывается самоназвание научного направления, которое довольно неуклюже звучит по-русски: «исследования науки и техники». Поэтому ряд авторов предпочитает придерживаться английского сокращения, например О.Е. Столярова в своей работе «Исследование науки и технологии. Философское введение» [Столярова, 2013]. Что же такое STS?

Гуманитарий склонен подходить к пониманию всякого научного направления не через его программные результаты, а скорее путем генетического анализа. Исторические корни STS на редкость многообразны, а приоритет каждого из них под вопросом. Если считать, что в основании STS находятся философия и история науки, то приходится вспомнить о Е. Дюринге, У. Хьюелле², Дж. Гершеле, А. Декандоле и П. Дюэме. Если усматривать истоки STS в социологии научного знания, то достаточно обратиться к «сильной программе» Б. Барнса и Д. Блура. Можно копнуть чуть глубже и обнаружить зачатки STS в работах Л. Флека, М. Полани, Т. Куна, П. Фейерабенда. Представляется, что историческим исходным пунктом STS вполне достойна быть работа Б. Гессена «Социально-экономические корни механики Ньютона» (1933); аргументы в пользу этого приведены В.А. Бажановым [Бажанов, 2007]. Впрочем, в западных университетах предпочитают смотреть на STS как на плоскую структуру, лишенную иерархии и доминанты. Всем дисциплинарным компонентам уделяется примерно равное внимание. При этом многое негласно определяют профильные кафедры, на которых, как правило, преобладают специалисты в области философии науки.

Англо-американское науковедение: STS как университетский стандарт

Генетический подход все же не в полной мере учитывает, что STS сегодня это прежде всего университетская, а следо-

² Уильям Хьюелл – William Whewell (1794–1866) – английский философ, теолог, историк науки, фамилия которого часто неверно произносится как «Уэвелл».



вательно, образовательная программа, нацеленная на производство особенного рыночного «продукта», или «услуги». Отсюда и прагматическая заостренность такой программы, MS и PhD которой могут претендовать на вполне определенные рабочие места в системах западной экономики. Так, одна из наиболее успешных и всеобъемлющих программ STS разработана в Вирджинском техническом университете (США) свыше 20 лет назад с участием Дж. Питта и С. Фуллера. Вот как звучит ее аннотация.

«Исследования науки и техники³ (STS) представляют собой растущую область, включающую весь спектр дисциплин социальных и гуманитарных наук для изучения того, как наука и техника, с одной стороны, и наше общество, политика и культура – с другой, взаимно формируют друг друга. Мы изучаем современные противоречия, исторические преобразования, политико-управленческие дилеммы и масштабные философские вопросы. Специализация (graduate program) в STS в Вирджинском техническом университете готовит студентов к тому, чтобы стать продуктивными и публично-ангажированными учеными, активными исследователями и оригинальными личностями (making a difference)» [VTU, 2013].

Данная программа предполагает по крайней мере три целевые группы. Первая из них – будущие специалисты в данной области, потенциальные исследователи и преподаватели. Вторая включает студентов, получающих дополнительную специализацию, а третья – тех, кто нуждается в повышении квалификации на своем рабочем месте. Степень бакалавра является предпосылкой участия в первых двух вариантах программы. Характеризуя последнюю в самом общем виде, можно сказать, что это обычная магистерская программа, которую вполне может одолеть средний студент за 2–3 года. Она содержит курсы по общим проблемам STS, по философии науки и техники, по истории науки и техники, по социальным проблемам науки и техники и по администрированию (policy) в области науки и техники. То же относится и к программе PhD, которая существенно отличается от российской аспирантуры по качеству и объему.

В частности, американская PhD 90 % времени и «кредитов» (зачетных баллов) отводит на учебу и лишь 10 % на творческое исследование (диссертацию), которая тоже может

³ Technology – техника.



быть заменена парой учебных курсов. Именно этот момент является предметом слепого копирования российских чиновников МОН,двигающих реформу аспирантуры. Однако возникает вопрос: не являются ли многие кандидатские диссертации по социальным и гуманитарным наукам бессистемным рефератом достаточно известных текстов? Стидливым эвфемизмом для таких рефератов служит канцелярская формула «квалификационная работа». В таком случае есть резон заменить работу над такими, с позволения сказать, исследованиями сосредоточенным освоением учебного материала под постоянным взыскательным взором преподавателя. Лучший выход из данной ситуации – возможность выбирать один из двух вариантов работы в аспирантуре (учебного или исследовательского), санкционированная научным руководителем где-то в середине второго года. Но не утопия ли думать, что нам кто-то позволит выбирать?

Вообще если сопоставить науковедение, как оно развивалось в России, с проблематикой STS на Западе, то возникает странное ощущение. В довоенной России в полной мере осознавалась необходимость анализа науки как социально-культурного феномена (даже с известными марксистскими перехлестами) до тех пор, пока не были физически и морально уничтожены ее носители. Затем, в 1970-е гг., она начинает постепенно восстанавливаться на фоне освоения постпозитивистских источников. На Западе послевоенное время было неблагоприятно для социального анализа науки, и эмигрировавшие в США неопозитивисты должны были сузить свои философские интересы до логико-аналитических штудий [Бажанов, 2013]. Только спустя десятилетие после выхода главной работы Т. Куна в США начинается движение в сторону того, что сегодня называется STS.

Так, А.П. Огурцов рисует весьма богатую картину еще довоенного отечественного науковедения с множеством конкурирующих программ. Многие из них на десятилетия опережают соответствующие западные исследования, а психология науки до сих пор не зарезервировала специального места в рамках STS. Правда, сегодня, как он отмечает, «отечественное науковедение испытывает кризис, поскольку крах советской системы вместо ожидаемых свобод привел к резкому сужению не только государственных ассигнований на науку, но и научно-исследовательских институтов, к разрушению коммуникаций между учеными как внутри страны, так и меж-



ду всем научным сообществом, к утрате престижа профессии ученого. Реформаторский “зуд” администраторов от науки коренится в чиновничьих пристрастиях и амбициях и не основывается на науковедческом изучении научно-исследовательской деятельности, на научных моделях управления процессами функционирования и роста науки» [Огурцов, 2009: 579].

Именно поэтому российское науковедение не получило институционализации: идея и проект, как это часто бывало в российской истории, не реализовались ни в форме завершенной теории, ни в виде регулярной практики. Далекое опередив свое время и пережив все трудности непризнания, науковедение сегодня возвращается к нам на манер дежавю, в образе англо-американских STS, совершенно самодостаточных, не желающих знать свою историю. Как тут не вспомнить высказывание замечательного российского математика: «Это – стандартная западная технология, вплоть до реклам нобелевских премий или филдсовских медалей: не сослаться на российских предшественников совершенно безопасно для репутации эпигона, даже если он просто переписал русскую работу» [Арнольд, 2012: 72].

Итак, в послевоенные годы *науковедение* на Западе получало конкурирующие и сменяющие друг друга названия «science of science», «sociology of science», «social studies of science», «sociology of scientific knowledge» и др., а потом «science and technology studies» (STS). Впрочем, иногда расшифровка звучала иначе [Restivo, 2005]. По существу это сфера междисциплинарного взаимодействия социологии науки (именно она в лице Д. Блура, Б. Барнса, Б. Латура, Г. Коллинза и др. до сих пор определяет значительную часть проблематики STS) с социальной историей и политическим анализом науки. Предметом STS является взаимодействие науки и общества в самых разных аспектах – от экономического и инновационно-технического до ценностного. Институционализация STS на Западе выразилась не только в университетских программах, но и в формировании целого ряда журналов. Вот лишь наиболее известные и влиятельные из них: *Social Studies of Science*; *British Journal for the Philosophy of Science*; *Journal for General Philosophy of Science*; *Philosophy of Science*; *British Journal for the History of Science*; *Studies in History and Philosophy of Science*; *Science & Technology Studies*; *History and Technology*; *Technology and Culture*; *Public Understanding of Science*; *Science as Culture*;



Science in Context; Social Epistemology; Episteme. В России ту же нишу занимали или занимают журналы «Науковедение», «Социология науки и технологий» (основан в 2009 г.)⁴, «Философия науки», «Эпистемология и философия науки» и др., также создавая определенные условия для развития STS. Вероятно, еще предстоит осваивать опыт работы научных обществ типа Society for Social Studies of Science; European Association for the Study of Science and Technology и др. В целом STS представляет собой международный стандарт исследования и образования. Поэтому STS следовало бы отразить в новом положении о кандидатских экзаменах Минобрнауки и в новой программе, которая могла бы сменить сегодняшнюю «Историю и философию науки».

Три развилки: перспективы STS

Представляется, что сегодня перспективы STS во многом определяются тремя развилками. Их осмысление и опробование есть важнейшая задача в плане самоопределения науковедения в России. Первая из них имеет собственно методологический характер: это вопрос о том, какую роль в STS призваны играть, с одной стороны, концептуальный анализ, а с другой – ситуационное исследование. Каковы предмет, методологический арсенал, основная проблематика науковедения, что такое наука и в каких лингвистических, исторических и социальных формах она существует, с какими иными типами знания она соседствует и конкурирует? Без постоянного обсуждения, прояснения и пересмотра этих проблем науковедение утрачивает всякий теоретический статус. Однако здесь возникает угроза теоретизма: в рамках STS недостаточно заниматься одним концептуальным и нормативным анализом. Понятия и нормы вырастают и проверяются с помощью конкретных ситуационных исследований – обстоятельного историко-социологического анализа отдельных фигур и эпизодов научной жизни. Все известные авторы были помимо всего прочего историками и социологами науки, вносили существенный вклад в создание совокупного эмпирического базиса STS, а не только пользовались чужими примерами. И хотя наукометрия в формировании эмпирического базиса STS играет второсте-

⁴ <http://www.youngscience.ru/files/jsst-2010-v01-01.pdf>



пенную роль, неудивительно, что h-index “Social Studies of Science” в 2 раза выше, чем у “Mind”.

Впрочем, угрозу избыточного эмпиризма игнорировать также не следует. Иные книги основоположников STS представляют собой детальный историко-социологический аргумент в пользу идей, выдвинутых 35 лет тому назад [Bloor, 2011]. Отдавая должное праву всякого исследователя выбирать свой предмет, заметим, что сведение STS к ситуационным исследованиям, минимизация теоретизирования и философской рефлексии лишают эмпирию цели и смысла. Так что вопрос о доминанте – концептуальном анализе или ситуационном исследовании – остается на повестке дня.

Здесь мы подходим к второй развилке, которая как раз относится к философии. Каков приоритет – главенство философского взгляда на науку и демаркация его от специально-научных подходов или натурализация STS как взгляд поверх дисциплинарных барьеров? Роль философии определяется тем, что философия науки может играть роль теоретического ядра STS, однако само эпистемическое преимущество теории оказывается безусловным. Так, теория науки не является дедуктивно-аксиоматической конструкцией, она содержит немало эмпирических обобщений и исторических типологизаций, дефиниции основных терминов испытывают постоянную проблематизацию, не говоря уже о том, что разные теории науки сосуществуют и конкурируют между собой. Историзация и социологизация философии науки привела к реальному размыванию четкой грани между различными социально-гуманитарными дисциплинами, изучающими науку. Нуждаются ли STS в едином теоретическом ядре или его можно и дальше растворять в «защитном поясе» (И. Лакатос) множества частных теоретических допущений и подходов? Представляется, что культурная (неутилитарная) ценность науки тесно связана с философским идеалом научности; минимизация философии бьет рикошетом по статусу науки.

Отсюда и третья развилка STS, предлагающая выбор между главными целями: формированием мировоззрения или выстраиванием политики в отношении науки. И это отнюдь не ложная дилемма. В первом случае мы концентрируемся на том, чтобы извлечь из науки мировоззренческие смыслы и одновременно снабдить ее саму всем богатством содержания в форме целей, ценностей и иных культурных ресурсов. Второй вариант низводит науку до технических прило-



жений и объекта технократического управления. Ясно, что обе тенденции совместимы только по принципу дополненности и будут расходиться все дальше при ослаблении первой и усилении второй. Какие угрозы несет с собой грядущее «новое Средневековье», когда академии наук становятся «клубами ученых», а новые «девайсы» и «гаджеты» привлекают больше внимания, чем бозон Хиггса или межпланетная экспедиция?

Не устранить указанные развилки путем «окончательного решения», а постоянно их актуализировать – вот главная задача STS.

Big Questions и глобальные проекты

Ситуационные исследования в рамках STS могли бы способствовать переоценке значения глобальных проектов для науки, техники, общества и мировоззрения или по крайней мере вновь поставить их в фокус внимания. До сих пор не прошли основательной социально-гуманитарной экспертизы и не заняли внятного места в общественном сознании ГОЭЛРО, атомный, космический и другие аналогичные проекты⁵. И дело не только в секретности: последняя есть во многом следствие нежелания государства отвечать за последствия своих действий. Отсюда и дискредитация всяких глобальных проектов в свете попперовской идеи социальной инженерии. Однако технократическая «стратегия малых дел» сегодня благополучно соседствует с порочной практикой глобальных проектов нового типа вроде сочинской Олимпиады, которые ничего не дают ни для экономики, ни для духа. Глобальные проекты прошлого, при всех их негативных последствиях, обеспечивали мощный мировоззренческий эффект и открывали определенную социально-экономическую перспективу. При формировании и обосновании таких проектов философия может служить минимизации рисков и максимизации идейно-нравственного эффекта «Большого дела». Определенная степень утопии и мифа, которые всегда присутствуют при формулировке и

⁵ Этому препятствуют определенные политические реалии, потому ситуацию не спасают отдельные исследования, не оказывающие публичного резонанса и влияния на принятие государственных решений. См., например, работы В.Г. Горохова [Горохов В.Г., 2012].



реализации глобальных проектов, есть по существу та проективная составляющая, в которой нуждается социальная активность.

В свете указанных ограничений один из перспективных объектов ситуационных исследований – это гидротехнические проекты, типичные для России в силу географических условий. Упомянем только их транспортный и мелиоративный варианты, нашедшие отражение в русской литературе. Так, первый известный опыт строительства судоходного гидротехнического сооружения в России описан А. Платоновым в «Епифанских шлюзах»: это Волго-Донской канал – безуспешная задумка Петра I (реализованная много позже И. Сталиным). Пример из гидромелиорации на тему поворота сибирских и южных рек представлен Ю. Трифоновым в романе «Утоление жажды» – это строительство самого большого в мире Каракумского канала путем отвода Амударьи (заменившего сталинскую утопию Туркменского канала).

Мировоззренческое значение глобальных проектов многообразно. В них, как правило, находят острое выражение столкновения политики и традиции, науки и практики, реальности и идеологии. В этом смысле они не технократичны – всегда являются выражением глобальных сдвигов в сознании и сами приводят к таким сдвигам. Описывая технические и идеологические коллизии, Трифонов замечает: «Люди спорили о крутизне откосов, о дамбах, о фразах, о мелочах, но на самом деле это были споры о времени и о судьбе» [Трифонов, 1985: 449].

STS между нормативизмом и дескриптивизмом

Вопрос об отношениях STS с эпистемологией и философией науки не имеет окончательного решения. На мой взгляд, вопрос о демаркации философии науки и STS относится лишь к построению учебных университетских курсов. В исследовательском же плане значительно более плодотворно не проводить дисциплинарные границы такого рода, а развивать междисциплинарное взаимодействие философского и специальных подходов к анализу науки. Прав бы Лакатос, который свыше 40 лет тому назад заявил по более



частному поводу: «Философия науки без истории науки пуста, история науки без философии науки слепа» [Лакатос, 1972: 203].

STS способны выполнить важную социокультурную функцию, поскольку обеспечивают большую открытость академической науки для остальной части общества. Не только объективное исследование науки в ее отношении к обществу, но и обоснование их неразрывности, взаимной зависимости, необходимости выбора совместной стратегии развития, критического и политически ангажированного взгляда на существующие проблемы – вот в чем задача STS как новой «риторики», или «идеологии науки» [Fuller, Collier, 2004: XI].

С. Фуллер в своей недавней книге «Humanity 2.0» (2011) привлекает наше внимание к тому, что STS порой выходят на такие Big Questions, как будущее человека и человечества, например пост- и трансгуманизм, уравнивающий между собой людей, животных и технические артефакты. Этот новый натуралистический онтологизм, проповедуемый в явной форме Р. Курцвейлем [Kurzweil, 1999] и в более запутанной – Б. Латуром, отбрасывает всякий нормативно-эпистемологический подход как апологетику интересов отдельных социальных групп. Было бы, впрочем, наивностью верить в их приверженность полному дескриптивизму и объективности, но необходимо критически анализировать используемые факты. Как замечает Фуллер, «социальная эпистемология принимает факты, которые воодушевляют постмодернистов, но не их скептические нормативные выводы» [Fuller, Collier, 2004: XXV], т.е. не соглашается безальтернативно с перспективой постгуманизма, а предлагает свой нормативный сценарий.

В книге «Философия науки и ее недоразумения (discontents) (1999)» С. Фуллер поясняет свою позицию с помощью воображаемого диалога.

В о п р о с: Зачем нам нормативная дисциплина как социальная эпистемология, да еще и предписывающая в таком жестком стиле? Разве “натуралистский путь” не предполагает, что именно эмпирической реальности, а не априорным понятиям нужно позволить диктовать соответствующее направление деятельности?

О т в е т: Все дисциплины нормативны, но не все это признают. Некая дисциплина частенько не обнаруживает нормативности, поскольку ее участники выглядят удовлетворен-



ными своими коллективными действиями (или у них нет общедоступных форумов для выражения недовольства). И напротив, дисциплина, занимающая позицию сознательного нормативизма, делает цели своего исследования постоянным предметом переговоров. В этом смысле всякая дисциплина такого рода уже практикует социальную эпистемологию. Натуралистский поворот позволяет вынести на свет разрыв между тем, что есть, и тем, что должно быть. Поэтому натуралист стоит перед выбором: приблизить идеал к реальности или реальность к идеалу. Я предпочитаю второе...» [Fuller, 1993: 207].

Отсюда и разные прогнозы развития STS, исходящие из ее воздействия либо на сферу реальности (науку и технику), либо на сферу идеальности (философию науки). Так, один из вариантов гласит, что акцент должен быть сделан на «риторике», или новой «идеологии науки», которая умерит претензии и эгоистические интересы научных экспертов и заставит науку в большей мере отвечать социальным и культурным реалиям (С. Фуллер). Согласно другому, перспективы STS – в новой онтологии, или натурфилософии, которая будет учитывать «материальную базу» науки, ее экспериментальные и технические контексты и тем самым позволит избежать тупиков релятивизма (Я. Хакинг).

Есть все основания для согласия с тем, что перед STS стоят по крайней мере две задачи: избежать собственного идейного застоя и внести практический вклад во взаимоотношения науки и общества. Первая в целом решается в междисциплинарном взаимодействии философии и других дисциплин, изучающих науку. Решение второй задачи состоит в том, чтобы поддерживать баланс между нормой культурной автономии научного исследования, с одной стороны, и фактическим бытием науки как социального института – с другой. Но и то и другое едва ли возможно без того, чтобы *осмысление фактов поставить в зависимость от изначальных задач философской рефлексии: соразмерить эмпирическое многообразие с культурно-историческим разнообразием духа*. Вперед поведут не глаза, широко открытые навстречу новым реальностям: в них отразится скорее всего не восхищенное удивление, а панический ужас. Лишь исторический опыт духа, осмысленный в новых условиях, в состоянии открыть перспективу STS.

Поэтому обе задачи изначально предполагают акцент на философской точке зрения и некоторое *снижение технокра-*



тизма, свойственное STS. Без этого дилемма, сформулированная в названии статьи, остается неразрешимой. Пусть это звучит банально, но нам нужна философия, чтобы ставить и решать многие, даже вполне прикладные задачи в рамках STS. Что может обладать бóльшим прикладным потенциалом, чем грамотное прогнозирование и предвидение? Именно философия есть критическое, диалогическое, исторически погруженное теоретизирование, направленное прежде всего на выявление и постановку проблем *ante factum*, *еще до того*, как они взрывают социальный *status quo*. Чтобы лечиться, нужно быть изрядно здоровым человеком. Философия – это условие интеллектуального и культурного здоровья.

Библиографический список

Арнольд, 2012 – *Arnold V.I. What is Mathematics? Moscow, 2012* [Арнольд В.И. Что такое математика? М., 2012].

Бажанов, 2013 – *Bazhanov V.A. Russian Factors in Assimilation of Logical Positivism and Philosophy of Science in the United States, in Voprosi filosofii*, issue 11. 2013. P. 149–154 [Бажанов В.А. Русские факторы в ассимиляции логического позитивизма и философии науки в Америке // Вопросы философии. 2013. № 11. С. 149–154].

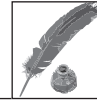
Бажанов, 2007 – *Bazhanov V.A. Social Climate and the History of Science. Paradoxes of Marxist Theory and Practice, in Epistemology & Philosophy of Sciences*, V. XI, issue 1. 2007. P. 146–156 [Бажанов В.А. Социальный климат и история науки. Парадоксы марксистской теории и практики // Эпистемология и философия науки. 2007. Т. XI, № 1. С. 146–156].

Горохов, 2012 – *Gorokhov V.G. Technological Sciences: History and Theory (History of Science from the Philosophical Point of View). Moscow, 2012* [Горохов В.Г. Технические науки: история и теория (история науки с философской точки зрения). М.: Логос, 2012].

Лакатос, 1978 – *Lakatos I. 1972. History of Science and its Rational Reconstructions // Boston Studies in the Philosophy of Science*; ed. by R. Cohen, R. Buck, vol. 8. 216 p. [Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции // Структура и развитие науки. М., 1978. С. 203–269].

Огурцов, 2009 – *Ogurtsov A.P. The Science of Science // Encyclopedia of Epistemology and Philosophy of Science. Moscow, 2009.* [Огурцов А.П. Науковедение // Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 2009].

Столярова, 2013 – *Столярова О.Е. STS.* – http://www.docme.ru/doc/89615/stolyarova-ol._ga-evgen._evna-issledovaniya-nauki-i-tehnologii 2013



Трифонов, 1985 – *Trifonov Y.V.* 1985. Quenching the Thirst, in *Collective Works*. V. I. Moscow [Трифонов Ю.В. Собр. соч. Т. 1. М., 1985].

Bloor, 2011 – *Bloor D.* The Enigma of the Aerofoil: Rival Theories in Aerodynamics 1909–1930. Chicago Univ. Press, 2011.

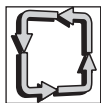
Fuller, 1993 – *Fuller S.* Philosophy of Science and Its Discontents. 2d ed. N.Y. ; L. : The Guilford Press, 1993.

Fuller, Collier, 2004 – *Fuller S., Collier J.* Philosophy, Rhetoric and the End of Knowledge. A New Beginning for the Science and Technology Studies. Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates, 2004.

Kurzweil, 1999 – *Kurzweil R.* The Age of Spiritual Machines. N.Y. : Random, 1999.

Restivo, 2005 – Science, Technology, and Society: An Encyclopedia; *S. Restivo* (ed.). N.Y., 2005.

VTU, 2013. – <http://www.sts.vt.edu/>



КАК НАМ ПРЕДСТАВЛЕН НАШ ВНУТРЕННИЙ МИР?

ON OUR INNER WORLD AND HOW IT APPEARS TO US

Елена Всеволодовна Золотухина-Аболина – доктор философских наук, профессор кафедры истории философии факультета философии и культурологии Южного федерального университета (Ростов-на-Дону).
E-mail: elena_zolotuhina@mail.ru

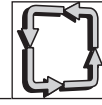
Elena Zolotuhina-Abolina – doctor of philosophical sciences, professor.
Department of history of Philosophy of the Faculty of Philosophy and Culturology of Southern Federal University.

The Panel Discussion is triggered by the Elena Zolotuhina-Abolina's reflections on the nature of the human "inner world". She argues that feature of the human mind is not to be investigated with the standard methods of contemporary philosophy of mind because the question at issue is not its relation to the body but the inner world per se: what constitutes it and how it appears to us. Dr. Zolotuhina-Abolina argues that this domain is not dominated by logic and rationality and is not fully presented by graphic images, the realm of thoughts and senses is a continuum with the I as a nucleus within this flow which can appear or not appear.

Dr. Zolotuhina-Abolina's position is countered by opponents who discuss the ways in which what is referred to as "the inner world" is presented in contemporary philosophical investigations, in particular in social constructivism, phenomenology, philosophy of mind and philosophy of language. The discussion concludes with Dr. Zolotuhina-Abolina's reply to the opponents.

Границы рассмотрения

Проблема, которой посвящена эта статья, относится к кругу вопросов сколь непреходящих, столь и туманных, она предполагает разные ответы и, опасаясь, эти ответы никогда не смогут помириться друг с другом. Для себя я сформулировала эту проблему так: как нам представлен наш внутренний мир? Можно еще спросить – как мы мыслим? Но такая формулировка сузит тему, потому что мы не только «мыслим» в узком смысле слова, но и представляем, переживаем, интуитивно чувствуем и т.д. Можно сказать еще – что там делается, в наших головах? Есть ли там «пространство»? Там темно или светло? Что за спектакли идут на немой внутренней сцене? Работает ли там строгая логическая машина, выдающая бескомпромиссные «да» и «нет», настроенная по



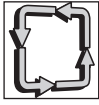
КАК НАМ ПРЕДСТАВЛЕН НАШ ВНУТРЕННИЙ МИР?

всем правилам Аристотелевой логики? И каким образом все то, что клубится, мелькает и строится «в голове», вдруг изливается наружу в разумной речи, в стройных фразах, сотрясающих вполне физический воздух?

Всякий, кто хоть однажды пытался медитировать, или нечаянно увлекся Гуссерлевым опытом «феноменологической редукции», или сподобился приобщиться хотя бы к поверхностной интроспекции, наверняка испытывал необычное, странное ощущение, некоторый испуг перед таинственной сферой, обитающей в нас самих, своего рода бездной, откуда спонтанно «приходят мысли», и о том, что «они пришли», мы знаем непосредственно, хотя далеко не всегда осознаем, как и в какой форме... Дело осложняется тем, что в отличие от индийского Востока западная традиция философствования не включает в себя разработанной в духовных практиках схемы строения сознания и прилежащих к нему пластов.

Стоит подчеркнуть, что поставленные здесь вопросы не могут рассматриваться в русле современной американской «философии сознания», потому что они не касаются темы психическое – физическое. В данном случае нас не волнует, как «декартовский театр» связан с нейродинамикой, а также с внешним реагированием по принципу стимул – реакция. Нас интересует он сам – «как он есть для нас». Разумеется, существуют и нейродинамика, и поведенческие реакции, но сейчас это не наш вопрос. С физикалистскими и бихевиористскими концепциями у нас в корне разные интересы. Тем более что, к примеру, для Б. Скиннера, Г. Райла или для Пола и Патриции Чёрчленд проблемы внутреннего мира просто не существует, как не существовало ее для их отдаленного предшественника Ж.О. де Ламетри. Для этих мыслителей «внутреннего мира нет», потому что он непосредственно не явлен вовне. Понятно, авторы утверждают, что он не существует *онтологически*, как существуют внешние предметы – дома, деревья и камни, но именно потому, что в определенном эмпирическом смысле «его нет», он не может быть тематизирован, и темой для рассмотрения выступают только физиологические процессы и зримые поведенческие акты. Субъективное, таким образом, то оказывается фантомным и незначимым, то с оговорками сводится к объективному. Кстати, этот широко распространенный процесс редукции прекрасно описывает в своих работах американский же исследователь-трансперсоналист К. Уилбер.

В данном случае я стремлюсь избежать любого рода редукции, поэтому при рассмотрении вопроса «как нам дан наш внутренний

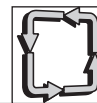


мир?» я не могу обратиться даже к разработкам глубоко мной уважаемого Д.И. Дубровского с его информационным функционализмом. Потому что, «обращая очи внутрь», мы обнаруживаем там, как это отмечает сам Давид Израилевич, не коды, а содержания – некие переживания и впечатления. Коды оказываются прозрачны, они только «носители» того, что не есть они сами, а наш нынешний вопрос касается как раз внутреннего содержания и тех «внутренних форм», в которых они представлены людям.

Задача этой статьи – хоть на мгновение прикоснуться к субъективному, окинуть взглядом его очертания, универсальные для всех людей. Не менее важно понять, – если использовать метафору языка – *на каком языке субъективность говорит сама с собой?* Не мозг, а именно субъективность. Поэтому бросим короткий взгляд на существующие в философской и психологической литературе представления о том, как живет и являет себя для себя же наш внутренний мир.

Проблема структуры

Вопрос о том, как нам представлено наше внутреннее пространство, связан с характеристиками его строения. В XX в. появились по крайней мере три ныне широко известные версии структурирования внутреннего мира, который то отождествлялся, то разотождествлялся с сознанием как чистым центром, излучающим интенции понимания и осмысления. Первую важнейшую структуру предлагает нам Э. Гуссерль, говоря о сознании как потоке смыслов, о «чистом Эго», интенциональности, ноэме, ноэзе и очевидности. И если сюжет о направленности луча-сознания, о концентрации внимания на смысловом феномене, выплывающем из потока переживания, более или менее понятен, то тема очевидности остается спорной и неясной (в отечественной литературе этой теме посвящены работы Д.Н. Разеева, А.З. Черняк и др.). Что, собственно говоря, очевидно? Наглядный образ (для внешнего и внутреннего восприятия)? Логико-смысловой результат рефлексии (уже не наглядное, а какое-то иное схватывание)? Лишенная конкретного образа трансцендентальная идея, непосредственно усматриваемая интеллектуальной интуицией как смысл? Впрочем, о каких бы ступенях усмотрения и очевидности мы ни говорили, смысл, не обладающий наглядностью, нам всегда «очевидно» (ясно, внятно) дан как некая константа, без которой даже конкретный предмет нельзя узнать и идентифицировать.

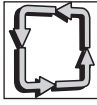


Как известно, Гуссерль не принял фрейдовской концепции бессознательного, хотя сам пишет о смутных пластах сознания, где происходят синтезы идентификации. Для Гуссерля внутренний мир – это целиком сфера сознания, где отдельные уровни различаются лишь степенью прозрачности. Однако Фрейдом, а наряду с ним и К.Г. Юнгом было предложено иное понимание внутреннего мира: он не сводим к ясным составным, а включает «темное дно» или «глубинные корни». Впрочем, они тоже косвенно дают о себе знать во внутренних формах сильных эмоционально-ценностных переживаний, страхов, восторгов – в состояниях не всегда образных, лишь отчасти понятийных, нередко смутных и имеющих соматические отсылки.

Можно сказать, что в XX в. внутренний мир получил варианты дескрипции от «полностью темного» до «полностью ясного» с несистематизированной экспликацией промежуточных звеньев и их форм.

Важнейшим сюжетом строения внутреннего мира выступает его *диалогическая форма*. Эта форма получила обсуждение как в работах М.М. Бахтина и В.С. Библера, В.В. Налимова, так и в переводных исследованиях Шри Ауробиндо, Сатпрема, Г. Ханта и др. Тема Другого, который существует не только вовне, но и внутри, широко обсуждалась в прошлом столетии как в психологических и социологических концепциях (Ч. Кули, А. Шюц, И. Гофман), так и в пределах европейской экзистенциально-феноменологической философии (Ж.П. Сартр, Э. Левинас и др.). В результате сформировавшегося представления о «внутреннем Другом» диалог был рассмотрен как естественное состояние нормального сознания в отличие от его измененных состояний, где диалог прекращается, полностью изменяя способ мировосприятия. Размышление о диалоге естественно вело к идее о *рациональном строении* нашей внутренней самопрезентации, ибо диалог – это дискретная, понятийно-словесная форма обращения с самим собой, перенесенная внутрь из внешнего диалога, всегда существующего в формах языка. Разговор о внутреннем диалоге, о вопросно-ответной форме, о поляризации внутренних мнений и стремлении к их возможному синтезу вполне соответствовал представлению о человеке как о «существе разумном», рационально-логически ориентированном, мыслящем внятно.

Впрочем, существенным был и вопрос о том, кто или что именно находится в центре нашего внутреннего мира, и есть ли вообще такой центр? Для Гуссерля наличие рефлексирующего Я несомненно, для Юнга сознательное ядро – это – это спасение от шквала бессознательного и даже от собственной Самости, кото-



рой нельзя давать избыточного влияния. Однако не все согласны с тем, что Я – это центр внутреннего мира. Для раннего Сартра это – лишь «виртуальный очаг единства», создаваемый безличной спонтанностью сознания (см.: [Сартр, 2011]). Спонтанность в этом случае исходна, а эго – лишь ее необязательное образование, непрозрачный сгусток, порождающий разнородные обманы. Таким образом, по вопросу о структуре внутреннего мира мы встречаем разноречивые мнения.

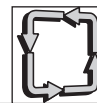
Описанные структурные характеристики важны для нас как тот подвижный «каркас», в рамках которого только и может реализоваться индивидуальная жизнь сознания с ее разнообразными «внутренними формами».

Доминирует ли во внутреннем мире рационально-логическое?

Размышляя на эту тему, я, честно сказать, полагаю, что нет. Хотя это вовсе не означает, что наш внутренний мир – это некое смутное течение, в котором не видно ни зги. Рациональное, дискурсивно-логическое, разумеется, в значительной степени присутствует в «жизни духа и души», оно уже есть в самой языковой форме внутренней речи, однако мне представляется, что не оно является лейтмотивом внутренней жизни. Любой человек, даже коротко взглянув на течение собственной мысли и, конечно, учитывая при этом, что рефлексия вносит искажения, способен уловить, что мысль его не облечена целиком в форму слов. Наш внутренний диалог – не ясная чеканная речь. Мысль здесь не только сжата, отрывочна, но и содержит в качестве своих звеньев наглядные образы, мгновенные прозрения, чисто смысловое схватывание, словесное выражение которого бывает подчас отдельной непростой задачей. Можно предположить, что чем образованнее, культурнее человек, тем больше он принадлежит к западной интеллектуальной традиции, тем больше места занимают в его голове слова, вербальные формулы, проговаривание логических звеньев. Чем менее человек причастен рациональному типу образованности, тем больше в его внутреннем пространстве внелогических компонентов переживания.

В отечественной психологической литературе в течение многих лет обсуждалась тема внутренней речи¹, которая, как мы уже

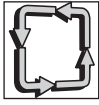
¹ См. работы Л.С. Выготского, П.А. Гальперина, Б.Г. Ананьева, А.А. Леонтьева, Н.И. Жинкина, Т.Н. Ушаковой и др.



подчеркнули, присутствует в качестве внутреннего диалога и имеет ряд отличий от речи внешней и тем более речи письменной, оформленной по всем логическим правилам. Л.С. Выготский полагал, что внутренняя речь, выступающая как сокращенная, прерывистая, «эллиптическая», оставляет в качестве подразумеваемого то, что не облечено в слова, само мышление, находящееся за границами дискурсивных рациональных форм. Наличные в ней бессвязные частицы выполняют опосредующую роль, являются медиаторами между «собственно мыслью» и ее овнешненными вербальными формами, необходимыми для общения. Во внутренней речи «слово испаряется в мысль». Думая, человек оперирует не значениями в узком их понимании, но смыслами как широкими метафорическими обобщениями. Однако эта идея Выготского подвергалась критике, в частности П.А. Гальпериным [Гальперин, 1957], и критика впоследствии воспроизводилась другими авторами. Отечественная мысль очень тесно связывает мышление со словом, вытесняя на обочину рассмотрение представления о возможности невербальной мысли, такой мысли, которая способна обладать содержанием сама, вне вербального облачения, дискурсивного размышления и логических законов.

В то же время в философских и психологических исследованиях XX в. мы находим, с одной стороны, тему *идеации*, которая в яркой форме высказана у Макса Шелера, идеации как схватывания всеобщего по единичному (см.: [Шелер, 1928]), а с другой – тему *интуиции*. В работах психолога П.В. Симонова анализируется даже тема сверхсознания [Симонов, 1985]. Правда, Симонов относит сверхсознание к области бессознательного, считает «сверхсознание», дающее новое знание, скачком, прерыванием постепенности, который непосредственно не дан самому размышляющему человеку. Однако, поскольку нас интересует именно явление внутреннего нам самим, мы можем иначе прочесть идею Симонова, воспользовавшись понятием гуссерлевской очевидности: возможны такие акты постижения, такие движения мысли, которые во внутреннем мире не связаны в момент своего действия ни со словом, ни с размышлением. Они становятся прямо даны, очевидны, их смысл постигается одномоментно и лишь через мгновение (а иногда и позже) может быть описан или назван.

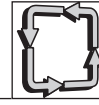
Мысль о внерациональном, внелогическом характере внутренней жизни активно проводилась В.В. Налимовым. В работе «Вероятностная модель языка» он обсуждал вопрос о многозначности слов, в том числе и в языке науки, и пришел к выводу о континуальности мышления. «Осмысление логических конструк-



ций, – пишет он, – их декодирование – происходит на континуальном уровне. Из континуального сознания берется априорное представление о распределении смыслового содержания слова и к континуальному сознанию оказывается обращенной априорная функция распределения селективно ориентированного смыслового содержания слова после осмысления его в тексте фразы» [Налимов, 2003]. Таким образом, словесная часть внутренней жизни оказывается чем-то вроде кристаллизаций, сгустков континуального смысла. Именно этими «застывшими смыслами», однако хранящими в себе весь веер смысловых возможностей, обмениваемся мы при обычном вербальном общении, впрочем, дополняя слова всей «невербаликой» – жестами, мимикой, пантомимой, интонацией, живо воплощающими континуальность внутреннего мира.

Но, может быть, мышление по преимуществу образно?

Критика представления о жизни внутреннего мира как о дискретном логическом процессе приводит к искушению приписать нашему «большому Я» (единству сознательного и бессознательного со всеми промежуточными звеньями) свойство интенсивной образности. На образность нередко делают ставку психотерапевты, практически работающие с внутренним миром пациентов, а также эзотерики-практики, пишущие популярные книжки «про визуализацию». При чтении такой литературы кажется, что каждому из нас ничего не стоит при необходимости начать сознательно манипулировать образами своего внутреннего мира, складывая и раскладывая их как грудку кубиков с картинками. Именно потому, что мыслим мы образами. Иногда тексты на эту тему доходят до курьезов, в частности, у одного из создателей нейролингвистического программирования Р. Бэнглера есть такой пассаж: «Например, у одной женщины была следующая проблема: если она что-нибудь себе придумывала, то несколькими минутами позже не могла отличить этого от воспоминания о чем-то, происшедшем в действительности. Когда она видела внутреннюю картину, у нее не было способа различить, было ли это нечто действительно ею виденное или же то, что она вообразила... Я предложил ей, придумывая картины, обводить их черной рамкой – чтобы, когда она потом их вспомнит, они отличались бы от других. Она попробовала,

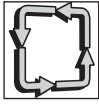


КАК НАМ ПРЕДСТАВЛЕН НАШ ВНУТРЕННИЙ МИР?

и это прекрасно сработало – за исключением тех картин, что она придумала до того, как я дал ей совет» [Бэндлер, 2001].

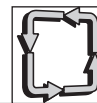
Хочется верить успеху автора, но, как отмечают сами Д. Гриндер и Р. Бендлер, далеко не все люди являются «визуалами», есть те, кто в воспоминаниях и представлениях ориентирован на слуховые восприятия, а еще другие – на кинестетические ощущения. На самом деле все модальности восприятия, представленные «внутри сознания», соединены и смешаны в разных пропорциях, а поскольку слуховые ощущения и тем более чувство равновесия или ощущение прикосновения трудно назвать образами, то вряд ли можно полагать, что наш внутренний мир постоянно заполнен «образными картинками». Кстати, научиться визуализациям не так-то легко, особенно человеку рационализированной европейской культуры, постоянно живущему в «кристаллизациях слова». Нередко «образы» просто не возникают, а идет какой-то иной процесс, причем не одним, а по меньшей мере двумя потоками: вполне возможно, думая об одном и даже облекая это в слова внутренней речи, параллельно думать совсем о другом, не говоря об этом словами и не созерцая наглядных образов, но в то же время в отчетливо-смысловой форме.

Суть именно в том, что слова и образы это, возможно, самые простые наглядные и «предметные» составные внутреннего мира, в некотором роде «интросцированные объективации», тесно связанные со всем внешним, с миром вещей и существ, с тем самым хайдеггеровским «сущим», которое, несомненно, до определенной степени отражается во внутреннем мире, но не «соприродно» ему. Внутренний мир включает в себя помимо целостных и твердо очерченных слов и образов еще множество вероятностных, размытых, тонких, едва уловимых и в то же время синтетических форм бытия смысла. Это прежде всего – как тут снова не вспомнить Гуссерля – смысловой поток, где очевидны не только и не столько «картинки», сколько сами смыслы. Это некие паттерны, подвижные конфигурации, хотя и не обладающие внешней формой, позволяющие нам «с очевидностью усмотреть» что к чему. Они мгновенно отвечают нам и на вопрос «зачем?», и на вопрос «как?», и на вопрос «в каком контексте?». Они не равны образным картинкам или словам, но отстраиваются от них, опираются на них, парят над ними, наполняют их. Смысловое схватывание похоже в чем-то на превращение плоского изображения в объемное: ничего не значащее и даже ни с чем не идентифицированное изображение превращается в целый мир, богатый, разнообразный и вдохновляющий.



Смысловое континуальное движение мысли не отделено от других компонентов внутреннего мира и от человеческой телесности, без которой мы никак не можем обойтись в нашей эмпирической реальности. Поэтому мне очень близко высказанное И.А. Герасимовой понимание мышления как «чувствующего». Она пишет: «Чувствующее мышление – мышление, способное к мгновенному распознаванию (эмоциональному отклику, ритмическому резонансу), пониманию сущности ситуации, смысла символа. Чувствующее мышление как субстанцией пропитано осознанностью» [Герасимова, 2009]. Интересно, что на сложное сплетение во внутреннем континуальном потоке смысловых и эмоциональных моментов обычно указывают исследователи эстетического опыта, как, например, М. Дюфрен, писавший об «аффективном априори».

Смысловые паттерны внутреннего мира находят свое проявление в том числе в субъективных телесных ощущениях, в настроениях и состояниях, которые окружают и пронизывают «кристаллические структуры» сознания. Знаменитый феноменолог М. Мерло-Понти стремился найти истоки смысла в тактильном ощупывании, исследовал опыт прикосновения, желая увидеть в нем единство человека и мира, внутреннего и внешнего. Психолог Г. Хант, описывая континуальные характеристики сознания, связывает смысловое схватывание с феноменом межмодальных синестезий [Хант, 2004], полагая континуальное синестетическое поле основой любого понятийного мышления, которое вырастает из первичного поля ощущений движущегося существа. Известный американский психотерапевт Юджин Джендлин, на которого, кстати, неоднократно ссылается Гарри Хант, развил психотерапевтическую технику фокусирования, при которой внимание, направленное на тонкие и едва уловимые телесные чувствования, помогает раскрыть смыслы состояний и настроений, владеющих человеком, а их трансформация приводит к трансформации мировосприятия, мышления, смысловой системы индивида: «Непосредственно испытываемые чувствующие ощущения оказываются сложно сплетенной сетью переживаний, которую нельзя разделить на компоненты. В зоне, расположенной на грани сознательного и бессознательного, индивид может ощущать в себе процесс переживаний, которому всегда присуща *скрытая сложность*: он включает в себя весь диапазон образов, чувств, действий и прочих явлений, которые еще не произошли, хотя в принципе *могли бы* произойти» и далее: «Чтобы соединить различные пути, мы обращаем внимание на то место,

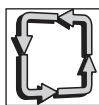


где они сходятся, – на скрыто присутствующий в каждом из нас процесс переживаний; он будет всегда чем-то большим и не разделенным на части» [Джендлин, 2000: 255, 256].

Завершая это небольшое размышление со ссылками на авторитеты, стоит отметить, что такой важный структурный момент внутреннего мира, как Я, то обнаруживает себя во внутренней жизни, то словно прячется за струящимся занавесом синтетического и континуального внутреннего опыта. Я возникает как центр самоотчетности не только в ситуациях, когда надо совершить чреватое проблемностью действие или акт поведения, не подчиненный стереотипу, но и когда надо вмешаться в текущий внутренний опыт и начать регулировать его: снизить меру страха, сконцентрировать внимание, побороть печаль, настроить себя на творческую волну. Я выныривает из глубин спонтанности, чтобы заявить о своей ответственности или вине, о своей решимости и выборе, в этом смысле оно – ядро всех прочих «кристаллизаций» внутреннего мира, нередко дремлющее, но легко просыпающееся и всегда наличное как центр субъективной реальности, ее неустранимый стержень.

Краткие выводы для обсуждения

1. Хотя человек фундаментально отличается от других живых существ тем, что обладает сознанием, языком и строит мир культуры, его внутренний мир не подчинен логико-дискурсивным формам, он лишь частично вербализован, а внутренний диалог проходит в значительной степени во внерациональных формах.
2. Внутренний мир человека не является также сферой, где правят наглядные образы, с которыми можно поступать как с кирпичиками, чтобы построить на свое усмотрение «здание души». Вербальное и образное – сгустки «собственной субстанции» внутреннего мира – смысловых континуальных потоков, которые выступают и как мышление, и как вид самоданности и самопереживания.
3. Смысловые континуальные потоки не наглядны, не понятны, хотя тесно связаны с образами и понятиями как своими носителями и временными формами своей приостановки. Заглядывая «внутрь сознания», мы находим все эти компоненты при доминировании континуального начала. При живой устной речи



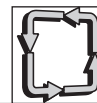
спонтанно происходят внешние звуковые «кристаллизации» слов и фраз, не требующие активного размышления, а только предварительного усвоения речевых стереотипов и собственной установки «на речь».

4. Внутренние переживания включают в себя весь спектр настроений, состояний, фантазий, телесных ощущений, которые сливаются для индивида в конкретное единство, субъективно данное здесь и сейчас.
5. Я человека всегда пребывает с ним в качестве ядра его внутреннего мира, но оно способно находиться в пассивном и активном модусе, «являться» или «не являться» на сцену сознания в зависимости от ситуации и наличной потребности.

Предлагаемое читателям размышление очень важно для меня как автора, желающего понять для себя, что же такое «жизнь внутреннего мира».

Библиографический список

- Бэндлер, 2001 – *Бэндлер Р.* Используйте свой мозг для изменения // Технологии программирования судьбы. Минск ; М., 2001. С. 33.
- Гальперин, 1957 – *Гальперин П.А.* К вопросу о внутренней речи // Доклады АПН РСФСР. 1957. № 4.
- Герасимова, 2009 – *Герасимова И.А.* Сознание и бессознательное в творческой самореализации // И.А. Бескова, И.А. Герасимова, И.П. Меркулов. Феномен сознания. М., 2009.
- Джендлин, 2000 – *Джендлин Ю.* Фокусирование. Новый психотерапевтический метод работы с переживаниями. М., 2000. С. 255, 256.
- Налимов, 2003 – *Налимов В.В.* Вероятностная модель языка. Томск; М., 2003. С. 222.
- Сартр, 2011 – *Сартр Ж.П.* Трансценденция эго. набросок феноменологического описания. М., 2011.
- Симонов, 1958 – *Симонов П.В.* О двух разновидностях неосознаваемого психического: под- и сверхсознании // Бессознательное. Т. IV. Тбилиси, 1985.
- Хант, 2004 – *Хант Г.* О природе сознания. М., 2004.
- Шелер, 1928 – *Шелер М.* Положение человека в космосе. М., 1928.



ВНУТРЕННИЙ МИР В ПЕРСПЕКТИВЕ КОНСТРУКТИВИЗМА

THE INNER WORLD FROM A CONSTRUCTIVIST PERSPECTIVE

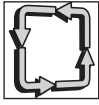
Владимир Игоревич Пржиленский – доктор философских наук, профессор кафедры философских и социально-экономических дисциплин Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина. E-mail: vladprnow@mail.ru

Vladimir Przhilenskiy – doctor of philosophical sciences, professor at the Department of Philosophical and Social-Economic Disciplines at Kutafin Moscow State Law University.

В статье Е.В. Золотухиной-Аболиной ставится вопрос, превращенный в заголовок: как нам представлен наш внутренний мир? На этот вопрос я хотел бы ответить двумя другими вопросами. Что значит быть представленным? Действительно ли внутренний мир нам представлен? Думаю, ответить на эти вопросы можно без особых изысков немецкой герменевтики, да и без апелляции к американской философии сознания. Быть представленным – значит также существовать до момента представления в каком-то ином качестве. Например, в качестве незнакомца, которого видишь, с которым сталкиваешься, но при этом не здороваешься. Потому что никем не представлен или сам не представился. Затем происходит представление, дающее право здороваться, называть по имени, обращаться с вопросом и т.п. Меняется статусно-ролевая структура, меняются права и обязанности тех, кто представлен друг другу.

Так же и с внутренним миром, который до момента представления находился где-то рядом, часто приходилось с ним «сталкиваться» лицом к лицу, но заговорить, спросить его о чем-то, даже о его имени было как-то неловко. Вот после представления... В общем внутренний мир в какой-то момент оказался представлен, и произошло это сперва благодаря философии, а затем уж частным наукам. На каком-то этапе их развития понадобилось обратиться к внутреннему миру – миру человеческой субъективности. Благо для этого созрели необходимые предпосылки.

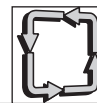
Введение внутреннего мира – акт конституитивный. После этого обретают легитимность такие дисциплины, как психология, и такие течения, как феноменология (которая, кстати, первоначально также замышлялась



как область знания). Э. Гуссерль, как известно, называл внутренний мир жизненным и определял его как дотеоретический. Но это только в том смысле, что мы имеем некий символический универсум, который существует до и помимо всякой науки и всякой теории, который предшествует любому мыслительному акту и позволяет наделять значениями вещи, мысли и действия. То есть жизненный мир – это мир, получающийся в результате некоего мысленного эксперимента. Что-то вроде естественного состояния общества у Т. Гоббса и Дж. Локка или бесконечно движущегося тела, не испытывающего влияния внешней силы, у Г. Галилея. С выражением «внутренний мир» история немного иная. Понятие внутреннего мира рождается вслед за понятием внешнего мира еще в позднесредневековой философии, когда впервые начинают говорить о единстве и тождественности макрокосма и микрокосма. Но и сегодня нужно обосновывать необходимость и целесообразность введения данного понятия для того, чтобы собрать воедино весьма специфический опыт, весьма специальные практики.

Вопрос о способе представленности внутреннего мира несомненно перекликается с вопросом о том, как доказать существование внешнего мира. Еще И. Кант оценил факт недоказанности внешнего мира как скандал в философии. Спустя два столетия М. Хайдеггер и Дж.Э. Мур фактически закрыли эту дискуссию. Если первый назвал скандалом не отсутствие доказательства внешнего мира, а само его требование, то второй подробно разобрал текст Канта и показал проблематичность самого термина. Под внешним миром, писал тогда Мур, Кант понимает каждый раз разное: то нечто внешнее нашему телу, то нечто внешнее нашему сознанию, то нечто внешнее нашим чувствам. Ни в фундаментальной онтологии Хайдеггера, ни в лингвистической терапии Мура не нашлось места ни «внешнему миру», ни «миру внутреннему».

Следует обратить внимание на восходящую к философии Канта интуицию, согласно которой пространство – это способность познающего субъекта упорядочивать внешние восприятия, а время – способность познающего субъекта упорядочивать внутренние переживания. Эта интуиция показывает важнейшую онтологическую черту внутреннего мира – его временную природу. Из сказанного выше вовсе не следует, что заниматься визуализацией невидимого, опространствливанием непространственного нельзя. Как раз можно: в подобных операциях проявляется вся сила теоретического и философского мышления. Точно так же, как и заниматься темпорализацией нетемпорального дело обычное и



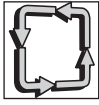
для философов, и для поэтов, и для обычных людей, которые в повседневном языке постоянно путают обстоятельства места и времени.

Пространство, без сомнения, является главной базой для теоретизирования, а оптическая метафора – главным орудием представления всякого опыта, в том числе и опыта восприятия внутреннего мира. Так, Е.В. Золотухина-Аболина описывает «странное ощущение, некоторый испуг перед таинственной сферой, обитающей в нас самих, своего рода бездной, откуда спонтанно “приходят мысли”, и о том, что “они пришли”, мы знаем непосредственно, хотя далеко не всегда осознаем, как и в какой форме».

Это странное ощущение – результат подспудного чувства несоответствия, если хотите, некоего когнитивного диссонанса. Предположим, ты видишь хорошо знакомого человека, начинаешь с ним общаться и вдруг шаг за шагом замечаешь некие признаки подмены. Так и с «персонажами» внутреннего мира, которые исходя из некой интуиции, из установки о единстве всего сущего, должны быть такими же, как и те, с которыми мы встречаемся в мире внешнем. Но затем оказывается, что их бестелесность, удивительное расположение во внутреннем пространстве и во внутреннем времени не позволяют говорить о них как о «обитающих где-то» или «приходящих из бездны». И в этом контексте я вполне могу понять, почему в обсуждаемом тексте онтологизируются спонтанность и субъективность.

Три подхода – классическая эпистемология, психология, феноменология – знаменуют собой три этапа в изучении/конструировании внутреннего мира. И хотя первую сегодня скорее знают как структурный раздел философии, вторую как науку, а третью – как философское учение или интеллектуальную традицию, в реконструкции этапов исследования внутреннего мира их вполне можно представить как три последовательно сменяющие друг друга программы. Сегодня в эпистемологии все еще бытует мнение, согласно которому мир природы подчиняется строгим законам, большинство из которых формулируется на языке математики, а социальный мир, напротив, состоит из трудноуловимых и очень уж замысловато определяемых сущностей (смыслов, значений), которые нуждаются в конвенциях, понимании, интерпретации. И что субъективность столь же присуща социогуманитарному знанию, как объективность – знанию естественно-научному и математическому.

Напомним, что так было не всегда. У истоков философии модерна стояли те, кто считал необходимым математизировать все



знания и сделать их строго научными, объективными и законосообразными. А что не удастся математизировать и избавить от субъективности, то должно быть исключено из сферы науки. Правда, тогда же, в XVII в. были и те, кто считал, что изучать и понимать можно лишь то, что создано человеком или является результатом его решений и поступков. Именно это утверждал, как известно, Дж. Вико, видевший в истории человеческую разумность, но не находивший таковой в природе. Да и в аристотелевской концепции природа хотя и признавалась разумной, но не была ни законосообразной, ни поддающейся строгому математическому описанию.

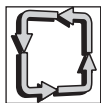
Дело в том, что современное разделение природы и общества коренится в определенной установке, относящейся к Новому времени, когда был создан сложный механизм, обеспечивающий взаимодействие человека с этими двумя сферами сущего. И важнейшим элементом данного механизма стал внутренний мир, созидание которого обеспечило взаимное признание природного и социального, артикулированное человеком. Внутренний мир был фактически взращен в процессе становления новоевропейского проекта, именно так, а не иначе определяющего границы природы и общества. По сути это означало принятие некой конвенции, задающей демаркацию субъективного и объективного, естественного и рукотворного.

«Взрачивание» внутреннего мира опиралось на его перманентную подстройку под цели проекта и правила конвенции. Главным результатом этой тонкой подстройки стала чрезвычайно сложная структура, состоящая из описаний мыслей и чувств, их оценки и соотношения друг с другом. Так было «открыто» и одновременно с этим «сотворено» пространство человеческой субъективности, ключом к которому стало искусство рефлексии. Рефлексия в ту пору окончательно заняла место спекуляции, прежде безраздельно господствовавшей в философском осмыслении мира и человека. И сегодня, став элементом коммуникации, рефлексия остается средством не только постижения внутреннего мира, но и его активного созидания.

Исходя из сказанного выше можно заключить, что все перечисленные Е.В. Золотухиной-Аболиной свойства и качества внутреннего мира инструментально вполне объяснимы. Внутренний мир – это место, где «встречается» рациональное и эмоциональное, формы и образы, дискурс и интуиция. И чем четче мы различаем, дифференцируем, очищаем, отграничиваем одно от другого, выявляя их внутренние логики и практики, тем до больших разме-



ров «вырастает» внутренний мир, обеспечивающий единство человеческого мышления, сознания, действия. Поэтому для его описания Елене Всеволодовне и понадобилось употреблять такие термины-образы, как «внерациональные формы», «здание души», «смысловые континуальные потоки», «кристаллизации слов», метафорическая природа которых свидетельствует о невыразимости, непредзаданности и, если угодно, неданности внутреннего мира. И это описание внутреннего мира одновременно становится его проектированием – для тех, кто принимает данное описание.



ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ СОЗНАНИЯ И ПРОБЛЕМА ВНУТРЕННЕГО МИРА

PHENOMENOLOGICAL CONCEPTIONS OF CONSCIOUSNESS AND THE PROBLEM OF THE INNER WORLD

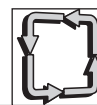
Михаил Алексеевич Белоусов – кандидат философских наук, старший преподаватель и специалист по учебно-методической работе Учебно-научного Центра феноменологической философии РГГУ.
E-mail: mishabelous@gmail.com

Michael Belousov – candidate of philosophical sciences, senior lecturer at the Center for Phenomenological Philosophy of the Russian State University for the Humanities.

В статье Е.В. Золотухиной-Аболиной обсуждается одна из ключевых эпистемологических проблем – проблема внутреннего мира. Начиная с Р. Декарта европейская философская традиция в той или иной форме постоянно возвращается к теме внутреннего мира. Осуществив обоснование философии и науки через *cogito* и выдвинув тезис об эпистемологическом превосходстве мышления над протяжением, Декарт не только сделал проблему внутреннего мира центром философских дискуссий, но и неразрывно связал ее с трудной проблемой сознания. Автор предлагает свое видение того, как нам представлен внутренний мир, привлекая обширный историко-философский материал, в том числе феноменологические учения Э. Гуссерля, Ж.П. Сартра, М. Мерло-Понти и др.

Автором четко заявлена антиредукционистская позиция в отношении внутреннего мира как в онтологическом, так и в языковом плане. Соответственно в позитивном аспекте автор стремится «прикоснуться к субъективному» и понять, «на каком языке субъективность говорит сама с собой». Е.В. Золотухина-Аболина высказывает ряд интересных наблюдений, касающихся как различных концепций внутреннего мира, так и самой структуры внутреннего пространства субъективности. Вместе с тем предложенный автором способ экспликации проблемы внутреннего мира и его обращение к феноменологической традиции в контексте этой темы все же дают повод для полемики.

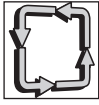
На мой взгляд, в свете рассматриваемой автором проблемы внутреннего мира достойно внимания то обстоятельство, что становление феноме-



ноλογической традиции было в высшей степени тесно связано с отказом от понятия внутреннего мира [Сартр, 2008: 177–180]¹. Одна из новаций феноменологии Гуссерля, впоследствии развитая и перетолкованная на свой лад Хайдеггером, Сартром, Мерло-Понти и другими выдающимися представителями феноменологического движения, заключалась в отграничении проблемы сознания от проблемы внутреннего мира. В феноменологических учениях сознание оказывается тождественно своему собственному проявлению и полностью лишается внутреннего измерения. Сознание есть феномен не как проявление чего-либо иного, скажем, скрытых сил, находящихся за спиной сознания, а в качестве того, что полностью себя «показывает» без какого-либо остатка «по ту сторону» явления. Интенциональность, трансценденция и бытие-в-мире являют собой различные феноменологические стратегии преодоления традиционного различия между внутренним миром сознания и объективным миром «в себе существующих» вещей.

Если конкретизировать этот тезис применительно к концепции родоначальника феноменологии Э. Гуссерля, то существенное значение приобретает различие феноменологической рефлексии и исследования сознания на основе *внутреннего опыта* и соответственно различие феноменологии и психологии. Феноменологическая редукция касалась отнюдь не только внешнего мира, но и мира внутреннего, поскольку, как ни парадоксально, существование внутреннего мира, с точки зрения Гуссерля, это столь же натуралистическая предпосылка, что и существование природы. Для Гуссерля внутренний мир точно так же трансцендентен сознанию, как и внешний мир объектов. Различие имманентного и трансцендентного в феноменологии существенно отличается от обычного различия внутреннего и внешнего мира. Под имманентным Гуссерль понимал нечто абсолютно данное, очевидное, т.е. нечто, что как раз не имеет внутреннего измерения, скрытых качеств и т.п. По этой причине для Гуссерля было неприемлемо допущение бессознательного, ведь бессознательное всегда дано только косвенно, феноменология же не допускает каких-либо косвенных обоснований и требует прямого, очевидного «усмотрения». Но «очевидное» и «действительно переживаемое» в феноменологии Гуссерля не совпадают: так, с точки зрения родоначальника феноменологии очевидно, что всякое сознание на-

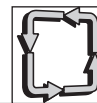
¹ Сартр пишет, что феноменология делает нас свободными «от внутренней жизни» (С. 180).



правлено на предмет, но предмет никогда не переживается и не является составной частью сознания.

Сам термин «внутренний мир» уже предполагает значимость «внешнего мира», т.е. противопоставление внутреннего мира «моего я» и действительности «вне меня». Внутренний мир предстает тогда как некая «особая реальность», которая хотя и может быть противопоставлена внешнему миру, оказывается тем самым включена в единую взаимосвязь природы, понимается как вещь или же как особая «субстанция», существующая наряду с другими вещами. Соответственно сознание может обладать внутренним миром лишь постольку, поскольку оно есть часть внешнего мира, часть природы или «объективной действительности». Но если сознание вообще не есть вещь, субстанция или реальность определенного рода, то у него и не может быть внутреннего мира. Здесь, впрочем, следует оговориться, что проблема, которую рассматривает автор, – это не проблема сознания, а проблема внутреннего мира, причем в тексте Е.В. Золотухиной-Аболиной эти проблемы весьма четко разграничены. Но рассмотрение феноменологических концепций в качестве концепций внутреннего мира мне по перечисленным выше основаниям кажется не вполне оправданным. Предметом феноменологии в ее различных вариантах выступает скорее круг сознание–мир (но не сознание как часть мира).

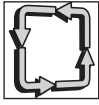
Здесь уместно указать на одну деталь. Е.В. Золотухина-Аболина пишет, что «для Гуссерля существование рефлектирующего Я не вызывает сомнений...». В историко-философском плане этот тезис верен лишь по отношению к «Идеям к чистой феноменологии и феноменологической философии» и к работам, вышедшим после «Идей», но неприменим к феноменологии раннего Гуссерля. Но в контексте обсуждаемой темы интерес представляет не столько сам этот историко-философский факт, сколько основания, которые в течение долгого времени мотивировали отказ Гуссерля от использования термина «Я» вообще. Эти основания достаточно ясно изложены Гуссерлем в лекционном курсе «Вещь и пространство» (1907). Рассматривая вопрос о том, тождественно ли предметное поле феноменологии солипсистски интерпретированному внутреннему миру сознания, Гуссерль пишет: «Является ли, таким образом, вещь взаимосвязью моих психических актов, моих представлений, восприятий, суждений etc.? Тот, кто задает такой вопрос, конечно, совершенно не понял, о чем идет речь. Феноменологическая редукция вовсе не есть солипсистская редукция, и само Я есть нечто вещное, конституирующееся лишь в интенциональной взаимосвязи и ее сущностных формах и лишь таким обра-



зом себя удостоверяющее» [Husserl, 1973: 40–41]. Поэтому феноменологическая рефлексия совершенно освобождается от Я: «Насколько оправданно отнесение образований сознания к Я, к той или иной личности – это можно обосновать лишь посредством объективирующего мышления и его логики; и эта оправданность удостоверяет свой смысл в феноменологическом анализе. Однако мышление, о котором говорит последний, есть ничье мышление. Мы не просто абстрагируемся от Я, как если бы Я все еще сохранялось и мы бы на него просто не ссылались, но мы исключаем трансцендентное полагание Я и держимся Абсолютного, сознания в чистом смысле» [Husserl, 1973: 41].

Из приведенной цитаты становится ясно, что допущение Я, внутреннего мира и несомненно данной «солипсистской сферы» предполагает, по Гуссерлю, овеществление сознания. Сознание как *мое* сознание столь же мало дано мне с очевидностью, сколь и физические вещи. С очевидностью дано только чистое сознание, лишенное какого бы то ни было «носителя» и вовсе не представляющее собой реальную субстанцию в мире. Ранний Гуссерль не принимает картезианский переход от *cogitatio* к *cogito* или *res (substantia) cogitans*. Исключение Я у раннего Гуссерля, таким образом, определяется одной из исходных интенций феноменологии – преодолеть традиционное противопоставление солипсистской сферы сознания и внешнего мира. Довольно широко распространенное мнение, что опасность солипсизма является одной из внутренних проблем феноменологии, в этом свете оказывается несостоятельным. Последующее введение «чистого Я» в «Идеях» также не означало возвращения феноменологии к исследованию внутреннего мира и диктовалось другими мотивами, рассматривать которые здесь, конечно, нет возможности.

Отталкиваясь от Гуссерля, Хайдеггер и Сартр также предложили весьма радикальные варианты решения традиционной проблемы внутреннего мира. Решение заключалось в демонстрации того, что проблема внутреннего мира есть мнимая проблема. По Хайдеггеру, быть – значит уже быть в мире, среди вещей и других людей, определенным образом себя в этом мире проявлять. Помимо этого проявления «экзистенция» не имеет никакого внутреннего мира, у нее нет никакого «внутреннего содержания». Сартр пишет, что сознание «прозрачно, как сильный ветер» [Сартр, 2008: 178]: сущность сознания тождественна выходу за собственные пределы, т.е. в сознании *ничего нет*. Сам концепт *субъективности* поэтому подвергается у Хайдеггера и Сартра, а также у ранне-



го Гуссерля² критике, поскольку понятие субъекта предполагает известную субстанциализацию сознания (либо экзистенции). Последняя же становится неуместной, если учесть, что сознание отождествляется с чистым движением «вовне», по ту сторону которого не остается никакой неподвижной субстанциальной «опоры».

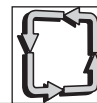
Таким образом, в феноменологической перспективе едва ли уместно говорить о «внутреннем мире». Однако это, разумеется, несколько не влияет на тот факт, что проблема внутреннего мира остается одной из важнейших проблем естественных и гуманитарных наук.

Библиографический список

Сартр, 2008 – *Сартр Ж.П.* Основополагающая идея феноменологии Гуссерля: интенциональность // Ж.П. Сартр. Проблемы метода. М. : Акад. проект, 2008. С. 177–180.

Husserl, 1973 – *Husserl E.* Ding und Raum. Vorlesungen 1907. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1973 [Hua XVI]. S. 40–41.

² В «Вещи и пространстве» Гуссерль указывает, что «само сознание не нуждается в каком-либо носителе» (*Husserl E.* Op. cit. S. 40). По существу речь идет о том, что сознание не нуждается в *субъекте сознания*.



НА КАКОМ ЯЗЫКЕ СУБЪЕКТИВНОСТЬ ГОВОРИТ САМА С СОБОЙ?

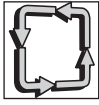
IN WHAT LANGUAGE DOES SUBJECTIVITY SPEAK TO ITSELF?

Сергей Сергеевич Мерзляков – аспирант кафедры философской антропологии философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. E-mail: merzlyakovss@mail.ru.

Sergey Merzlyakov – graduate student at the Department of Philosophical Anthropology of the Philosophical Faculty of Lomonosov Moscow State University. E-mail: merzlyakovss@mail.ru.

Что значит быть субъектом? Каково это вообще быть кем-то? Т. Нагель задается вопросом о том, каким образом можно в терминах онтологии от третьего лица описать приватные данные сознания. Для этого он приводит в пример летучую мышь – что значит быть летучей мышью [Nagel 1974: 435]? Кажется, что даже в том случае, если мы будем знать все о функционировании ее мозга, то не сможем понять, что значит охотиться ночью на насекомых при помощи эхолокации. Субъективные данные сознания с трудом поддаются переводу на язык, который был бы доступен для другого. Возможно, этот перевод принципиально невыполним, т.е. существует некий объяснительный разрыв между объективными данными, которые мы получаем при исследовании работы мозга, и субъективными переживаниями. И если мы можем как-то договориться друг с другом по поводу интерпретации объективных данных, то приватные состояния остаются непередаваемыми и неопределяемыми. В таком случае возникает вопрос: а что же это за вид информации, который мы называем субъективностью? Другими словами, как я дан себе? Какими механизмами пользуется мое сознание для того, чтобы поддерживать во мне чувство субъективности? Поэтому вопрос, который поставила в своей статье Е.В. Золотухина-Аболина, является одним из самых важных в современной философии. Действительно, на каком языке субъективность говорит сама с собой?

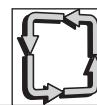
Этот вопрос влечет за собой два других очевидных вопроса: во-первых, говорит ли с собой субъективность вообще и, во-вторых, что такое субъективность? Не могу согласиться с Е.В. Золотухиной-Аболиной, которая полагает, что вопрос о внутреннем языке выходит за пределы современной философии сознания, так как не касается темы психическое–физи-



ческое. Философия сознания занимается не только поиском коррелятов ментальных состояний в физическом мире, но и делает попытки дать описание ментальных состояний с субъективной точки зрения. Поэтому вопрос о языке субъективности вполне органично вплетается в дискурс современной аналитической философии.

Как можно ответить на вопрос о языке субъективности, не отвечая на вопрос о том, зачем она вообще нужна? От того, какие функции выполняет моя субъективность, зависят способы выполнения этих функций, т.е. мои приватные данные. Разговор о функциях субъективности приводит нас к «трудной проблеме сознания», наиболее четко сформулированной Дэвидом Чалмерсом, и к его знаменитому вопросу: почему наша жизнь не проходит в темноте [Chalmers, 1997]? Суть этой проблемы в том, что физикализм не предполагает наличие каких-либо идеальных сущностей, которые могли бы оказывать влияние на мир материальных объектов. С точки зрения физикализма сознание не может быть причиной изменений в физическом мире, потому что в противном случае ставится под сомнение казуальная замкнутость этого мира. Почему мы вообще обладаем сознанием? В мире исключительно физиологических и психических реакций никакая субъективность не нужна, так как она становится избыточной и превращается в номологического бездельника. Ответ на вопрос «как мы даны себе?» зависит от ответа на вопрос «почему мы вообще есть?». Этот вопрос является основным в современной дискуссии о сознании.

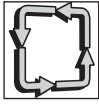
Если субъективность не выполняет никаких функций, то наши приватные данные представляют собой эпифеномен физиологических реакций в мозге. Если мы согласимся с этим положением и встанем на позиции эпифеноменализма, то вопрос о языке субъективности приобретет совершенно особую специфику – в этом случае нам нужно будет описать то, что не имеет равным счетом никакой функции [Jackson, 2004]. Для демонстрации основных положений эпифеноменализма был придуман знаменитый мысленный эксперимент «философский зомби», который предлагает представить гипотетическое существо, во всем идентичное человеку, но не обладающее приватными данными сознания. Кажется очевидным, что у этого существа не будет такой формы саморепрезентации, как субъективность. Зомби не обладает «языком субъективности» просто в силу того, что не существует субъекта, с которым можно было бы разговаривать на этом «языке». Однако что, если то, что мы привыкли называть собой, т.е. субъективностью, явля-



ется лишь качественной иллюзией и никакого «Я» вообще не существует?

Дэниэл Деннет знаменит своей программой по дисквалификации квалиа [Деннет, 2004]. Он предлагает считать субъективность качественной иллюзией и не делает принципиального различия между «философским зомби» и реальным человеком. Деннет борется против концепции «картезианского театра», которая предполагает наличие своего рода «зрителя», т.е. фиксированного субъекта. Он предлагает другой вариант – модель множественных набросков. В каждый конкретный момент времени в мозге протекает множество процессов. И тот элемент информационного поля, который имеет наибольшее значение для актуального момента, попадает в фокус сознания, но это не значит, что есть какой-то «зритель», который выбирает что смотреть, а что нет. В мозге нет никакого театра, а значит, нет ни сцены, ни зрителя. Но как быть с ментальными образами, которыми я оперирую? Деннет скажет, что дело лишь в привычке считать, будто я обладаю этими самыми ментальными образами. Нет никаких изображений – их наличие лишь качественная иллюзия, которая исчезает при должном и объективном наблюдении за самим собой. Деннет предлагает свой собственный метод, который позволяет расстаться с «феноменологическим садом» и иллюзией «картезианского театра». Этот метод он называет гетерофеноменологией. Суть метода заключается в том, что Деннет отказывается от онтологии первого лица при описании своих субъективных состояний. При описании любого своего состояния необходимо ориентироваться не на то, что диктует субъективное восприятие, а подходить к своим приватным данным с позиции третьего лица, т.е. рассуждать о себе с позиции стороннего наблюдателя. Этот метод, по замыслу Деннета, позволит без особых затруднений избавиться от иллюзии феноменального опыта, так как, рассматривая сознание другого человека, проще принять тот факт, что внутренний мир иллюзорен.

Но если нет ментальных образов, то что есть? Деннет полагает, что наши ментальные образы суть речевые формулы [Юлина, 2010: 384]. В сознании нет никаких изображений – есть усвоенные в процессе социализации образцы поведения в виде языковых дескрипций. В этом случае «язык субъективности» – это именно вербальный язык. Тогда то, что мы называем своей субъективностью, – лишь «отчеты», «суждения», «верования», пропозициональные суждения, которые представляют собой результаты когнитивной деятельности, оформленной знаками и подчиненной логическим и лингвистическим шаблонам. Здесь нет места для



ментальных образов. У Деннета есть основания для того, чтобы делать этот вывод. Приведем пример, демонстрирующий иллюзорность ментальных изображений [Васильев, 2009: 118]. Попробуйте представить себе зебру. Пересчитайте ее полосы. Странно, но посчитать полосы крайне сложно. Деннет полагает, что ничего странного в этом нет – просто в нашем сознании не существует ментальных образов, независимых от языковых инструкций. Тогда единственным способом «разговора» с самим собой являются языковые шаблоны, т.е. инструменты социального взаимодействия. Язык и культурные семиотические системы являются той средой, в которой формируется наша самость. В этом случае наш внутренний мир состоит из культурных мемов и языковых конструкций, все остальное – иллюзия.

Проблема представления внутреннего мира является крайне сложной. И, разумеется, концепция Деннета не является единственной и даже исключительной в рамках современной философии сознания. Но большое количество предлагаемых решений указывает лишь на то, что эта проблема является по-настоящему сложной. Вопрос о том, из чего состоит наш внутренний мир, имеет давнюю философскую историю. И одним из ключевых моментов в исследовании этого вопроса является учение о схематизме чистых понятий рассудка Канта [Кант, 2007: 132]. Глава «Критики чистого разума», посвященная этой проблеме, вызвала наибольшие споры среди философов. Кто-то иронизировал по поводу решений, предлагаемых Кантом, а кто-то считал, что эта часть является лучшим моментом в его учении. Как нам соединить чувственность и рассудок, абсолютно разные по своей природе? Для их соединения Кант вводит представление о схематизме, которое позволяет утверждать: «Мысли без содержания – пусты, созерцания без понятий – слепы». В схеме Кант объединяет чувственное созерцание и категории чистого рассудка. Нет никакой субъективности без чувственных созерцаний, как нет субъективности без понятий. Возможно, сегодня нам нужно вернуться к наследию этого философа в поисках ответа на вопрос о том, что такое субъективность. Но возможен и такой вариант, что вопрос о глубинных свойствах нашего сознания никогда не раскроет своих тайн. Кант пишет: «Этот схематизм нашего рассудка в отношении явлений и их чистой формы есть скрытое в глубине человеческой души искусство, настоящие приемы которого нам вряд ли когда-либо удастся угадать у природы и раскрыть».

Как уже было сказано, позиция Деннета не является единственной. Большое количество современных философов не разделя-

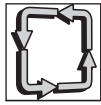


ют его мнения о том, что вербальный язык это главный структурный элемент самости человека. Например, отечественный философ Ф.И. Гиренок выступает с резкой критикой языковой концепции сознания [Гиренок, 2010].

Хочется обратить внимание на выводы, которые сделала Е.В. Золотухина-Аболина в конце статьи. Она пишет: «Внутренний мир человека не является также сферой, где правят наглядные образы, с которыми можно поступать как с кирпичиками, чтобы построить на свое усмотрение “здание души”». Думаю, что пример с воображаемой зеброй подтверждает эту мысль автора. Кроме того, введение «собственной субстанции» внутреннего мира и смысловых континуальных потоков позволяет сравнить решение, предлагаемое автором, с основными положениями учения о схематизме Канта. Возможно, главное в нашей субъективной жизни вовсе не вербальные конструкторы или ментальные образы, а схемы, соединяющие в себе пространство и время, язык и образ, что и создает «собственную субстанцию» внутреннего мира.

Библиографический список

- Васильев, 2009 – *Васильев В.В.* Трудная проблема сознания. М. : Прогресс-Традиция, 2009. С. 118.
- Гиренок, 2010 – *Гиренок Ф.* Аутография языка и сознания. М. : МГИУ, 2010 (Сер. Современная русская философия. № 5).
- Деннет, 2004 – *Деннет Д.С.* Виды психики: на пути к пониманию сознания. М. : Идея-Пресс, 2004.
- Кант, 2007 – *Кант И.* Критика чистого разума. М. : Эксмо ; СПб. : Мидгард, 2007. С. 132.
- Юлина, 2010 – *Юлина Н.С.* Философская мысль в США. XX век. М. : Канон+, 2010. С. 384.
- Chalmers, 1997 – *Chalmers D.J.* Facing up to the problem of consciousness // *Explaining Consciousness — The “Hard Problem”*; ed. by J. Shear. Cambridge, MA, 1997.
- Jackson, 2004 – *Jackson F.* Epiphenomenal qualia // *There’s Something about Mary*; ed. by P. Ludow, Y. Nagasawa, and D. Stoljar. Cambridge, MA, 2004.
- Nagel, 1974 – *Nagel T.* What is it like to be a bat? // *Philosophical Review*. Vol. 83, № 4 (1974). P. 435–450.



АСПЕКТЫ «ВНУТРЕННЕГО МИРА» И СЕМАНТИКА ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА¹

ASPECTS OF “THE INNER WORLD” AND SEMANTICS OF NATURAL LANGUAGE

Куслий Петр Сергеевич – кандидат философских наук, научный сотрудник сектора социальной эпистемологии Института философии РАН.
E-mail: kusliy@yandex.ru

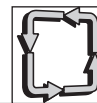
Petr Kusliy – candidate of philosophical sciences, a researcher at the Institute of Philosophy, RAS.

(i) Пафос лингвистического поворота в философии, как известно, был связан с амбициозной программой исследования базовых вопросов философии посредством строгого анализа языка (Б. Рассел, Г. Райл, Л. Витгенштейн и др.). Развитие философии в XX в. показало, что языковой анализ слишком ограничен, чтобы эффективно отвечать на все вопросы, стоящие перед философами. Тем не менее семантическое содержание языковых выражений и их употребление в языковой практике остается в фокусе философов как способ доступа к значениям формулируемых терминов, к смыслам используемых понятий.

Настоящая реплика к статье Е.В. Золотухиной-Аболиной «Как нам представлен наш внутренний мир» посвящена одному из способов его представленности в используемом нами естественном языке, а конкретно – тем средствам, с помощью которых непосредственно выражается то, что можно назвать человеческой субъективностью (субъективные аспекты психической установки того или иного человека). Хотелось бы надеяться, что такого рода анализ сможет восприниматься и как отдельный довод в поддержку тех исследований, в которых субъективность (перспектива первого лица) рассматривается как не поддающаяся редукции к тем или иным объективным процессам.

(ii) Вопросы, которым хотелось бы уделить внимание, звучат так: содержит ли наш язык средства, предусматривающие особый статус субъекта и субъективности, или его ресурсы ориентированы исключительно

¹ Подготовлено при поддержке РФФИ, проект № 12-06-00386-а.



на объективацию того, что с помощью него описывается? Или, проще говоря, сообщает ли некая условная Катя, произнося

(1) «Я выиграю конкурс»,

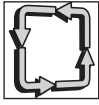
что-то отличное от содержания фразы

(2) «Катя выиграет конкурс»?

Определенный свет на данную проблему проливает семантический анализ так называемых индексных языковых выражений, обозначающих индивида (в данном случае нас больше будет интересовать местоимение «я»), и сравнение этого анализа с семантическим анализом неиндексных выражений (имен собственных и определенных дескрипций). Специфика выражений с индексными элементами – их особая когнитивная значимость в языковой практике. Так, предложение «Я здесь сейчас» является истинным во всех контекстах употребления, однако при этом оно не считается логической истиной (тавтологией), ведь то, что, скажем, П.С. Куслий находится в такое-то время в таком-то месте, является случайным фактом. Аналогичным образом, произнесенная автором этих строк фраза «Я – Петр Куслий» является необходимой истиной (в ней утверждается самождественность конкретного объекта), но она истинна далеко не во всех контекстах. Если у меня амнезия, то содержание этого высказывания может быть для меня абсолютно неожиданным.

Семантика для индексных выражений была разработана Д. Капланом [Kaplan, 1977/1989] и до сих пор считается стандартной для такого рода выражений. Каплан рассматривал смысл языкового выражения как состоящий из двух частей: содержания и характера. Содержание – это функция от возможного мира к экстенсионалу (обычный интенционал Р. Карнапа). Например, содержанием определенной дескрипции «нынешний президент России» является функция от возможного мира оценки этого выражения к его денотату в этом мире. Характер выражения, по Каплану, это функция от контекстов к содержаниям. У неиндексных выражений характер неизменен: во всех контекстах употреблении характером выражения «нынешний президент РФ» является его содержание. У индексного же выражения «я» характер при переходе от одного контекста к другому может иметь разное значение: в одном контексте это будет Катя, в другом Петр и т.д.² Выражение «Я здесь сейчас» имеет характер, дающий

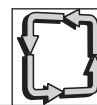
² Индексные выражения, по Каплану, обозначают свой объект напрямую без опосредования интенционалом, поэтому здесь в качестве значения применения характера к контексту я сразу рассматриваю экстенционал.



одно и то же содержание во всех контекстах употребления (что говорящий находится в момент произнесения в месте произнесения), однако само содержание, будучи примененным к разным мирам, дает разные денотаты. И наоборот: произнесенное мной «Я – Петр Куслий» имеет постоянное содержание (истинно во всех мирах), но не характер.

Таким образом, используя семантику Каплана для индексных выражений, мы смогли показать отличие в смысле между приведенными выше предложениями (1) и (2): при общем содержании они имеют различные характеры. Однако этого самого по себе, пожалуй, недостаточно, чтобы констатировать наличие в естественном языке какого-то особого пространства для субъекта и субъективности, поскольку различие между содержанием и характером и особая роль последнего для индексных выражений могут быть рассмотрены нами лишь как вполне объяснимая особенность таких выражений, обусловленная спецификой их употребления в языковой практике. Ведь если «Петр», «Катя», «нынешний президент России» обозначают соответственно Петра, Катю и В. Путина во всех контекстах употребления, то «я» в каждом отдельном контексте обозначает собственно говорящего. И с учетом сказанного то, что непосредственно сообщается в (1) и (2), остается тождественным. Иными словами, условия истинности того, что сообщается в этих предложениях, одни и те же.

(iii) Более обещающим в смысле ответа на интересующий нас вопрос становится обращение к так называемым сообщениям о верованиях. Конкретнее речь идет о различии между так называемыми *de te* и *de se* верованиями и сообщениями о них. Наиболее простой иллюстрацией данного различия может послужить пример двух ситуаций, в которых Катя считает, что она выиграет конкурс. В первой ситуации (более стандартной и распространенной) Катя уверена в силе своей заявки на конкурс и поэтому считает, что она, Катя, выиграет. Ее мысль здесь может быть сформулирована так: «Я выиграю конкурс». Во второй ситуации (несколько искусственной, но тем не менее вполне возможной) Катя, проглядывая заявки на конкурс, поданные всеми участницами, останавливает внимание на своей собственной заявке и, по тем или иным причинам не узнавая ее (т.е. не идентифицируя ее в качестве своей собственной заявки), формулирует суждение о силе данной заявки и, как следствие, суждение о том, что ее автор выиграет конкурс. Тут ее мысль уже не



может быть сформулирована как «Я выиграю конкурс», а должна выглядеть скорее так: «Она выиграет конкурс».

Важно, что в обеих ситуациях мы можем сообщить о Катинем веровании, сказав:

(3) «Катя считает, что она выиграет конкурс»,

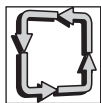
где «она» обозначает Катю как в первой, так и во второй ситуации. Однако при этом очевидно, что две описанные ситуации не идентичны и различаются тем, что истинность (3) в смысле, соответствующем первой ситуации, влечет истинность предложения в смысле второй ситуации, но не наоборот. А если так, значит, каждому из двух прочтений (3) должна соответствовать отдельная логическая форма. Иначе говоря, условия истинности сообщения о веровании, сформулированного посредством (1), отличаются от условий истинности сообщения о веровании, сформулированного посредством (2), а значит, различие в значении между ними все же должно быть!

Само по себе различие между психическими установками, присущими Кате в каждой из описанных ситуаций, было исследовано еще Д. Льюисом [Lewis, 1983] и формулировалось им как различие в свойствах, которые Катя приписывает сама себе в каждой из этих ситуаций. В первой из них (где она как бы думает: «Я выиграю конкурс») Катя, согласно Льюису, приписывает себе свойство, которое может быть обозначено следующей записью « $\lambda x . x$ думает, что x выиграет конкурс» (установка относительно себя – de se). Во второй ситуации речь идет о свойстве, обозначенном как « $\lambda x . x$ думает, что Катя выиграет конкурс» (установка относительно объекта (Кати) – de re).

Однако поскольку (3) может сообщать как о первой, так и о второй ситуации, семантика Каплана исходила из того, что условия истинности как для (3), в частности, так и для сообщений о верованиях в целом, должны быть достаточно общими, распространяясь одновременно и на случаи de re верований, и de se верований. В задании таких обобщенных условий истинности понятия характера играли ключевую роль. Рассмотрим их для предложения (3):

«Катя считает, что она победит в конкурсе» истинно, если и только если

существует такой характер χ , который для каждого контекста c' , совместимого с верованиями Кати, будучи примененным к этому контексту по правилу применения функции к аргументу, даст



в качестве получившегося значения пропозицию, что Катя победит в конкурсе (λw . Катя победит в конкурсе в w);

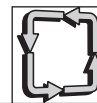
данная пропозиция, будучи примененной к любому из миров, *совместимых с верованиями Кати*, дает значение «истина».

Проще говоря, Каплан утверждает, что Кате тем или иным способом (т.е. способом *de re* или *de se*) представлена мысль, что она победит в конкурсе. И существование такого способа представленности, который здесь не конкретизируется, Каплан задает в терминах характера.

Данная семантика, как было не так давно установлено, имеет ряд серьезных технических проблем (см. [von Stechow, Zimmermann, 2005], а также обсуждение в [Maier, 2006], [Schlenker, 2010]), однако в нашем случае важно, что, признавая присутствие субъективных психических актов верования (или психических актов о самом субъекте) и их отличия от аналогичных объективных актов, семантика Каплана, долгое время считавшаяся основополагающей для индексных выражений и для содержащих их сообщений о верованиях, не признавала присутствия данного различия в языке: сообщения о верованиях, как мы видели, считались недоопределенными относительно различия между *de re* и *de se* верованиями.

Происхождение проблемы данной недоопределенности представляется вполне понятным. Верование *de se*, так же как и верование *de re* в описанном смысле, направлено на субъекта-носителя этого верования. Различие заключается лишь в *осознании* субъектом того, *что он сам* является и объектом этого верования. Однако в стандартных формализмах, использовавшихся для семантической интерпретации языковых выражений, никак не учитывали этот фактор *осознания*, а местоимение (в данном случае «она») всегда интерпретировалось одинаково – как индивидуальная переменная. Причем, как показывает Шленкер ([Schlenker, 2010]), различие между связанностью и кореференцией (когда переменная x может обозначать Катю, будучи связанной выражением «Катя» либо будучи свободной, но обозначающей Катю в силу функции приписывания для свободных переменных) не способствует прояснению различия между верованием *de re* и *de se*³.

³ Фраза «Каждая участница думает, что она победит в конкурсе» с необходимостью предполагает связывание переменной в логической форме, но при этом способна сообщать как о *de re*, так и о *de se* верованиях.



Лингвистические исследования в области формальной семантики естественного языка показали, однако, что естественные языки содержат конструкции, описывающие исключительно *de se* установки, а вместе с этим и то, что в нашем языке имеются ресурсы для выражения черт человеческой субъективности, его «внутренней» перспективы. Г. Киеркиа в [Chierchia, 1987] показал, что инфинитивные конструкции, являющиеся сообщениями о верованиях, могут описывать только *de se* установки:

(4) Катя собирается выиграть конкурс.

Это предложение не может быть сообщением о веровании Кати во второй из двух описанных выше ситуаций (т.е. для случая *de re* установки), а только о ее веровании в первой ситуации. Инфинитивные конструкции не единственные выражения, сообщающие о верованиях *de se*. Ситуацию, в которой присутствует несколько человек с *de re* и *de se* верованиями, можно построить так, что выражение «Катя думает, что она победит» в заданном контексте будет иметь только *de se* прочтение.

Русский язык в этом вопросе может оказаться даже показательнее английского. В нем возможны такие выражения, как

(5) Катя думает, что победит,

которые, не являясь инфинитивными конструкциями и не имея никакого специально заданного контекста, также описывают только *de se* верования⁴.

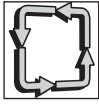
(iv) Исследования в области формальной семантики, анализируя способы присутствия и выражения смыслов в естественном языке, способны пролить дополнительный свет на целый ряд вопросов о том, как мы, пользователи естественного языка, говорим и думаем о мире, в том числе (как я пытался показать в этой короткой заметке) и на вопросы, связанные с тем, что называется внутренним миром человека.

Библиографический список

Chierchia, 1987 – *Chierchia G.* Anaphora and attitudes de se' // *Language in Context* ; B. van Bartsch, & E. van Boas (eds.). Dordrecht : Foris, 1987.

Kaplan, 1977/1989 – *Kaplan D.* Demonstratives. An essay on the semantics, logic, metaphysics, and epistemology of demonstratives and other indexicals // *Themes from Kaplan*; J. Almog, J. Perry, H. Wettstein (eds.). N.Y. : Oxford University Press, 1989. P. 481–563.

⁴ Считаю, что они заслуживают отдельного исследования.



Lewis, 1983 – *Lewis D.* Attitudes *De Dicto* and *De Se* // *Philosophical Papers I*. N.Y. : Oxford University Press, 1983. P. 133–155.

Maier, 2006 – *Maier E.* Belief in Context: Towards a Unified Semantics of De Re and Se Attitude Reports // PhD Dissertation. University of Nijmegen, 2010.

Schlenker, 2010 – *Schlenker Ph.* Indexicality and *De Se* Reports. Ms. (available online), 2010.

Von Stechow, Zimmermann, 2005 – *Stechow A. von, Zimmermann T.E.* A problem for a compositional treatment of de re attitudes // *Reference and Quantification: The Partee Effect* ; G. Carlson, F.J. Pelletier (eds.). Stanford, 2005. P. 207–228.



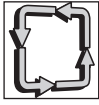
ОТВЕТ ОППОНЕНТАМ

А REPLY TO THE OPPONENTS

Елена Всеволодовна Золотухина-Аболина – доктор философских наук, профессор кафедры истории философии факультета философии и культурологии Южного федерального университета (Ростов-на-Дону).
E-mail: elena_zolotuhina@mail.ru

Elena Zolotuhina-Abolina – doctor of philosophical sciences, professor.
Department of history of Philosophy of the Faculty of Philosophy and Culturology of Southern Federal University.

Я с большим интересом прочитала отклики участников дискуссии на свою статью и искренне признательна им за показ различных ракурсов поднятой темы. В то же время возникшее обсуждение продемонстрировало, что сомнению подвергается само явление, которое стало предметом моего интереса, а именно внутренний мир. В.И. Пржиленский в своем отклике отметил, что «внутренний мир был фактически взращен в процессе становления новоеропейского проекта», т.е. акцентировал его культурно-исторический генезис, как бы намекая, что раньше его не было. М.А. Белоусов, ссылаясь на мнение выдающихся феноменологов (М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, М. Мерло-Понти), отметил, что «“экзистенция” не имеет никакого внутреннего мира, у нее нет никакого внутреннего содержания», значит, и разговаривать не о чем. Это меня несколько удивило. Кажется, уважаемые оппоненты в данном случае обсуждают «способы говорения» о том, что я называю внутренним миром (а можно назвать субъективностью или внутренним опытом), а не саму целостность субъективности, которой обладает каждый человек. До того как сложились разноречивые философские представления о внутреннем мире (а также о сознании, аффектах, настроениях и т.д.), внутренний мир и сознание были: люди радовались, печалились, размышляли, мечтали. Это был просто факт жизни, он присутствует и сегодня. И акцентировка рядом авторов XX в. – как бы мы их ни почитали! – единства и взаимосвязи между «внутренним» и «внешним» отнюдь не уничтожает различия внутреннего и внешнего, это хорошо знает каждый, кто отличает фантазию от реальности, не принимает желаемое за действительное, способен к рефлексии, которая не равна деятельности в эмпирическом мире. Борьба с «реификацией» – борьба конкретной эпохи, подход с ее позиций не всегда уместен.



И если уж следовать Сартру, то свобода все же свойство, принадлежащее «для себя», а не «в себе»...

Наиболее интересным мне показался отклик С.С. Мерзлякова, который говорит в конце своего текста о кантовской проблеме схематизма, связывающего все компоненты нашего внутреннего мира, как дискретные вербальные, так и интуитивные континуальные. Эту мысль можно развивать дальше, поскольку, видимо, мы действительно вправе говорить не только о «схеме тела», о чем немало было говорено в XX в., но и о схеме субъективности (внутреннего опыта, внутреннего мира).

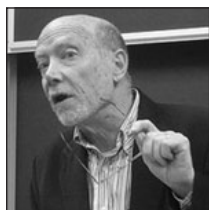
Хотелось бы еще раз выразить признательность участникам дискуссии, даже если мы не всегда одинаково понимаем, что такое «внутренний мир».



A

PROGRESS REPORT ON COGNITIVE FOUNDATIONALISM AND METAPHYSICAL REALISM

Tom Rockmore



Metaphysical realism, though not under that name, runs throughout the entire Western tradition at least since Parmenides. His basic ontological claim, that is, that what is is and cannot not be, hence cannot change, influentially creates a central philosophical task. Cognitive foundationalism, whose exemplar is Descartes, is a cognitive strategy intended to respond to metaphysical realism. Plato rejects any form of a representational approach to knowledge in rejecting the backward causal inference from ideas in the mind to the world. The Cartesian strategy is based on a justified inference from the idea in the mind to the world, which reverses the Platonic criticism. Criticism of the Cartesian inference from the idea in the mind to the world supports Plato's rejection of representationalism in all its forms.

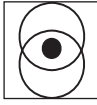
Key words: realism, foundationalism,, Parmenides, Plato, Descartes.

Realism, like ice cream, comes in many different flavors. This is a progress report on the relationship of cognitive foundationalism and metaphysical realism. In a short paper, it will not be possible to investigate this relationship in detail. I will nonetheless do my best to point to avenues for further discussion.

“Realism” is usually understood to refer to the ontological independence of the cognitive object, that is, its independence with respect to our beliefs, knowledge, conceptual frameworks and so on. Realism is routinely either explicitly invoked or at least presupposed as a criterion for knowledge. All claims for knowledge are without exception claims for knowledge of the real, but there are many different kinds of realism. For instance, social realism, which is often promoted by Marxism, suggests socially realist art either enables or at least helps more than any other artistic style in knowing social reality, which we otherwise could not know or perhaps not know as well.

Realism is the dominant element in the cognitive debate. The type of realism one accepts determines the cognitive strategy one chooses. The acceptance of one particular type of realism rather than another as the standard of knowledge leads in turn to specific epistemological strategies, such as cognitive foundationalism, strategies which are formulated in order to justify particular realist claims to know.

The Western cognitive tradition is strongly influenced by an early commitment to what later became metaphysical realism. Metaphysical realism is any form of the cognitive claim that to know requires a cognitive grasp of reality, or in other words the mind-independent external world as it is, not merely as it appears. Metaphysical realism, though not under that name, runs throughout the entire Western tradition at least since Parmenides. His basic



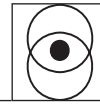
ontological claim, that is, that what is is and cannot not be hence cannot change, influentially creates a central philosophical task. The Parmenidean ontological view has been understood over the millennia as calling for cognition of reality as the standard of knowledge.

Parmenides influences Plato and through him the later debate. The view that to know requires a cognitive grasp of mind-independent reality, which was adopted by Plato, echoes throughout the entire later Western tradition. Plato's realism about universals is associated with his intuitionism about knowledge of the mind-independent real.

Though there are probably as many epistemic models as there are thinkers interested in knowledge, there are finally only a few basic approaches. In ancient philosophy, the two main cognitive strategies are intellectual intuition and representation. In the *Republic*, Socrates talks about carrying around a mirror in order to reflect reality. This is probably the first version of what later became the reflection theory of knowledge, which Lenin, following Engels, officially adopted.

Plato rejects mimetic art in calling for the expulsion of artists, poets and other non-philosophers concerned with knowledge from the city. Since mimesis is a form of representation, in criticizing mimesis, Plato rejects any form of representation in favor of intellectual intuition. In other words, restated in causal language, in which the representation is the effect of the mind-independent world, one can say that Plato rejects any inference from effect to cause. In place of a causal theory of perception, Plato appears to make one of two points in arguing for an intuitive approach to knowledge: either some selected individuals on grounds of nature and nurture can intuit the real, or if knowledge is to be possible there must be some selected individuals who on grounds of nature and nurture can intuit the real.

In the modern debate, there are many efforts to reverse the Platonic rejection of representationalism in formulating a causal theory of perception, which links together an idea in the mind to the mind-independent world. This view is common to rationalism and empiricism, which, though they otherwise differ, both feature a cognitive relation between ideas and reality. In a causal theory of perception, the idea in the mind is the effect for which the mind-independent world is the cause. Rationalism and empiricism are the two main forms of the new way of ideas as distinguished from the old way of ideas or Platonism. Both rationalism and empiricism suggest cognition depends on the relation of ideas in the mind to mind-independent reality, more precisely on the backwards or anti-Platonic inference from the effect to its cause.



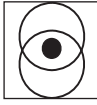
Cognitive representation is problematic since there seems to be no way to know that representations match up with, correspondent to or otherwise correctly represent the cognitive object. The main criticism is simple but devastating. If access to the cognitive object is only possible through the representation, then there is no way to know how the representation relates to what it represents, hence no way to argue for the success of a representational approach to knowledge. This criticism, which seems to vindicate Plato's rejection of the backward inference from effect to cause, appears to undermine any and all modern forms of representationalism.

In the modern debate, skepticism, foundationalism, and metaphysical realism are closely linked. Foundationalism exploits the analogy between a building, which is constructed on solid, or unshakeable foundations, and the correct epistemic strategy. "Epistemic foundationalism" refers to any strategy for knowledge based on an initial principle or set of principles known to be absolutely certain.

Foundationalism, which is a peculiarly rigorous form of the causal theory of perception, is a strategy to avoid skepticism while arguing for cognitive claims beyond the possibility of doubt. Foundationalism is intended to defeat skepticism through realism. Modern foundationalism has two aims. First, it is intended to overcome any and all kinds of epistemic skepticism. This difficulty looms larger in modern than in ancient philosophy. Second, epistemic foundationalism is intended to satisfy the criterion of metaphysical realism, hence to meet the standard proposed by Parmenides.

Epistemic foundationalism, which assumes different forms, has always been beset with difficulties. When foundationalism comes into the tradition depends on what one understands it to be. Plato's suggestion that mathematics and natural science depend on first principles which can be grasped through dialectic and which guarantee all forms of knowledge is perhaps an early form of foundationalism.

In the *Republic* Plato seems to suggest all knowledge must be based on initial principles, which, through dialectic, are known to be true. Aristotle develops this Platonic suggestion. According to Aristotle, there are certain, true and primary principles, from which the conclusion follows. Aristotle thinks that to avoid either an infinite regress or circular reasoning, the premises on which demonstration is based must either be demonstrable or not require demonstration since as first principles they cannot be demonstrated but are self-evidently true.



There are two standard objections to this analysis. First, one may claim that scientific knowledge is not indemonstrable but necessarily demonstrable, hence falls into an infinite regress. Aristotle answers this objection in claiming without demonstration that there must be basic propositions or knowledge is impossible. The second objection is that in certain instances circular reasoning is permissible.

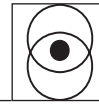
In modern times, foundationalism takes different forms, above all in the Cartesian position. Cartesian foundationalism is basically a highly systematic approach to knowledge. According to Kant, cognition must be scientific, and science requires the unity of different cognitions under a single idea or principle. The Kantian conception of scientific system is strongly influenced by Descartes. Descartes, who is equally important in mathematics and philosophy, relies on a geometrical model in formulating his philosophical approach.

Geometry depends on axioms or postulates whose truth is assumed for purposes of demonstration in order to deduce theorems. Descartes takes the geometrical model further in making apodictic claims for knowledge. According to Descartes, there is a single foundationalist principle, or unshakeable Archimedean point, known to be true, and the remainder of the theory can be rigorously deduced from it. It follows that if the theory is rigorously deduced from a principle known to be true, then the theory is also true.

The Aristotelian and the Cartesian approaches differ in their understanding of the foundational, basic or first principles. Aristotle argues there must be such principles in order to have knowledge, which Descartes undertakes to demonstrate through his conception of the cogito. In comparison, Descartes can be said to improve on the Aristotelian approach in identifying a cognitive first principle, or foundation for cognition.

The deceptively simple modern Cartesian foundationalist cognitive approach is theoretically interesting but difficult to defend in practice. This model, which depends on a causal theory of perception, argues from an idea in the mind to the mind-independent external world in order to defeat the most radical form of skepticism. The Cartesian argument for knowledge is based on the cogito, or a conception of the subject, which cannot be false, hence is therefore true. The many objections, which have been raised against Cartesian foundationalism, all concern the difficulty of making a justified inference from ideas in the mind of the subject to the mind-independent external world.

Descartes' key argument is that the cogito, which is necessarily true, permits an apodictic cognitive inference to the mind-external world as it is. According to Descartes, the cogito exists, since its



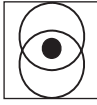
existence cannot be denied, and, since, clear and distinct ideas are true since God would not deceive me, we can reliably determine which ideas in the mind are true.

This argument has generated an enormous debate. Many commentators, beginning with Arnauld, suggest that the Cartesian argument is circular in pointing to the so-called Cartesian circle. This criticism consists in pointing out that Descartes appears to rely on the existence of God, which he has not yet demonstrated, to infer that clear and distinct ideas are true. Descartes responded in several ways, of which the most important is that clear and distinct ideas do not depend upon God to validate them. Suffice it to say that the argument about the Cartesian circle has never been decided.

Others who criticize Cartesian foundationalism include Fichte and Hegel. Thus Fichte revives circular demonstration earlier rejected by Aristotle. Fichte, like Aristotle, rejects the very idea of demonstrating an initial or foundational principle, but unlike Aristotle he does not accept but rather rejects cognitive foundationalism. Hegel distinguishes between certainty and truth in opposing the inference from ideas in the mind to reality.

In the twentieth century, a new form of foundationalism emerged in the Vienna Circle. According to Carnap's protocol theory, sentences about physical objects are not translated into sense data but into protocol sentences in order to weave a seamless web between immediate experience and natural science. Carnap's initiative [see Carnap 1932] quickly led to a complex debate between himself, Neurath [see Neurath 1932], Quine [see Quine 1951] and others, most recently Rorty [see Rorty 1979]. Neurath's objection there were in fact no protocols led Carnap to reformulate his position in ideal language. This was opposed by Quine's denial of the basic Kantian distinction between analytic and synthetic propositions in shifting toward holism [see Quine 1951]. Following Quine, Davidson and Sellars both separately criticize foundationalism. Davidson refutes empiricism on the grounds a belief can only be grounded through another belief [see Davidson 1986]. Sellars attacks what he calls the myth of the given [see Sellars 1956]. Rorty, who seems to take analytic foundationalism as the standard of knowledge, argues against the pervasive idea of knowledge understood from a Baconian perspective as a so-called mirror of nature [see Rorty 1979].

Through the influence of the Vienna Circle positivists, in the first half of the twentieth century there was much interest in scientific realism. Scientific realism, which presupposes a basic distinction between the so-called folk view and the view of modern natural

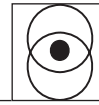


science, suggests that only natural science describes or can describe the world as it is. Scientific realism quickly assumed a dominant role after Carnap, Reichenbach, Hempel and others came to the US. It just as quickly lost interest through the increasingly widespread disaffection with such related positivist doctrines as reductionism, physicalism, verificationism, and so on. Few if any thinkers currently accept Vienna Circle positivism in its original form. Yet the strong realism on which it insisted it is still widely accepted as the standard of empirical knowledge, despite the evident inability to formulate a convincing argument for knowledge of mind-independent reality.

The shift away from foundationalism in the mid-twentieth century did not diminish the interest in metaphysical realism. Kant was sensitive to and relies on the results of experience. He invokes the fact that no progress seems ever to have been made toward metaphysical realism to justify his Copernican revolution. Yet the same fact seems not to discourage the majority of philosophers who often seem incapable of learning from experience. Contemporary thinkers interested in metaphysical realism continue to strive to formulate a convincing argument for knowledge of the mind-independent real as it is.

In the contemporary debate, a number of thinkers still insist that to know must mean now as it meant to Parmenides to grasp the mind-independent real. Thus according to Boghossian, there is a way things are in independence of whatever we may think about them and we can in fact arrive at objective knowledge claims unrelated to social or cultural perspective [see Boghossian 2006: 131].

Boghossian rejects constructivism of any kind since claims to know must be objective, not subjective. Yet now as in Kant's time, the difficulty remains the same. To avoid skepticism, we require a way of making objective claims to know. Yet if we admit we cannot intuit or represent reality as it is, then we need to find a way to make cognitive claims while abandoning any pretense of knowing reality as it is. This problem is not alleviated if we suppose there is a way that things are in independence of us and that knowledge requires us to know them as they are. The traditional approach, which lies in adopting metaphysical realism as our standard, fails in practice since no one has ever formulated a convincing argument to show that we can grasp the mind-independent real. I believe that the most promising alternative now as in Kant's time is a constructivist approach that in turning away from metaphysical realism takes empirical realism as its cognitive standard.



About ten years ago, I wrote that «none of the current views of realism makes any progress towards justifying claims to know mind-independent reality as it is» [Rockmore 2004: 110]. Now, and after further consideration, I would like to strengthen my claim. Though the formulation of a foundationalist epistemic strategy has interested a great many talented thinkers, after several thousand years of effort, there has been no progress, none at all, in reaching metaphysical reality, and there is no likelihood, none whatever, that there will ever be any, either through epistemic foundationalism, still the main strategy, or in any other way. Yet, since philosophers do not seem to be able to learn from experience, there is every reason to believe they will continue to try to carry out the project formulated long ago by Parmenides, which has never seemed promising, and which is unlikely soon or indeed ever to bear fruit.

Bibliography

Boghossian, Paul (2006), *Fear of Knowledge*, New York : Oxford University Press.

Carnap, Rudolf (1932): rpt “On Protocol Sentences” in *Nous* 21 (1987), p. 457–470.

Davidson, Donald (1986): “A Coherence Theory of Truth and Knowledge.” In *Truth and Interpretation: Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson*, ed. E. LePore. Oxford : Blackwell, p. 310.

Neurath, Otto [1932]: ‘Protocol Statements’, rpt. in *Otto Neurath, Philosophical Papers 1913–1946*, R.S. Cohen and M. Neurath, eds., Dordrecht : Reidel, 1983, p. 91–99.

Quine, W. V. O. (1951), “Two Dogmas of Empiricism” in *The Philosophical Review* 60, p. 20–43, rpt. in *From a Logical Point of View*, Cambridge : Harvard University Press, 1953.

Rockmore, Tom (2004), *On Foundationalism: A Strategy for Metaphysical Realism*, Lanham : Rowman and Littlefield, 2004

Rorty, Richard (1989), *Philosophy and the Mirror of Nature*, Princeton : Princeton University Press, 1979.

Sellars, Wilfrid (1956) “Empiricism and the Philosophy of Mind” in *Minnesota Studies in the Philosophy of Science*, vol. I, H. Feigl & M. Scriven (eds.), Minneapolis, MN : University of Minnesota Press, 1956, p. 253–329, rpt. in W. deVries & T. Triplett, *Knowledge, Mind, and the Given: A Reading of Sellars’ “Empiricism and the Philosophy of Mind”* (KMG), Indianapolis, IN : Hackett, 2000.



ЭКЛЕКТИКА И СИНКРЕТИЗМ: К ВОПРОСУ О СИСТЕМНОСТИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ¹

Людмила Александровна Микешина – доктор философских наук, профессор кафедры философии Московского педагогического государственного университета.
E-mail: lamikeshina@yandex.ru

Рассматривается, как эклектика и синкретизм получали различные оценки в истории естественных и социально-гуманитарных наук. Так, Р. Бойль «собирает идеи и факты по всему миру», а И. Ньютон был не только создатель механики, но и теолог, и алхимик. Это случай масштабного синкретизма, но не в виде смешения разнородного, а в виде параллельного научным текстам существования других текстов, не имеющих отношения к науке или разработанных вопреки ее принципам. На примере эклектических трудов С. Франка (XVI в.) представлены идеи В. Дильтея об эссеистике – «первом человеке Нового времени», а также А. Койре о становлении исторической науки, ее эклектизме. Показано, как изменялись оценки синкретизма и эклектики в истории европейской культуры, где господствовали требования теологии, философских систем, классической науки, но главное – принципы европейского логоцентризма. Это связано с новым осмыслением причины и следствия, динамизма структуры, осознанием историчности ценностей. На место бинарного отношения истинно–ложно пришли неопределенность, относительность, дискретность, разнообразие концепций, преодоление господства философских систем и самой системности философии. Это происходит в период модерна и постмодерна, когда переосмысливаются оценки и синкретизма, и эклектизма.

Ключевые слова: синкретизм, эклектика, естественные науки, И. Ньютон, гуманитарные науки, А. Койре, В. Дильтей, модерн, постмодерн.

ECCLECTICISM AND SYNCRETISM: ON SYSTEMACY OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE



Lyudmila Mikeshina – doctor of philosophical sciences, professor of the department of philosophy of the Moscow Pedagogical State University.

The paper examines how eclecticism and syncretism got their various assessments in the history of natural sciences and the humanities. For instance, R. Boyle “collected ideas and facts all over the world”, and I. Newton was not only a creator of mechanics, but also a theologian and an alchemist. This is an example of large scale syncretism, not of a mixture of the heterogeneous, but of co existence of scientific texts and other texts which have no relation to science or made contrary to its principles. Sebastian Franck’s eclectic writings (the 16th century) induced W. Dilthey’s ideas about this historian, “the first person of the New times”, and A. Koyre’s reflections on the formation of historical studies, their eclecticism as a combination of philosophical, scientific and theological thoughts. J. Donne’s eclectic “metaphysical poetry” (17th century, England) was highly esteemed by Th. Elliot and J. Brodsky, its history is also considered. U. Eco is treated as the author of the “opera aperta” concept, a form of syncretism and eclecticism that transfers his interpretation of syncretism to the level of transcendentality, an infinite variety of communicating meanings represented in knowledge of the

¹ Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект 13-03-00336.

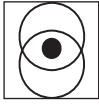


humanities. All in all, it is shown how assessments of syncretism and eclecticism were changing in the history of European culture, where demands of theology, philosophical systems, classical sciences, and mainly of European logocentrism dominated. This is connected with rethinking of cause and effect, structural dynamism, "rejection of static and syllogistic perception of the world order", with understanding that values are historical. Instead the "true-false" binary relation there finally came uncertainty, relativity, discontinuity, the variety of concepts, the overcoming of philosophical systems' and the very systemasy's domination in philosophy. It happened in the period of modernity and postmodernity, when assessments of syncretism and eclecticism were rethought.

Key words: syncretism, eclecticism, natural sciences, I. Newton, the humanities, A. Koyrer, W. Dilthey, U. Eco, the modern, the postmodern.

Феномены синкретизма и эклектизма существовали не только в становлении и развитии философии, но и в истории наук, как естественных, так и социально-гуманитарных. Отмечу также, что и здесь, как в истории философского знания, менялись во времени и культуре не только понимание и оценка различных форм синкретизма и эклектики, но и понимание того, что следует или не следует считать эклектичным. Так, В.М. Розин, предпосылая статью необычной книге, где собраны тексты герметически-гностических штудий, оккультных наук, неоплатонизма, различных схоластик, справедливо отметил, что «не так давно соединение под одной обложкой авторов столь разной ориентации и тематики было бы сочтено в лучшем случае эклектикой. Сегодня же подобная книга будет восприниматься вполне естественно»². По-видимому, эту книгу надо рассматривать как полноправный синкретический труд. Это стало возможным, поскольку изменилось представление о том, что может быть отнесено к области знания, – только ли строго научное математическое и естественно-научное знание или также философское, гуманитарное, художественное, религиозное, эзотерическое. Соответственно меняется и представление о том, можно ли такой набор текстов под одной обложкой квалифицировать как синкретизм или как эклектику, и тогда возникает вопрос о том, как в таком случае оцениваются знания, представленные в таких формах. Можно отметить и еще одну особенность: синкретизм и эклектизм часто проявляются не только в текстах, но и в такой форме, как разномыслие сфер научных интересов и областей исследования самих конкретных ученых, влияющее или не влияющее на содержание и результаты исследований.

² Знание за пределами науки. Мистицизм, герметизм, астрология, алхимия, магия в интеллектуальных традициях I–XIV веков. М., 1996. С. 5.



Синкретизм в истории естественно-научного знания

Эта тема необъятна, она представлена в истории всего естествознания, и рассматривать ее в статье возможно, лишь обратившись к некоторым case studies, описанным в историко-научных и философских текстах, где присутствуют различные формы синкретизма и эклектизма в естественно-научном знании. Речь пойдет о некоторых примерах в трудах Р. Бойля и об особенностях исследовательской деятельности И. Ньютона.

Case study 1. Особенности стиля ранних исследований Роберта Бойля. Для краткой характеристики этих особенностей я использую перевод с комментариями (историко-культурная реконструкция) главной работы Р. Бойля «Скептический химик», осуществленный И.Т. Касавиным, а также его анализ развития Р. Бойля как ученого – «лидера научной революции» (Т. Кун), одного из основателей химической науки и создателей Лондонского королевского общества. Не касаясь специальных вопросов, я обращаю внимание только на стиль исследования ученого. Следуя традиции, Бойль «собирал идеи и факты по всему миру», обобщал уже известные экспериментальные данные, в том числе и для других исследователей, – тенденция, которая в конечном счете привела Бойля к созданию лаборатории. Для него, как и для многих других его современников, вполне «научно» было бессистемно излагать полученные данные и не следовать идеалам дедуктивных построений по Ф. Бэкону или Р. Декарту и Г. Лейбницу. Его целью, как и его учеников, перед которыми он ставил самые разнообразные, разнохарактерные задачи, был эксперимент, а не создание дедуктивно строгих теоретических систем. Сами создаваемые им тексты не имели строго научной формы и именовались как «экспериментальные очерки» [Касавин, 2008: 325–328].

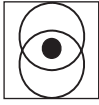
Интересно уже само название основной работы Бойля: «Скептический химик, или Химико-физические сомнения и парадоксы, касающиеся спагерических принципов (курсив мой. – Л.М.), обычно называемых гипостатическими, коль скоро они обычно провозглашаются и отстаиваются большинством алхимиков». Оно содержит термин «спагерические принципы», которые И.Т. Касавин, как переводчик, комментирует следующим образом: спагирики (от греч. *извлекаю, соединяю*, так называли последователей Парацельса) «нередко эклектически объединяли стихии Аристотеля с алхимическими началами, либо отождествляя их



друг с другом, либо дополняя один другим» [Касавин, 2008: 333]. Однако, как уточняет Касавин, Бойль как раз критикует спагириков и алхимиков, противопоставляя им понятие химического элемента. Он стремится объединить химические знания на основе принципов механицизма, но использует и другие, далекие от механицизма положения. Таким образом, можно сказать, что синкретизм как допарадигмальная стадия развития науки в полной мере представлен у Бойля, и вместе с тем он критически относится к «спагирическому искусству», существовавшему на ранней стадии становления химии и ее методов.

Как представляется, манера научного исследования, стиль изложения и отношение к существующей научной информации у многих исследователей были близки к синкретическим и эклектическим приемам, существовавшим в европейской культуре в период становления науки, при переходе от алхимии к химии, от веры в философский камень к научному наблюдению и эксперименту. Этот стиль уже не одобряется, например, Х. Гюйгенсом, но еще не скоро будет преодолен учеными в последующем. В этом отношении мышление и стиль исследований Ньютона традиционно считался преодолевшим эклектизм и построившим строгие дедуктивные теории. Однако это можно сказать только о его механике, в целом же все, что создал Ньютон, существенно переосмысливается сегодня на основании материалов его биографии и многих только в XX в. ставших известными текстов ученого. Сегодня при исследовании пути, пройденного Ньютоном, речь идет уже не о частном случае эклектизма ученого, но об удивительном синкретизме – сосуществовании *несовместимых*, как представляется сегодня, идей, поисков, размышлений и описаний в архивных текстах, оставшихся после Ньютона.

Case study 2. *Ньютон не только создатель механики, но одновременно и теолог, и алхимик.* Это случай масштабного синкретизма, но не как смешения разнородного, а параллельного существования научных и не имеющих отношения к науке или разрабатываемых вопреки ее положениям и принципам текстов. Сегодня в научных работах о Ньюtone присутствуют два понимания: либо он «двуликий Янус» (исследовательница В. J. Dobbs), либо имеет место «окультурно-рациональная двуликость Ньютонова гения» (К. Figala). Однако, как считает И. С. Дмитриев, при расхождении в оценке обе эти исследовательницы «многое сделали для осознания единства и цельности личности английского мыслителя» [Дмитриев, 1999]. И сам он направляет свое исследование именно на доказательство целостности личности и единства всех



исследований Ньютона. В свое время при обращении к этой проблеме нами уже была высказана мысль о том, что «субъективное единство мира для Ньютона было тесно связано с идеей Бога, хотя объективно, создав механику, он фактически обосновал материальное единство мира» [Микешина, Микешин, 1981b: 31]. Однако, как показало исследование Дмитриева, проблема эта гораздо более сложна и глубоко укоренена во всех трудах Ньютона, а не только в механике.

Обращение к всему «компендиуму» трудов Ньютона стало возможным только после того, как появились в печати тексты его архива, пролежавшие у родственников почти 200 лет, затем распроданные «в разные руки». Как отмечает Дмитриев, это объясняется, в частности, и тем, что значительные по объему и глубине рассмотрения проблем теологические и алхимические рукописи, а именно они в отличие от «Механики» и не были опубликованы, рассматривались в предыдущие века «как нечто недостойное его гения либо как досадная случайность, “чуждачества” великого ума». И даже после издания в XX в. некоторых рукописей эти оценки не поменялись, по-прежнему считалось, что это дань «заблуждениям века», в котором жил ученый. Как же понимать идеи и исследования Ньютона сегодня, если они в совокупности предстают как нечто синкретическое, объединяющее – внешне или по существу – идеи науки с теологией и алхимией? Как могла возникнуть современная наука «Механика», если Ньютон опирался на теологические и алхимические предпосылки своего исследования, если не непосредственно, то как на мировоззрение, понимание мира в целом (см., в частности, [Микешина, Микешин, 1981a: 62–72]).

Исследование Дмитриева (думаю, что в нашей стране оно единственное по полноте и обоснованности, с учетом архивов, за последние десятилетия) убеждает в правоте его оценок позиции и понимания синкретизма Ньютона. Он считает необходимым различить объективное и субъективное в позиции Ньютона. Объективное – это социокультурные и интеллектуальные реалии его времени, в чем присутствует и религия с ее пониманием единства мира. «Субъективное же понимание им этой идеи было таково, что позволило ему построить “Систему Мира” в форме, допускавшей... вычленение из этой системы физико-математического содержания в качестве отдельной, квазисамостоятельной компоненты, способной до поры до времени пребывать вне своего исторического контекста. И если существует общий знаменатель, под который можно подвести и теологию, и алхимию, и физику, и мно-

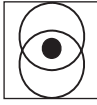


гое другое, что занимало ум и время сэра Исаака, то таким знаменателем будет идея Бога-Пантократора...» [Дмитриев, 1999: 18]³. Действительно, известно, что именно Богу он оставлял проблемы пространства и времени, а также тяготения, не стремясь ответить на вопрос «почему» (*Hypotheses non fingo!*), но объясняя с помощью формулы «как».

Сложность понимания целостности и синкретизма мышления Ньютона объясняется также и тем, что в годы его активной деятельности господствовали как минимум «три парадигмы новоевропейской интеллектуальной жизни»: теолого-схоластическая, магико-каббалистическая и рационалистическая (картезианская). Они предельно неоднородны и разнонаправлены, «характер отбора, постановки и решения проблем, выработка критериев достоверности полученного знания, разработка процедур обоснования и многие другие аспекты познания природы выкристаллизовывались из неустойчивого расплава, компонентами которого были и схоластико-перипатетическое мировоззрение... и герметическая картина мира... Сам познающий ум Нового времени образован в “точке” скрещения различных дискурсов – “коперниканского”, герметического и схоластико-перипатетического» [Дмитриев, 1999: 202]. При всем многообразии интеллектуальных традиций они по-разному влияли на становление науки в ньютоновской Англии. Задачи Королевского общества, сформулированные Р. Гуком, состояли в том, чтобы «совершенствовать познания натуральных вещей и всех полезных искусств, мануфактур, механической практики, машин и изобретений посредством экспериментов (не вмешиваясь в вопросы богословия, метафизики, морали, политики, грамматики, риторики или логики)» [Дмитриев, 1999: 206–207]). Это требование смогло хотя бы отчасти предупредить или упорядочить синкретические и эклектические тенденции.

Детально исследовав эту ситуацию в начале Нового времени, Дмитриев приходит к важному выводу: «и в когнитивном, и в социально-институциональном аспектах теолого-схоластическая и герметическая (магико-каббалистическая) парадигмы оказались в эту эпоху в отношении взаимной дополнительности» [Дмитриев, 1999: 211]. Методическая рефлексия схоластики и гносеологии открыла соотнесенность реального мира с миром рациональных сущностей и логических возможностей, тогда как «герметизм открыл природу активных начал» и способствовал «осознанию решающей роли экспериментального метода», а также широкому

³ Автор – доктор химических наук, директор музея Д.И. Менделеева в СПбГУ.



использованию индуктивного обобщения для выведения общих законов. В столь многообразной и противоречивой ситуации, описание которой может быть существенно усложнено, Ньютону предстояло строить новую науку.

Описанные моменты из двух случаев становления науки в Новое время показывают, сколь богатой была ситуация в этот сложный период на самые различные варианты проявления синкретизма и эклектизма. Очевидно, что иначе – путем, например, прямого логического обобщения данных эксперимента и эмпирических наблюдений – происходило не всегда. Синкретизм, эклектика, бесконечные проблемы и трудности сочетаний самых различных парадигм, учений, подходов, научных, философских, религиозных традиций и т.д. – это эпистемологически значимый и необходимый путь развития даже «строгой», имеющей обоснованные эмпирические и математические методы науки в ее истории.

Синкретизм и эклектика в гуманитарных науках

Из истории становления исторической науки. Можно предположить, что не только в истории философского и естественно-научного знания, но и тем более в истории становления и бытия гуманитарного – исторического, литературного и поэтического – знания встречается множество случаев синкретизма и эклектики. Как и в случаях философского и естественно-научного знания, здесь прежде всего обнаруживается преимущественно синкретизм специального знания с духовно-религиозными учениями и идеями. В единстве человеческой мысли, особенно ее высших форм, был глубоко убежден А. Койре, и его собственный синкретизм может быть понят в единстве философской, научной и богословской мысли как «ключ к истории и философии науки»⁴. Слова, написанные на посвященной ему российской медали, – «путь разума к истине», взяты из книги «Революция в астрономии», где он писал: «Путь разума к истине – не прямая дорога; его следует изучать со всеми его поворотами и лабиринтами, заходя в тупики, ошибаясь в направлении, повторяя уже пройденный путь для того, чтобы обнаружить те постоянные величины, из которых склады-

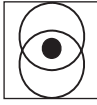
⁴ Эту мысль в своих исследованиях обосновывает А.В. Ямпольская [Ямпольская, 2011].



вается исследование и истина» (цит. по: [Татон, 1979: 88]). Именно поэтому он предельно внимателен и к тем случаям, где имели место синкретизм или обычная эклектика.

Во многих работах Койре реализует свое понимание единства философского, историко-научного и религиозного знания, но особенно в одном из профессиональных исследований по богословской мысли как важного элемента истории науки, европейской мысли в целом (см.: [Койре, 1994]) он наряду с другими проблемами прослеживает становление *исторического* знания как научного единства теологических и спиритуалистических размышлений Себастьяна Франка (1499–1542). Койре считает, что среди фанатиков, основателей сект Франк является «единственным разумным человеком». Объединяя религию с моралью, а мистицизм с метафизикой, Франк идет от философии, но он не оригинален, а компилирует и подвергается разным влияниям, они «перемешались у него в голове, образовав спиритуалистический мистицизм, в котором христианский гуманизм соседствует со стоицизмом, Ориген протягивает руку св. Августину. Это мозаика, но не без целостности» [Койре, 1994: 25]. Собственно его исторические книги – это «несложные компиляции», но чем же интересен «этот литератор, этот компилятор», – задает вопрос Койре. И в том, как он отвечает на него, я усматриваю важное осмысление роли самого компилятора и эклектизма в истории гуманитарных наук, особенности их развития. «Ему не требовалось быть великим философом – они довольно редки в истории человечества – чтобы сыграть важную роль в истории идей. Себастьян Франк, не будучи ни великим мыслителем, ни большим эрудитом, все же отнюдь не просто компилятор, не бледная тень ученого-гуманиста. Позаимствованные мнения и доктрины он сумел соединить в довольно связную концепцию... Пусть это мозаика, но она упорядочена вокруг нескольких главных идей, не лишенных ни интереса, ни значимости» [Койре, 1994: 18]. Эти идеи принадлежат ему, а труды, в том числе и по истории, несут отпечаток личной мысли, смелости и честности принципов. Они написаны не как ученые книги, но в целях пропаганды и борьбы идей и традиций гуманизма.

Что такое история по Франку? Это «вторая Библия – или третья, если второй книгой считать природу»; он пишет «Хроники», «Историческую Библию», показывает действие Бога и Провидения в истории, но позже история становится для него временным символом, и тогда в текстах описываются одни и те же фигуры, как они появляются на сцене и сходят с нее. Он видит в истории вечную борьбу народов, охваченных жадной властью, господства,



борьбой с духом, свободой и терпимостью. Считая, что человек по природе добр, он, однако, «не слишком благожелателен к “социальной природе”, к обществу и государству», поскольку все социальные формы основаны на силе и принуждении. Для Койре – это благородная фигура, «все устремления которого сводились к беспристрастности», он – «один из первых апостолов религиозной терпимости и свободы духа... Не принадлежащий ни к какой партии, одинокий, непонятый, он все же оказал влияние в Германии и Нидерландах, и еще долгое время, вплоть до XVII в., его работы – “Историческая Библия”, “Парадоксы” – читались, издавались и распространялись среди “спиритуалистов”» [Койре, 1994: 63].

Можно предположить, что Койре так внимателен и уважителен к «эклетику» и спиритуалисту Франку, к его идеям об истории еще и потому, что был знаком с высокой оценкой В. Дильтея, который назвал Франка «первый человек Нового времени» и посвятил его роли в становлении не только исторического знания, но в целом наук о культуре достаточно много страниц в известных очерках «Воззрение на мир и исследование человека со времен Возрождения и Реформации» (1891–1904). Дильтей показал, что ряд теологов, освобождаясь от влияния М. Лютера, стремились начиная с Г. Лейбница соотнести идеи древних авторов с современным мышлением, «из сопереживания исторических точек зрения в их полной особенности возникли историчность мышления немцев, универсально-историческое понимание, трансцендентальная философия» [Дильтей, 2000: 63]. Основателем одного из направлений – теологического рационализма, развивавшегося из гуманистического просвещения, стал Эразм. «Из этого революционного хаоса возвышается подлинно гениальный мыслитель и писатель Себастиан Франк (ученик Эразма. – Л.М.), которому принадлежит более ясное и исторически широкое понимание этой точки зрения» [Дильтей, 2000: 69]. Начав с переводов, составления сборников, в дальнейшем он набросал «план всеобщей истории», которая была опубликована, как и космография и история Германии.

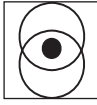
Дильтей видит значение работ Франка в том, что, как представитель идей немецкой Реформации, «он внес жизнь и связь в материал исторических хроник, а затем увидел в этой универсальной связи и историческое в Библии». Его независимость от партий и конфессий, а также стремление освободить морально-религиозный процесс от вульгарных эгоистических компонентов, групповых интересов позволяли ему исследовать и излагать историю «со спокойной ясностью» на фоне «универсально-исторических гори-



зонтов». Ход рассуждений Франка Дильтей представляет следующим образом: «если процесс веры составлял центр в существовании личности, он должен был быть и центром истории, связующим в ней. Если он обусловлен только *внутренним* отношением человека к невидимому порядку, то он независим от времени и места и присутствовал всегда в истории человечества. Тогда невидимая церковь имела своих членов и во время, предшествующее Христу, в вере иудеев, турок и всех язычников. Следовательно, – делает вывод Дильтей, – Франк поставил перед религиозно универсальным пантеизмом задачу доказать свою плодотворность в качестве “связующего звена” универсальной истории и ядра библейской теологии для обеих этих наук» [Дильтей, 2000: 70].

Не рассматривая далее достаточно детальный анализ взглядов Франка, я отмечу лишь заключительные оценки Дильтея – известного герменевтика и «критика исторического разума». По Дильтею, Франк – предшественник и основатель современной *философии религии*, его идеи «текут навстречу современности». Он знает, что «Всеобщая история» Франка построена на хронике нюрнбергского врача Шеделя с добавлением десятков других источников, без использования методов историко-филологической критики. В целом она превосходит другие работы глубоким осознанием действующих в истории религии сил и внутренних связей эпохи Реформации. «Широкий непредвзятый взгляд, мужественный, истинно народный язык, смелое сердце сделали его идеи понятными, и они оказали серьезное влияние на нацию, а также на последующих писателей... Франк, как и средневековые авторы работ по всеобщей истории, исходит из сознания внутренней *телеологической связи всей истории*. Он хочет показать “сцепление, закон, содержание, ядро и связующее звено истории”, повсюду подчеркнуть “существенное” и “описывать историю, исходя из ее причин”... Исследует, как в ней из постоянно действующих сил создаются формы исторической жизни» [Дильтей, 2000: 74]. Все это «по своей великой интенции» делает его близким Дж. Вико.

Итак, как мне представляется, и Дильтей и Койре показали, что С. Франк должен быть оценен достойно, он понимал и излагал историю не столько в эклектическом, компилятивном, сколько в синкретическом контексте – в сочетании многообразных факторов и даже выдвигал идею о «невидимой» и единой для всех вер церкви, которая является связующей для истории человечества, а не только теологии. Очевидно, что и создание исторических текстов, и развитие самого понимания природы исторического знания возможны на основе синкретизма и сопутствующих ему мето-



дов эклектики, которые могут иметь различный статус и формы, но, выполняя существенные эпистемологические функции, не всегда оцениваются только отрицательно.

Из истории поэтического творчества: «метафизическая поэзия» в Англии XVII в. Здесь также обнаруживаются синкретизм и эклектика различных видов поэтических приемов, а также сочетание исторического и современного в гуманитарном и художественном знании. Так, в трудах известного англо-американского поэта Т.С. Элиота, лауреата Нобелевской премии, философа культуры, мыслителя-социолога, литературного критика, т.е. синкретического по своему творчеству автора, существует статья-рецензия «Поэты-метафизики» на антологию «Метафизическая лирика и стихотворения XVII века» (1921). Она стала своеобразным «открытием» этой поэзии и ее основателя Дж. Донна для XX в. Элиот сразу отмечает, что трудно дать определение «метафизической поэзии», а само название служило «уничжительным ярлыком». Здесь «насиленно сопрягаются самые разнородные понятия» (С. Джонсон), однако «некоторая степень разнородности материала, – отмечает Элиот, – объединяемого в единое целое в процессе работы творческого сознания, присуща поэзии как таковой» [Элиот, 2004: 550]. Это он тут же демонстрирует на примере стихов самого С. Джонсона и Ш. Бодлера. Размышления Элиота об отношении поэта к своему опыту значимы и сегодня, так как отмечают существенные и не фиксируемые ранее особенности. Прежде всего, не всякий поэт может *чувствовать* мысль «как запах розы», Дж. Донн это может, он *переживает* мысль, она изменяет его мироощущения. Другая важная особенность – в сознании поэта все виды разнородного опыта, даже не имеющие ничего общего друг с другом, «всегда образуют новое целое». Единственное условие при этом – превращение опыта в поэзию, а не поэтическое размышление о нем.

Элиот не видел «излишней философичности» и нашел аргументы, чтобы обосновать принадлежность «метафизических поэтов» во главе с Донном к классической английской поэзии. Он убежден, что и современный ему «поэт должен становиться все более и более разносторонним, более иносказательным, ассоциативным, непрямым... В результате мы получаем... эксцентричный, причудливый образ, построенный на неожиданном сочетании разнородных явлений, и фактически – метод, необычайно сходный с методом “метафизических поэтов”» [Элиот, 2004: 555]. Я не могу в тексте статьи привести примеры Элиота из «метафизической поэзии», поэтому воспользуюсь современным комментарием, чтобы отметить в целом особенности «метафизических по-

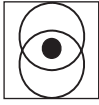


этов». В частности, у Донна, поэта и священника, сочетаются средневековая и ренессансная традиции, «наука и теология, логика, трезвые аналитические суждения с всплесками страсти, чувственность и платонизм, идеализация и цинизм, душевный разлад и поиски духовной гармонии, размышления о смерти и гедонистическое мировосприятие. Это придает их поэзии особую амбивалентную тональность, источником которой были «метафизический Разум», «ирония»... основанные на принципе слияния противоположностей» [Элиот, 2004: 558]⁵.

Иосиф Бродский, высоко ценивший талант английского поэта и особенность «метафизической поэзии», еще в юности посвятил гениальную «Большую элегию Джону Донну» (1963), сохраняя интонацию подлинника, сложность языка и особенности его стихотворчества, тем самым сделав известной английскую «метафизическую поэзию» XVII в. и в русской культуре. «Элегия», как отмечают специалисты, передает суть поэзии, отражает важнейшие приемы и «находки» английского поэта-«метафизика». Очевидно, что обсуждаемый феномен – это событие в европейской культуре, которое может быть осмыслено и собственно в философии и эпистемологии как пример глубокого взаимопроникновения поэзии, философии, языка, разных культур и судеб поэтов, мастерство которых в свою очередь базируется на фундаментальном синкретизме.

Концепция «открытого произведения» У. Эко: синкретизм и эклектика в гуманитарном знании. Примеры и формы синкретизма и эклектики присутствуют в разнообразных трудах У. Эко – не только виднейшего писателя, но также известного ученого, философа и филолога, обращающегося в поисках решения проблем к социальным аспектам науки и искусства, философии, литературоведению, эстетике, дзэн-буддизму, а также к теории информации, семиотике, математике, физике, телевидению и Интернету. Очевидно, что уже в наше время продолжает формироваться особый тип мыслителя и в сфере гуманитарного знания – одновременно писателя, философа, ученого, преодолевающего узкую специализацию, а вернее, вписывающего исследуемую конкретную проблему в обширный контекст многих и различных областей знания, не смущающегося их принадлежности к разным ведомствам естественных или социально-гуманитарных наук, а также художественных форм знания. Еще В. Вельш выделял Эко за то, что он сочетает в своем первом романе «Имя розы» «(как в тематике, так и в

⁵ Комментарий Т.Н. Красавченко.



исполнении) интеллектуальность и развлекательность, Средневековье и современность, мистический экстаз и криминалистический аналитизм. Он не только предоставляет знатоку роскошные наложения текстов, но не забывает и обывателя-профана, на долю которого остается еще достаточно “ящичков с двойным дном” и смысловой эквилибристики» [Вельш, 1992: 133]. Вельш называет это «радикальным плюрализмом» в постмодерне, я бы назвала такой феномен синкретизмом и эклектикой, которые неотъемлемы от постмодернизма, современного искусства, культуры, мышления, коммуникаций и информации в целом.

Однако в настоящем контексте необходимо отметить общетеоретические идеи Эко, которые способствуют пониманию природы феномена синкретизма и близких к нему в гуманитарном и художественном знании. Писатель исследует глубинные формы взаимодействия и «неопределенности», воспоминаний субъекта при рассмотрении эстетического воздействия в «открытом произведении», объясняя тем самым и саму «открытость» его и выходя в целом на «открытое отношение к миру». Эта концепция утверждает, что как только происходит соотнесение с эстетическим объектом, познание субъекта с необходимостью обогащается смысловыми оттенками, переживаниями, ценностями, значениями, которые глубоко укоренены в прошлом знании и восприятии познающего. Концепция «открытого произведения» как позволяющего «толковать себя на тысячи ладов, не утрачивая при этом своего неповторимого своеобразия», по существу переводит понимание синкретизма на уровень одной из форм трансцендентальности – бесконечного многообразия коммуницирующих смыслов, представленных в гуманитарном знании. Эко в полной мере обосновывает важную мысль о том, что само понятие «открытое произведение», «выполняя посредническую роль между абстрактной категорией научной методологии и живой материей нашего восприятия... предстает почти как некая трансцендентальная схема, позволяющая постичь новые аспекты мира» [Эко, 2004: 182].

Особенность состоит в том, что Эко, размышляя по сути о трансцендентальных формах, не остается на абстрактном уровне упорядоченных формальных структур, как можно было бы ожидать, но стремится решить задачу, обращаясь к случайному, неопределенному, вероятному, двусмысленному, поливалентному, эклектическому и т.д. в произведении. Констатируя известную особенность – принципиальную неоднозначность произведения искусства, текста, он предельно обобщает и наделяет категориальностью как само понятие «произведение», так и свойство много-

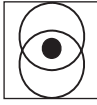


значности – множественность означаемых, существующих в одном означаемом. На трансцендентальный уровень переводится и понятие открытости, которая понимается Эко не просто как та или иная трактовка, но как «соавторство», совместное творение. Любое произведение открыто потому, что оно есть «поле возможностей, приглашение к выбору» и даже «произведение искусства, представляющее как форма, завершённая и замкнутая в своем строго выверенном совершенстве, также является *открытым*, представляя возможность толковать себя на тысячи ладов и не утрачивая при этом своего неповторимого своеобразия» [Эко, 2004: 28]⁶.

Все это составляет содержание введенного еще Дж. Дьюи понятия *транзакции*, когда субъект привносит в восприятие объекта еще и воспоминания о прошлых восприятиях, завершая тем самым оформление опыта. Перед нами удивительный феномен: завершённая и замкнутая, совершенная форма тем не менее остается *открытой*, допускает истолкования и, более того, предполагает «исполнителя», «читателя» как реального соавтора, когда соотносятся два личностных начала, знания и опыта. Этим, как представляется, достигается особая форма динамичной всеобщности, но одновременно и особой формы синкретизма и трансцендентальности через бесконечность смыслов и оттенков, когда истолкователь открывает произведение заново «в акте творческого единомыслия с самим автором». По Эко, здесь не стоит вопрос о неизменной объективной истине как в традиционном трансцендентализме, истина сама динамична, жизненна, объемна – всеобщее дополняется случайным, меняющимся, особенным, и богатство ее содержания не может трактоваться только как тривиальный релятивизм или эклектика. Эко сознательно отходит от «строгого объективизма» ортодоксального структурализма, анализирующего только означаемые формы, описывающего произведение как «кристалл», и стремится учесть «изменчивую игру означаемых, которую разворачивает перед нами история». Трансцендентальность подхода обусловлена тем, что данная модель «является абсолютно теоретической и существует независимо от реально существующих (наличных) открытых произведений». Эта идея трансцендентальности в гуманитарном знании разрабатывалась и К.О. Апелем, исследовавшим ее формы в сфере языка и коммуникаций.

Выход на трансцендентальный уровень предполагает еще один вопрос: не существует ли между различными культурными подхода-

⁶ См. также: [Микешина, 2006].



ми некое единство действия? Эко полагает, что построенные и обоснованные им абстракции «оперативной программы» и модели открытого произведения позволяют решать проблему сходства программ действия, структур, исследовательских моделей, логических операций, моделей восприятия в других сферах культуры. Но главное – выявлен особый феномен, его можно назвать *синкретизмом смыслов*, и найден трансцендентальный уровень, на котором стало возможным выявить «единство знания», кажущееся иллюзорным на метафизическом уровне. Поэтика открытого произведения, по Эко, дает возможность обнаружить структурные признаки, сходные с другими операциями в области культуры, проясняющими какие-либо природные явления или логические процессы. Он предложил своеобразную «оперативную программу», позволяющую выявлять фундаментальные структуры и эпистемологическую природу наук о культуре в отличие от наук о природе, одновременно прокладывая дорогу к их трансцендентальному единству, не сводящемуся к «переделке» гуманитарного знания на основе гносеологических абстракций или «научных критериев» по образу и подобию естествознания. Трансцендентальность в гуманитарном знании может достигаться через открытость произведения для различных форм и элементов синкретизма, а также через язык, синкретизм и эклектику смыслов и коммуникаций.

Эпистемологические итоги. Обращение к феномену синкретизма, различным видам и примерам эклектизма в истории европейского философского и научного знания на разных этапах его развития приводит, как мне представляется, к ряду важных моментов в понимании природы самого знания, объединяющего многовековую мыслительную деятельность. Тысячелетнее существование синкретизма и эклектизма в различных философских, естественно-научных и гуманитарных текстах, а также современное признание и даже расцвет особого синкретического стиля в искусстве и культуре в целом, особенно в эпоху постмодерна с его «принципиальным эклектизмом», убеждает в необходимости изучать и оценивать эти феномены во всех проявлениях в современном контексте. Как я стремилась показать, различные формы и степени синкретизма присутствуют также в истории становления классической науки, что обосновывает интерес к этой теме в философии науки, которая раскрывает гетерогенность, диверсивность, синкретизм и эклектику часто как необходимые этапы и формы не только подготовительного процесса в развитии любого знания, но и его дальнейшего развития и обогащения. Для эпистемологии и методологии это проблема роли, места и функций син-

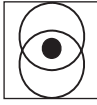


кретизма, эклектизма в исследовании, многообразии их форм и функций, зависимость от субъекта-исследователя, его предпочтений и системы ценностей, неоднозначное отношение к требованиям формальной логики и выявление специфической роли как приемов аргументации.

Почему изменялись оценки синкретизма и эклектики и с чем это было связано в последние века? Ответ на этот вопрос лежит в истории европейской культуры, где господствовали и в определенной степени продолжают господствовать достаточно строгие требования теологии, религии в целом, требования следовать принципам господствующих философских систем и догм, нормы классической науки, идеалы и требования традиционной морали, европейской системы ценностей в целом, но главное – принципы европейского *логоцентризма* на основе классической логики Аристотеля. В этом фундаментальном контексте синкретизм и эклектика всегда оценивались как неполноценные, нарушающие каноны мышления и создания текстов, идеалы, моральные и религиозные нормы. Но уже открытость и динамизм эпохи барокко обозначили рождение нового сознания не только в культуре и искусстве, но и в науке, когда появилось новое осмысление классических отношений причины и следствия, динамизм структуры, понятие разнообразных возможностей, «отказ от статического и силлогистического восприятия миропорядка, готовность принимать подвижные личностные решения, а также осознание ситуационной обусловленности и историчности тех или иных ценностей» [Эко, 2004: 49]⁷. На место бинарности отношений истинно–ложно пришли неопределенность, относительность, дискретность, множественные, в том числе принципиально новые ценности, субъективные предпочтения и «обновление собственных схем жизни», разнообразии концепций, преодоление господства философских систем и самой системности философии. Это происходило и происходит в эпохи модерна и постмодерна, когда, собственно, и переосмысливаются оценки и синкретизма и эклектизма.

Особо отмечу, что при всем отрицательном отношении к эклектике в советской философии уже был представлен эпистемологический анализ этих феноменов. Специальное внимание эклектике, развитию самих ее типов уделил М.К. Петров, для него эклектика прежде всего – это «не несущий познавательной нагрузки

⁷ «Если нет абсолютного центра, предпочтительных точек отсчета, все перспективы одинаково законны и возможны» [Эко, 2004: 51].



методологический прием, который основан на использовании вырванных из контекста фактов и формулировок и потому искажает картину исследуемого объекта или заведомо неправоммерно истолковывает его при сохранении видимости логической строгости» [Петров, 1970: 543]. Очевидно, что это одно из возможных, наиболее распространенное представление об эклектике в наивно-реалистическом понимании познания; оно представлено во многих словарях и отражает ленинскую оценку эклектизма, которую приводит и Петров. Однако он вводит и второе понимание эклектики, существенно развивая ее эпистемологические смыслы. Второе значение – это «момент в развитии системы знаний, характеризующийся присутствием в ней элементов, которые не имеют единого теоретического основания и относятся к различным, иногда взаимоисключающим аспектам рассмотрения объекта. Во втором своем качестве, резко отличном от первого, как момент познания, эклектика особенно часто встречается в периоды коренной перестройки теорий или мировоззренческих схем и выступает в двух формах: как предварительный этап синтеза разнородного в единую систему (конвергентная эклектика) или как начало типологического расплывания единых прежде систем (дивергентная эклектика)» [Там же]⁸. Он рассматривает особенности каждого из типов эклектики и приводит примеры из истории философии и истории религии. Конвергентная эклектика связана с заимствованиями при освоении новой проблематики; дивергентная эклектика – с обнаружением типологических различий и поляризации значений по концептам. «Оба эти типа эклектики представляют закономерные моменты познания, средства активного воздействия на сложившиеся теории и взгляды» [Там же].

Очевидно, что намеченный Петровым в «Философской энциклопедии» (1970) эпистемологический подход к эклектике не потерял своего значения и сегодня, тем более что в последующих энциклопедиях и словарях (1983, 2001, 2004) она оценивается только отрицательно, идеологизировано, не раскрывается ее роль, как и синкретизма, в истории и в современной философии, естественных и гуманитарных науках, а также искусстве. Нет исследования этих феноменов в контексте развития коммуникативной рациональности, где их функции существенно меняют свои оценки и обретают базовые смыслы. Удивительные трансформации переживает за последние десятилетия сама эпистемология, где тенденции синкретизма и эклектизма обогатили теорию познания множест-

⁸ Здесь присутствует также статья о философском эклектизме А.Ф. Лосева.



вом новых трактовок, подходов и направлений. Так, в англоязычных учебниках по эпистемологии уже в 1990-х гг. широко представлены различные эпистемологии (см.: [Baergen, 1995; Dancy, 1996; Landesman, 1997]), что отражается в свою очередь в докладах и выступлениях на всемирных философских конгрессах, где в последние десятилетия представлены не только классическая гносеология, но в гораздо большей степени социальная, эволюционная, феминистская, виртуальная, экологическая и многие другие эпистемологии. Сегодня этот процесс приобрел принципиально новые масштабы, о чем дают достаточно полные представления постоянно публикуемые обзоры в журнале «Эпистемология и философия науки» начиная с 2004 г. [Антоновский, 2012]. Исследуются особенности неклассической эпистемологии, представлен своего рода синкретический жанр и в монографиях ([Лекторский, 2001], [Касавин, 1998], [Касавин, 2008] и др.).

Очевидно, что современная неклассическая эпистемология развивается не только путем углубления базовых философских категорий и принципов, но в значительной мере на основе синкретизма; уходя от предельных абстракций и приближаясь к реальному процессу познания, она принимает во внимание проблемы, методы и понятия естественных наук, а также социально-гуманитарного знания, культуры и искусства, давая им свои толкования.

Библиографический список

Антоновский, 2012 – Эпистемология в XXI веке. Новые книги, справочные материалы, рецензии и обзоры (2000–2011) ; под ред. А.Ю. Антоновского. М., 2012.

Вельш, 1992 – *Вельш В.* «Постмодерн». Генеалогия и значение одного спорного понятия // Путь. Международный философский журнал. 1992. № 1.

Дильтей, 2000 – *Дильтей В.* Воззрение на мир и исследование человека со времен Возрождения и Реформации. М. ; Иерусалим, 2000.

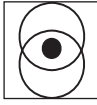
Дмитриев, 1999 – *Дмитриев И.С.* Неизвестный Ньютон. Силуэт на фоне эпохи. СПб., 1999.

Касавин, 1998 – *Касавин И.Т.* Миграция. Креативность. Текст. Проблемы неклассической теории познания. СПб., 1998.

Касавин, 2008 – *Касавин И.Т.* Текст. Дискурс. Контекст. Введение в социальную эпистемологию языка. М., 2008.

Койре, 1994 – *Койре А.* Мистики, спиритуалисты, алхимики Германии XVI века. М., 1994.

Лекторский, 2001 – *Лекторский В.А.* Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001.



- Микешина, 2006 – *Микешина Л.А.* Трансцендентальные измерения гуманитарного знания // Вопросы философии. 2006. № 1.
- Микешина, Микешин, 1981a – *Микешина Л.А., Микешин М.И.* Анализ концепции социально-исторической обусловленности механики Ньютона. Статья 1 // Диалектический материализм и философские проблемы естествознания. М., 1981.
- Микешина, Микешин, 1981b – *Микешина Л.А., Микешин М.И.* Социокультурные аспекты становления научной формы знания в механике Ньютона. Статья 2 // Диалектический материализм и философские проблемы естествознания. М., 1981.
- Петров, 1970 – *Петров М.К.* Эклектика // Философская энциклопедия. Т. 5. М., 1970.
- Татон, 1979 – *Татон. Р.* Александр Койре // О физиках. Тбилиси, 1979.
- Эко, 2004 – *Эко У.* Открытое произведение. Форма и неопределенность в современной поэтике. СПб., 2004.
- Элиот, 2004 – *Элиот Т.С.* Избранное. Т. I–II. Религия, культура, литература. М., 2004.
- Ямпольская, 2011 – *Ямпольская А.В.* Феноменология и мистика Бёме в интерпретации А. Койре // Артикульт. 2011. № 3.
- Baergen, 1995 – *Baergen R.* Contemporary Epistemology. Orlando, Florida, 1995.
- Dancy, 1996 – *Dancy J.* An Introduction to Contemporary Epistemology. Oxford, 1996.
- Landesman, 1997 – *Landesman Ch.* An Introduction to Epistemology. Cambridge, Mass., 1997.



О Б ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОЙ САМОБЫТНОСТИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Александр Андреевич Крушанов – доктор философских наук, ведущий научный сотрудник ИФ РАН. E-mail: krushanov@narod.ru

Эпистемологию коллективных познавательных процессов пока не принято выделять в качестве особой области гносеологии. Во всяком случае это еще не делается вполне определенным образом. Однако для такого самоопределения имеется вполне отчетливое основание – существование особенностей («коллективных когнитивных феноменов»), проявляющихся лишь в неиндивидуальных познавательных процессах.

Ключевые слова: коллективный субъект, эпистемология коллективных познавательных процессов, коллективный когнитивный феномен, ситуации предстандарта, массивы научного знания, кристаллоиды научного знания, научный труд, модная наука.

ON THE EPISTEMOLOGICAL ORIGINALITY OF THE COLLECTIVE COGNITIVE PROCESSES



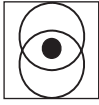
Alexander Krushanov – PhD, leading scholar of the Institute of Philosophy (Russian Academy of Sciences)

There is no definite tradition to separate an epistemology of the collective cognitive processes as the specific field of the gnoceology. But there is a real foundation for self-determination of the field – existence of the “collective cognitive phenomena”. They manifest themselves only in non-individual cognitive processes. Till nowadays in professional publications such phenomena were fixed, represented and discussed in the framework of such new themes as communicative rationality, problem of the conventions, problem of the testimonial knowledge. Author of this article makes attempt to show that family of the collective cognitive phenomena is wider than it is traditionally discussed and perceived. And it is not clear at all how many other new phenomena can be discovered. That is why it is useful and important (as author think) to fix clear and specially that epistemology of the collective cognitive processes is specific and independent new dimension of the epistemological work. In this connection content of the article includes representation and analysis of the phenomena, which are not in the focus of the philosophical community yet.

Key words: collective subject, epistemology of the collective cognitive processes, collective cognitive phenomenon, pre-standard situations, knowledge in the fragment and in the connected state (as “cristalloids” of the scientific knowledge), scientific works, fashionable science.

Коллективные познавательные процессы как проблема современной эпистемологии

Эпистемологию коллективных познавательных процессов философы пока не склонны выделять в качестве особой области теории познания. И это при том, что «есть серьезные основания считать, что развитие куль-



туры и познания (в частности, научного) может быть понято лишь при учете коллективных процессов» [Лекторский, 2010: 660].

Казалось бы, напоминать об этом сегодня – это буквально ломиться в открытую дверь, поскольку есть впечатление, что представления о деятельности коллективного познающего субъекта уже активно, хоть и не вполне явно введены и развиваются, например, в рамках неотъемлемых от современной философии науки представлений о «научных сообществах» (Р. Мертон, Т. Кун и др.). Однако размышление над этим нововведением показывает, что оно «не совсем о том». Ведь эти новации охарактеризовали социальную сторону научной деятельности, но не дали ничего нового собственно эпистемологии неиндивидуальных познавательных процессов, поскольку оперируют по сути с образом парадигмализованного индивидуального познающего субъекта, хоть и растянутым на группу исследователей. То есть даже идея научного сообщества в эпистемологическом плане по сути лишь фиксирует факт экстерииоризации, проецирования парадигмы на некоторое множество познающих субъектов, но никак не прибавляет нового знания к уже сложившейся парадигмальной модели.

Справедливости ради следует уточнить, что фактически Кун представляет более сложную модель познавательного процесса, в которой подразумевается в том числе и определенная неоднородность научного сообщества. Но эта линия намечена крайне скупо, так что обычно просто не учитывается в качестве важного элемента его концепции научных революций.

Если столь же внимательно взглянуть на другие широко известные и привычные классические модели научного познания, можно убедиться, что в обсуждаемом отношении и они совсем не специфичны, так как рассматриваемые ими свойства познавательных процессов вполне могут относиться просто к деятельности индивидуальных когнитивных субъектов. Правда, эта констатация не должна затмевать того важного факта, что эпистемологическая проблематика именно коллективно осуществляемых познавательных процессов отнюдь не оказалась пропущенной, например, аналитическими философами. Более того, эта важная новая тематика не прошла незамеченной и для российских исследователей, в результате чего в последние годы можно встретить даже систематическое, панорамное обсуждение проблем данного типа, попавших в поле зрения эпистемологов [см., например: Касавин, 2013].

В то же время если проявить определенную настойчивость, то можно убедиться, что пока речь может идти лишь о начале само-



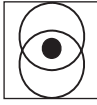
определения нового домена эпистемологического профиля, но не о достижении им какого-то зрелого и достаточно определенного состояния. Это проявляется, например, в том, что само родившееся в ходе этой работы словосочетание «коллективная эпистемология» расценивается как вполне синонимичное словосочетанию «социальная эпистемология». Свидетельством тому выступает, скажем, содержание интервью авторитетного эпистемолога Дженнифер Лэки, систематически изучающей как раз коллективные познавательные процессы [Электронный ресурс].

Понятно, что на данном, раннем этапе созревания новой проблематики подобная путаница и неразличимость вполне естественны, ведь, по экспертному заключению [Касавин, 2006: 9], с упоминанием «социальности» даже при использовании ставшего привычным словосочетания «социальная эпистемология» наблюдается большая неразбериха, позволяющая трактовать охватываемую таким образом область весьма широко, разнообразно и довольно свободно. В том числе, например, не различая два важных, но очень разных толкования «социального» в контексте социальной эпистемологии, которые я выделил бы следующим образом.

Генеративное понимание – иначе говоря, рассмотрение социальности как условия или даже источника, определяющего образование, формирование, генерацию знания. Именно это прочтение «социальности» прежде всего попало в поле зрения специалистов [Касавин, 2006] и уже получило методичную проработку и детализацию. На этой основе развернулась большая, разнообразная и продуктивная работа, в результате чего в тени оказалось иное понимание социальности.

Популяционное понимание социальности, т.е. акцентирование внимания на специфике познавательных процессов, которые осуществляются неиндивидуальным когнитивным субъектом. Это истолкование пока находится, можно сказать, в тени первого (генеративного) и потому выглядит почти латентным, нечетко фиксируемым и ускользающим от систематического внимания исследователей. Правда, фактическая работа, как отмечалось, в данном направлении все же ведется, но пока в недостаточно отрефлексированном, весьма стихийном и «зауженном» варианте.

Именно в силу этой нынешней еще недостаточной проявленности тематики эпистемологии коллективных познавательных процессов и получилось так, что эта важная часть эпистемологической работы не оказалась представлена явным образом ни в нашем основательном обобщающем труде по социальной эпистемологии [см.: Социальная эпистемология, 2010], ни в добротном све-



жем труде российских исследователей о перспективах эпистемологии [см.: Эпистемология, 2012].

На мой взгляд, основанием для подчеркивания самобытности и важности, а значит, для самоопределения и последовательного развития эпистемологии коллективных познавательных процессов является то обстоятельство, что в коллективно выполняемом научном поиске возникают и наблюдаются свои специфические «популяционные эффекты» («коллективные когнитивные эффекты»), не свойственные деятельности индивидуальных познающих субъектов.

Поскольку речь идет о значимых феноменах, современная эпистемология, как уже отмечалось, просто не могла не выйти на анализ подобного рода особенностей коллективной познавательной деятельности, среди которых в фокус внимания исследователей прежде всего попали: проблема коммуникативной рациональности [Коммуникативная рациональность, 2009]; проблема конвенций [см., например: Микешина, 2013]; проблема выработки групповых суждений (свидетельств, сообщений), называемая в англоязычном варианте проблемой “testimonial knowledge” [см.: Лэки, 2013; Касавин, 2013].

В то же время целый ряд обстоятельств приводит к выводу, что работу в обсуждаемом направлении можно было бы сделать заметно более полномасштабной и разнообразной, если бы эпистемология коллективных познавательных процессов была зафиксирована и артикулирована более явно и определенно, чем до сих пор. К таким обстоятельствам я бы отнес следующие.

1. Уже сейчас просматривается ряд пока скрытых когнитивных «популяционных явлений», еще не попавших в фокус внимания сообщества философов науки, т.е. спектр тем, важных для эпистемологии коллективных познавательных процессов, как представляется, вполне реально дополнить и расширить. При этом можно надеяться, что целенаправленная работа в этом направлении приведет к выявлению и других новых тем и значимых проблем.

2. Явления, характеризующие деятельность коллективного когнитивного субъекта, порой рассматриваются в чрезвычайно обобщенном виде, что, конечно же, естественно и важно на первичном этапе новой работы. Однако не стоит упускать из виду, что остается неразработанной целая ниша более детальных методологических представлений о том, как же фактически происходит, например, та же выработка конвенций в практике научного познания.



3. Необходимость специального подчеркивания самобытности эпистемологии коллективных познавательных процессов видится и в том, что без такого акцента подобная тематика так и остается эпизодической, стихийно разрабатываемой, а то и теряемой. О последней возможности свидетельствует, например, содержание упомянутых выше трудов, фактически задающих парадигмальную перспективу для дальнейшей работы в области эпистемологии.

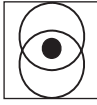
Рассмотрим ряд явлений, которые, на мой взгляд, вполне могут претендовать на статус коллективных когнитивных феноменов, демонстрирующих специфику именно коллективно осуществляемых познавательных процессов.

Ситуации предстандарта в процессе выработки общего языка научного сообщества

Стоит начать с констатации того, что классические методологические модели развития научного познания при всем их заслуженном авторитете обладают важной общей неполнотой, – в общепринятом виде они описывают динамику научного знания в полном отрыве от динамики опорного языка науки, который между тем сам обладает закономерной и довольно специфической исторической изменчивостью. Если же принять во внимание лингвистическое измерение исследуемых познавательных процессов (т.е. учесть опыт революционной деятельности К. Линнея в ботанике или А. Лавуазье в химии), то тогда выясняется, например, следующее:

в развивающемся научном познании наблюдается повторяемость необычных и весьма характерных ситуаций: неожиданно для себя исследователи вдруг сталкиваются с проблемой хаоса в профессиональной терминологии. Этот хаос проявляется в виде стихийного формирования очень неудобного, «размытого» профессионального языка, для которого характерны неоднозначность важных терминов и/или их фактическая множественная синонимия;

по существу этот хаос отражает рассогласование между содержательным планом научного знания и его планом выражения, между концептуальным содержанием области научного знания и используемым языком;



в качестве ответа на возникшее неудобство от исследователя требуется переключиться с привычного оперирования компонентами знания на упорядочение используемого языка;

на практике из-за отсутствия соответствующего опыта обычно наблюдается растерянность и необходимый переход затягивается, что во многом усложняет всю работу.

Приведу два типичных случая возникновения ситуаций предстандарта в разных науках и в разное время.

1. Неопределенность языка свойственна «подавляющему большинству разделов геологической науки, где, как указывают многие ученые, язык является чрезвычайно “мягким”, а поэтому в тектонике (науке о земле) есть термины, обозначающие десятки различных понятий, существуют такие понятийно-терминологические системы, которые используются весьма узким кругом ученых, принадлежащих одной школе, или даже одним исследователем. Вследствие неточного, порой неправильного толкования используемой терминологии в геологии часто бывают бесплодные дискуссии. Такой терминологический “бум” сказывается на состоянии геологической науки, порождает трудности “вавилонской башни”, когда ученые говорят об одном и том же как бы на разных языках, не понимая друг друга» [Яскевич, 1989: 83–84].
2. «Химики флогистического периода получили от своих предшественников – алхимиков и иатрохимиков – не только богатый запас фактических сведений о различных веществах, но и великое множество названий для их обозначения. Эти названия были длинны, трудны для запоминания и неудобны для произношения; одно и то же вещество имело по нескольку названий. Флогистики также немало способствовали этому номенклатурному хаосу. Например, во времена Лавуазье для сульфата меди существовало четыре названия, для карбоната магния – десять и для углекислого газа – двенадцать. Никакой системы в химической номенклатуре не было. Разобраться во всей этой путанице становилось все более и более трудным. Единичные попытки улучшить положение не давали ощутимых результатов» [Становление химии, 1983: 111]. В конечном счете группе химиков все же удалось успешно разрешить эту проблему, при этом было подчеркнуто: «Нас упрекали, когда мы опубликовали наш “Опыт химической номенклатуры”, в том, что мы изменяем язык, на котором говорили наши учителя, создавшие ему его славу и оставившие его нам в наследие; но упрекавшие нас за-



были, что не кто иной, как Бергман и Макер, сами требовали этой реформы. Ученый uppsальский профессор Бергман писал Морво в последний период своей жизни: “Не щадите ни одного неправильного названия: знающие всегда поймут, не знающие же прислушаются тем скорее”» [Лавуазье, 1931: 77].

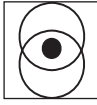
Ситуации описанного типа были выделены мной в качестве *ситуаций предстандарта* (СП). Под таковыми подразумеваются состояния интенсивно развивающейся познавательной деятельности, которые характеризуются актуализацией задачи упорядочения языка науки, т.е. обострением проблемы выработки понятийно-терминологических приоритетов – «стандартов», призванных внести согласованность в коллективно выполняемые исследования.

Необычность обсуждаемых ситуаций состоит в том, что в рутинной исследовательской практике предполагается и в основном выдерживается взаимно однозначное соответствие (изоморфизм) между единицами содержательного плана науки (ее понятиями) и ее знаковыми единицами (терминами). Действует правило «одно понятие – один термин». Именно такое состояние языка науки неявно признается нормальным и неявным же образом запечатлевается в опыте исследователя в виде скрыто подразумеваемой очевидности. Однако, как оказывается, в энергично развивающихся областях научного познания этот опыт не работает и даже мешает. В целом анализ обсуждаемого феномена ведет к следующей методологической модели происходящего.

Начнем с источников идей и терминов в научно-исследовательских областях, которые вдруг начинают пользоваться повышенным интересом в соответствующем научном сообществе. Аккумулируемое в этом случае знание, как правило, создается усилиями многих исследователей, в свою очередь активно опирающихся на достижения предшественников и коллег. Поэтому представление об отдельных исследователях – источниках научного знания – не вполне универсально, так как, например, в условиях современной существенно усложнившейся науки серьезных результатов добиваются скорее группы ученых, но не отдельные исследователи.

Соответственно при обсуждении и анализе источников нового знания, а заодно и источников новой терминологии, думается, лучше говорить не об отдельном исследователе, но обобщенно о «когнитивном центре». Под *когнитивным центром* в этом случае понимается группа тесно связанных ученых или отдельные исследователи, которые работают автономно от остальной части науч-





ного сообщества и предлагают свои ответы на важные для данной сферы науки вопросы, одновременно выдвигая собственные версии развития языка науки. В результате и возникает своеобразный «популяционный» эффект в виде СП.

Существование нескольких когнитивных центров выступает лишь необходимой, но недостаточной предпосылкой возникновения СП. Реальным сдвигом в их вызревании становится сближение и даже сталкивание информационных потоков от различных когнитивных центров. Иначе говоря, исследователи «прозревают» и начинают воспринимать стыковку аккумулированных идей и терминов как конкретную проблему только тогда, когда имеется определенное коммуникативное давление, навязанность диалога.

В конце концов запускается механизм выработки классифицирующих идей, общих для всего получившегося массива данных. В науке все это ведет к тому, что в итоге строится система теоретических представлений, отражающих наиболее важные особенности суммарной для всего накопленного знания предметной области. Новая теоретическая основа и задает тот набор узловых точек, который собственно надлежит (а теперь еще и возможно) оформить изоморфной терминологией, о чем научное сообщество чаще всего договаривается на каких-то своих дисциплинарных форумах.

Коллективная познавательная деятельность и два латентных состояния научного знания

Очевидно, что современное зрелое научное познание не способно развиваться без обмена научной информацией посредством подготовки научных трудов, выступающих формой отчуждения и сохранения для других научного вклада творцов науки. И именно поэтому подобным феноменам научной жизни и творчества уделяется большое внимание в такой важной дисциплине, как науковедение. В то же время эпистемологический смысл этой сферы обращения научного знания совершенно не прояснен и остается в тени. Собственно поэтому до сих пор при упоминании термина «научный труд» или «книга» в голове возникает ассоциация с чем-то весьма вещественным, а не с собственно концептуальным, что и представляло бы интерес для эпистемологического исследования. Это прямое отражение сложившейся практики анализа источников информации, при которой в центре



внимания соответствующих дисциплин (науковедения, источниковедения, информатики, документоведения) оказались прежде всего именно легко учитываемые и просчитываемые материальные носители информации – «документы», «источники», а не собственно сохраняемое на них и транслируемое с их помощью научное знание. Поэтому эпистемологическая сторона процесса функционирования подобных источников оказалась заслоненной чисто вещественной (или технической – в случае информатики), хотя это и не бросается в глаза в силу привычности сложившейся ситуации.

Для удобства разворачивания чисто эпистемологического анализа функционирования научных работ стоит начать с четкого выделения специального исходного понятия: *контент* – научное знание об изучаемом объекте, получаемое в результате познавательной деятельности некоторого отдельного ученого или творческого коллектива и предъявляемое исследовательскому сообществу в качестве результирующего научного вклада; характеризуется определенным единством содержания, определенным ограниченным объемом. По сути контент – это содержание всякого научного произведения (научного труда).

Введение понятия призвано четко зафиксировать тот существенный факт, что любой научный труд – это триединство некоторой *материальной основы* (набор бумажных страниц, электронный файл), *текста* и *контента*.

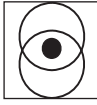
Опыт свидетельствует, что для анализа контентов полезно ввести еще одно понятие: *новация* – часть контента, дополняющая прежние знания об изучаемой предметной области (уже выработанные другими исследователями или самим автором контента в прошлом).

После введения новых понятий намечаются по крайней мере две интересные линии дальнейшего анализа жизни научного знания в контексте коллективной познавательной деятельности.

Так, опыт подсказывает, что научные труды заметно различаются по своему содержанию (контенту), что можно даже определенным образом артикулировать¹.

Новаторская работа (*новаторский контент*) – научный труд, содержащий существенно новое, рубежное знание об изучаемой предметной области. Таковых даже на самых креативных ученых приходится немного, что отчетливо зафиксировано в раз-

¹ В данном случае систематизируется корпус именно профессиональных работ, содержание которых отвечает критериям научной рациональности.



ного рода авторских справках вроде статей в энциклопедиях или юбилейных поздравлениях.

Однако хорошо известно, что авторитетные исследователи публикуют довольно много работ. Поэтому для более полного описания их творчества необходимо выделить и ряд других распространенных типов научных трудов.

Эксплицирующая научная работа (эксплицирующий контент) – научный труд, целью которого выступает уточнение, детализация или простое приложение идей, уже высказанных в некоторой новаторской работе. Эта работа не претендует на ранг новаторской, но по-своему ценная и необходимая, развивающая и в определенной степени дополняющая прежние знания.

Мультиплицирующая научная работа (мультиплицирующий контент) – научная работа, содержащая определенную новизну, но в основном воспроизводящая уже представленные ранее новации автора. Подготовка подобной работы преследует цель расширить круг лиц, осведомленных о существовании представляемой информации.

Суммирующая научная работа (суммирующий контент) – научная работа, сводящая воедино уже известное, выработанное знание, рассеянное по многочисленным отдельным контентам. Эта важная задача, как известно, решается в ходе подготовки словарей, энциклопедий, обзоров.

Контрастом этим продуктивным видам работы выступает еще один хорошо известный вид научного творчества.

Ритуальная научная работа (ритуальный контент) – научный труд, подготовленный формально, в силу некоторой внешней необходимости и по существу не претендующий на какую-либо серьезную научную значимость. Например, как мы все хорошо знаем, это могут быть публикации, вызванные лишь требованиями ВАК к соискателям ученых степеней. Хотя это, увы, свойственно и определенной доле остепененных исследователей, например, стремящихся утяжелить список своих публикаций.

Мне кажется, даже эта качественная сетка дает полезные ориентиры, позволяя проследить творчество тех или иных творцов научного знания. Однако введение понятия контента высвечивает еще одну любопытную сторону научной жизни. Именно при таком подходе становится отчетливо видно, что наука имеет дело с научным знанием, которое может находиться в двух существенно различных состояниях, которые можно выделить как состояние «кристаллоида знания» и состояние «массива знания».



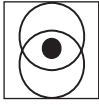
Кристаллоид знания – знание, между понятийными компонентами которого установлены явные логические взаимосвязи и взаимоотношения. т.е. логически субординированная и связанная система понятий. Самым наглядным, рельефным и развитым примером кристаллоида знания выступает «теория».

Однако распространенной формой существования научного знания выступает также и нечто совсем иное.

Массив научного знания – научное знание, существующее в виде множества контентов. Очевидно, что в подобном виде научное знание представлено прежде всего в библиотеках и книжных магазинах – мощных трансляторах наработанного контента.

Как ученые работают с массивами контентов, пока фактически остается неразработанной темой. Однако она важна уже хотя бы потому, что на практике ученый подпитывает свою творческую активность не только жестко очерченными фактами, идеями, системами знания. Креативность и продуктивность обеспечивается в том числе и тем, что в поле зрения ученого находятся куда как более содержательные данные контентов. Ведь в них порой представлены вроде бы малосущественные детали и подробности, способные решающим образом определить возможность продвижения познания вперед. В этом смысле, например, «древняя естественная история обычно упускает в своих неимоверно обстоятельных описаниях как раз те детали, в которых позднее учеными будет найден ключ к объяснению» [Кун, 1977: 35–36].

В то время как введение понятия «контент» позволяет сделать зримым существование научного знания в нетрадиционном для эпистемологии состоянии массива, представление о массивах знания помогает осознать тот факт, что подобное состояние вообще вполне характерно для результатов научного познания и встречается не только в варианте массива контентов. Например, исследователи зачастую с грустью отмечают, что наработки в волнующей их области научного познания напоминают отнюдь не единое целое, но множество плохо связанных фрагментов. Весьма характерно воспоминание нобелевского лауреата Шелдона Глэшоу: «В 1956 г., когда я начал заниматься теоретической физикой, изучение элементарных частиц очень напоминало лоскутное одеяло... Времена поменялись... Теория, которой мы сейчас располагаем, – это истинное произведение искусства: лоскутное одеяло превратилось в гобелен. Гобелены создаются множеством ремесленников, которые трудятся вместе. В законченной работе невозможно выделить вклад отдельных тружеников, так как слабые и неправильные нити перекрываются нужными» [Глэшоу, 2002: 227]. При



этом если научное знание существует в форме массива, то, будучи итогом суммирования вкладов отдельных исследователей в коллективный познавательный процесс, оно в чем-то может быть избыточным, дублированным, доказательным, а в чем-то и недостаточным, неполным, слабо обоснованным. Судить об этом возможно лишь в ходе выстраивания соответствующего кристаллоида знания.

Словом, и в этом отношении коллективная научная познавательная деятельность преподносит сюрпризы и демонстрирует особенности, которые прежде не выявлялись при осмыслении индивидуального научного творчества.

Научная мода и факторы ее порождения в коллективных познавательных процессах

С большим удовольствием познакомился недавно с воспоминаниями профессора физики А. Китайгородского (в свое время весьма известного исследователя) о временах буквально всенародного интереса к науке, жизни и деятельности ученых. В связи с этим не могу не привести его весьма показательную зарисовку ситуации той поры: «Я превосходно помню почти презрительное отсутствие интереса к естествознанию в среде гуманитариев в мои студенческие годы. И полную уверенность в том, что познание общечеловеческих истин не имеет ничего общего с проблемами естествознания. За истекшие годы картина переменилась. Сейчас молодые физики уверенно вещают, а их сверстники от литературы и истории с уважением слушают. Поэты и художники считают своим долгом хоть немного разобраться в физике и биологии. Упреки в непонимании основ теории относительности или квантовой механики в адрес деятелей искусства стали покорно восприниматься как вполне заслуженные» [Китайгородский, 1965: 170].

Увы, этот звездный период науки прошел. Как же грустно он контрастирует с тем, что мы наблюдаем и переживаем сегодня! Почему же то славное время вспоминается в этом, сугубо академичном материале? Обращение к прошлому обусловлено профессиональным интересом к подобной изменчивости общественного статуса научной жизни и деятельности. Думаю, в данном случае важно принять во внимание, что непродолжительное господство определенного вкуса или непрочную, быстро преходящую популярность принято толковать как моду. Тогда описанная профессо-



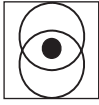
ром Китайгородским ситуация повышенного и даже завышенного внимания к науке выступает примером проявления общественной моды на науку, а современная ситуация – явным отсутствием таковой. Соответственно в связи с отмеченными особенностями научной жизни важно, интересно и ново разобраться с феноменом моды на науку вообще или на ту или иную область исследовательской деятельности.

Анализ накопленного историко-научного опыта убеждает, что одним из важных условий возникновения «модной науки»² выступает появление активных деятелей, выбирающих в качестве личной жизненной миссии участие в утверждении в общественном сознании некоторого познавательного приоритета. Иначе говоря, добивающихся того, чтобы в фокусе общественного внимания оказалось научное достижение, которое данным деятелям представляется особо значимым, но недооцененным обществом. Такого рода активных деятелей, стремящихся переключить общественное внимание на увлекшую их область научного поиска, можно обозначить специальным термином «культуртрегеры» (от нем. Kulturträger – носитель культуры, распространитель культуры). Этот термин когда-то был в ходу для обозначения активных «цивилизаторов» – проводников ценностей метрополий в сознание иных, «менее развитых» народов. Но он уже подзабылся и перестал активно функционировать. А потому, как представляется, может быть опять введен в оборот, но уже в более специальном смысле, представленном мной выше.

Думаю, многие коллеги еще живо вспоминают культуртрегерскую деятельность во имя синергетики, которую осуществлял такой увлеченный человек, как С.П. Курдюмов: «Сергея Павловича больше всего заботило то, чтобы синергетические идеи распространялись по миру и приживались в нем, произрастали, принося новые плоды, чтобы синергетическое движение в России ширилось и становилось более влиятельным, чтобы к ученым стали серьезно прислушиваться политики» [Князева, 2010: 87]. «Он всегда развивал, а в своих устных докладах пропагандировал, если угодно, даже проповедовал синергетику как идею, как мировоззрение, как видение мира» [Князева, 2010: 83].

К слову сказать, роль подобного «переключателя общественного внимания» могут брать на себя не только специалисты в продвигаемой области научного поиска (каковым был уже упомяну-

² Под «модной наукой» в данном тексте подразумевается временный повышенный общественный интерес к некоторой научной исследовательской области или научному познанию в целом.



тый С.П. Курдюмов). Этим же способны озадачиться, к примеру, специалисты в области философии и методологии соответствующего вида научной деятельности. Жизнь показывает, что в наше время массовых коммуникаций подобную миссию порой избирают для себя те или иные журналисты.

В силу избранной миссии обсуждаемые творцы научной моды сознательно или бессознательно представляют обществу переоцененный облик продвигаемого научного достижения. Подобная переоценка представляемого научного направления определяется в том числе и тем, что культуртрегерами выступают не просто популяризаторы науки, а увлеченные, пассионарные люди, рассматривающие эту деятельность в качестве своей миссии. Как правило, энергия стремящейся войти в моду науки ориентирована прежде всего на «внешнего потребителя» (неспециалистов в данной области), но серьезно смущает и молодые профессиональные умы, а также часть специалистов, не желающих показаться консервативными и невосприимчивыми к передовому и перспективному. Да и как устоишь, если известно, что человек, приобщенный к моде, воспринимается более значительным, чем в ином случае.

Не стоит думать, что речь идет лишь о некотором «околонаучном» феномене. Так, Р. Пенроуз в своем недавнем фундаментальном труде [Пенроуз, 2007] посчитал важным специально развернуто высказаться о моде на теорию суперструн в среде специалистов (!) по квантовой гравитации. Весьма характерно название соответствующего раздела – «Роль моды в физической теории». Любопытно и уточнение: «Мода не оказывает большого влияния там, где теоретические идеи постоянно проходят проверку экспериментом. Но в отношении тех идей, которые, подобно квантовой гравитации, далеки от возможности экспериментального подтверждения или опровержения, мы должны быть особенно бдительны, чтобы не принять популярность за подтверждение правильности» [Пенроуз, 2007: 843].

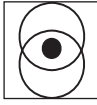
Благодаря деятельности творцов модной науки традиционно учитываемая структура дисциплинарного *научного сообщества* разрастается за счет широкого вовлечения в дисциплинарную жизнь разнообразных энтузиастов и поклонников. Так, в связи с рождением кибернетики в свое время было отмечено: «Возникновение такого направления научной мысли привлекло к себе внимание не только специалистов, но и широкой общественности. У кибернетики появилось много подлинных и мнимых друзей» [Шалютин, 1961: 7]. Такие попутчики не участвуют в профессиональном развитии избранной научной области, но играют вполне



значимую и заметную роль в формировании ее общественного статуса. Например, активно приобретают соответствующую профильную литературу, тем самым стимулируя и популяризируя ее издание, посещают семинары, конференции, иные тематические мероприятия, разносят информацию о новостях из жизни профессионального сообщества. В результате (профессиональное) научное сообщество начинает выглядеть в общественном сознании более значительным и более массовым. Чтобы учесть и эту реалию научной жизни, на мой взгляд, наряду с традиционным понятием научного сообщества целесообразно (особенно для модных наук и областей) использовать и такое специальное понятие, как *гало* научного сообщества. Именно так, на мой взгляд, удобно обозначить обрамляющую научное сообщество кадровую оболочку, состоящую из энтузиастов соответствующей дисциплины, не являющихся для нее профильными специалистами и потому не участвующих в ее содержательном развитии. Кстати, в результате получается, что для описания социальной структуры науки недостаточно даже двух уже использованных понятий, так как по существу в полном виде она должна учитывать как собственно научное сообщество, так и гало научного сообщества. Такую сводную структуру (из научного/профессионального сообщества и сопутствующего ему гало) можно в свою очередь зафиксировать как *дисциплинарный клуб*.

Как правило, наличие гало в фазе укрепления общественного статуса соответствующей дисциплины или области обычно не замечается и не вызывает у профессионалов особых возражений. Но после перехода дисциплины через пик популярности вдруг выясняется, что, например, «множество людей, далеких от собственно кибернетических воззрений, с полным правом начали именовать себя кибернетиками. При этом идея оказалась дискредитирована, ребенок был выплеснут с водой, популяризация науки во многом заменила саму науку. Во многом это и предопределило судьбу кибернетики в научном сообществе» [Малинецкий, 2009: 6].

Кстати, для появления модной науки одних лишь усилий даже самых активных культуртрегеров недостаточно. Требуется наличие еще одного принципиального условия. Так, один из отцов системных исследований и системный культуртрегер Людвиг фон Берталанфи отмечал, что он выступил с пропагандой системных идей еще в 1925–1926 гг. Однако ответом был «заговор молчания» [Берталанфи, 1969: 23]. Но прошло время, и картина радикально изменилась: «Ныне (в 1967 г. – А.К.) даже политические деятели



требуют применения системного подхода, считая его революционно новой концепцией» [Берталанфи, Системные исследования, 1969: 31]. Попутно констатируется, что это удивительное и чудесное превращение состоялось благодаря изменению «интеллектуального климата» [Берталанфи. Системные исследования, 1969: 28]. Данное замечание фиксирует то существенное обстоятельство, что модным способно стать то, что затрагивает или способно затронуть важные общественные интересы, что находится в резонансе с ними. Убедить в этом общество – это и есть главное в культуртрегерской деятельности. Причем для запуска моды не так принципиально, оправдаются ли декларации. Существенно, чтобы какие-то ожидаемые понятные перспективы кандидата в модные науки затрагивали интересы граждан, соответствовали их надеждам и запросам времени. Поэтому, скажем, кибернетика стала модной не благодаря своему совершенно новому трансдисциплинарному видению мира, что в полной мере оценили лишь философы, но в силу заинтригованности общества тем, что кибернетики способны создать роботов, которые то ли освободят нас от тягот труда и жизни, то ли установят свое господство над человеком. Пафос вовсе не винеровский, но сработал именно он!

Итак, все сказанное выше было призвано показать, что целенаправленное и заинтересованное внимание к тому, как осуществляются коллективные познавательные процессы, позволяет увидеть стороны и особенности когнитивных процессов, которые пока не попадали в фокус внимания сообщества философов, изучающих природу познавательных процессов. Это делает подобного рода работу продуктивной, интересной и, на мой взгляд, заслуживающей внятного самоопределения для систематической поддержки и развития.

Библиографический список

- Берталанфи, 1969 – *Берталанфи Л. фон*. Общая теория систем – критический обзор // Исследования по общей теории систем. М., 1969.
- Берталанфи, Системные исследования, 1969 – *Берталанфи Л. фон*. Общая теория систем – обзор проблем и результатов // Системные исследования. Ежегодник 1969. М., 1969.
- Глэшоу, 2002 – *Глэшоу Ш.Л.* Очарование физики. М., 2002.
- Китайгородский, 1965 – *Китайгородский А.И.* Физика – моя профессия. М., 1965.
- Касавин, 2006 – *Касавин И.Т.* Социальная эпистемология: понятие и проблемы // Эпистемология и философия науки. 2006. Т. VII. № 1.



- Касавин, 2013 – *Касавин И.Т.* Знание и коммуникация: к современным дискуссиям в аналитической философии // *Вопр. философии.* 2013. № 6.
- Князева, 2010 – *Князева Е.Н.* Провозвестник нового видения мира // *Знание – сила.* 2010. № 8.
- Коммуникативная рациональность – Коммуникативная рациональность. Эпистемологический подход ; под ред. И.Т. Касавина. М., 2009.
- Кун, 1977 – *Кун Т.* Структура научных революций. 2-е изд. М., 1977.
- Лавуазье, 1931 – *Лавуазье А.Л.* Мемуары. О природе вещества, соединяющегося с металлами при прокаливании их и увеличивающего их вес. Опыты над дыханием животных. О природе воды, экспериментальный метод. Введение к элементарному курсу химии. Л., 1931.
- Лекторский, 2010 – *Лекторский В.А.* Субъект // *Новая философская энциклопедия.* В 4 т. Т. III. М., 2010.
- Лэски, 2013 – *Лэски Дж.* Дефляционистский подход к групповому сообщению // *Эпистемология и философия науки.* 2013. Т. XXXVI, № 2. С. 16–41.
- Малинецкий, 2009 – *Малинецкий Г.Г.* Синергетика. Кризис или развитие? // *К. Майнцер.* Сложносистемное мышление: материя, разум, человечество. Новый синтез. М., 2009. С. 6.
- Микешина, 2013 – *Микешина Л.А.* Конвенция как универсальная операция познания и коммуникаций // *Эпистемология и философия науки.* 2013. Т. XXXV, № 1.
- Пенроуз, 2007 – *Пенроуз Р.* Путь к реальности или законы, управляющие Вселенной. М., 2007.
- Социальная эпистемология, 2010 – *Социальная эпистемология: идеи, методы, программы ; под ред. И.Т. Касавина.* М., 2010.
- Становление химии – Становление химии как науки. М., 1983.
- Шалютин, 1961 – *Шалютин С.М.* О кибернетике и сфере ее применения // *Философские вопросы кибернетики.* М., 1961.
- Яскевич, 1989 – *Яскевич Я.С.* В поисках идеала строгого мышления. Минск, 1989.
- Электронный ресурс – <http://www.3quarksdaily.com/3quarksdaily/2013/06/on-testimony.html>
- Эпистемология, 2012 – *Эпистемология: перспективы развития ; под ред. В.А. Лекторского.* М., 2012.



ПРОБЛЕМА «ТРЕТЬЕГО МИРА» В СОВРЕМЕННОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ¹

Георгий Дмитриевич Левин – доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН. E-mail: g.d.levin@mail.ru

Поппер называет первым природный мир, существующий за пределами человеческого сознания, вторым – мир самого этого сознания, а третьим – мир духовных и материальных продуктов человеческой деятельности, т.е. то, что Э.В. Ильенков включает в сферу идеального мира. Первооткрывателем третьего мира Поппер считает Платона. Имеется в виду его учение об эйдосах. В статье эта гипотеза испытывается. Показано, что Платон в своем учении об эйдосах отвечает на три вопроса: что представляет собой предмет теоретического знания? Где он находится? Как знание о нем проникает в наше сознание? Обоснован тезис, что современное учение об онтологии знания, отличающейся, с одной стороны, от самого этого знания, а с другой – от отраженной в нем объективной действительности, является прямым потомком платоновского учения об эйдосах, а то, что Поппер называет третьим миром или миром объективного знания, представляет собой реальную сферу бытия, но принципиально отличную от онтологии теоретического знания и лишь связанную с ней. Эта связь анализируется.

Ключевые слова: идеальный объект, интенциональность, онтология, теоретический объект, теория, третий мир, умное место, эйдос, эмпирический объект, эмпирия, эпистемология.

THE PROBLEM OF THE “THIRD WORLD” IN CONTEMPORARY EPISTEMOLOGY



Georgy Levin – doctor of philosophical sciences, master researcher at the Institute of Philosophy of Russian Academy of Sciences.

Popper calls natural world World One. It exists beyond human consciousness. World Two is the world of consciousness, and World Three is the world of spiritual and material products of human activity, i.e. what E.V. Il'enkov includes in the sphere of the ideal world. Popper considers Plato's theory of eidoses a pioneer investigation of World Three. The article tests this hypothesis. The author argues that the contemporary doctrine of ontology of knowledge which is distinguished on the one hand from the knowledge itself, and, on the other, from reality which is reflected in it is a direct descendant of Plato's treatment of eidoses. It is also argued that Popper's World Three present a real sphere of being which is principally different from the ontology of theoretical knowledge which is merely associated with it. This association is also investigated in the article.

Key words: ideal object, intentionalitat, ontology, theoretical object, the theory, the third world, a clever place, the eidos, empirical object.

¹ Статья подготовлена при поддержке РФГФ, проект № 12-03-00539.



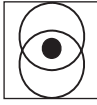
Постановка проблемы. Благодаря авторитету Карла Поппера термин «третий мир» стал сегодня не только социологическим, но и эпистемологическим, а проблема третьего мира превратилась в одну из признанных философских проблем. Но авторитета Карла Поппера не хватило для того, чтобы общепризнанной стала сама его теория трех миров. Большинство реалистов (материалистов и объективных идеалистов) признают сегодня существование только двух миров: объективного мира и мира нашего знания о нем. Объясняется это, на мой взгляд, тем, что за 20 лет работы над этой теорией (с 1960-х до 1980-х гг.) Поппер так и не смог дать строгий и ясный ответ на вопрос, что это такое – третий мир. Отсюда мой план: выяснить все смыслы, в которых Поппер употребляет термин «третий мир», и проанализировать существующее между ними «разделение труда».

Поппер не считает себя первооткрывателем третьего мира. Эту честь он приписывает Платону: «Всем известно, что Платон был первооткрывателем третьего мира» [Поппер, 2002: 123]. Имеется в виду платоновский мир эйдосов или, как выражается сам Поппер, форм и идей. Чтобы оценить претензии Поппера на родство его третьего мира с платоновским миром эйдосов, обсудим три вопроса: 1. Какие эпистемологические проблемы *вынудили* самого Платона постулировать существование мира эйдосов или, в терминологии Поппера, третьего мира? 2. Как эти проблемы решаются современной эпистемологией? 3. Действительно ли третий мир Поппера ведет свою родословную от мира эйдосов Платона?

Третий мир Платона. Проблема, приведшая Платона к постулированию мира эйдосов, проста и очевидна. Платон исходит из аксиомы: «Каждое знание как таковое должно быть знанием каждой вещи как таковой» [Платон, 1970: 414]. В общей форме: каждое знание есть знание о чем-то, «знание о»². В Средние века эту особенность знания назвали *интенциональностью*. Сартр считает интенциональность основной идеей философии Гуссерля, а сам Гуссерль объявляет ее основным свойством психического.

Но если любое знание – это «знание о», то знанием о чем является, например, геометрическое понятие «четыреугольник»? Простой и очевидный ответ: это знание о четырехугольнике, находящемся в реальном, «подлунном мире», Платон отвергает. Когда математики, пишет он, «пользуются чертежами и делают отсюда

² Э. Гуссерль называет эту черту знания интенциональностью, а объекты этого знания интенциональными.



выводы, их мысль обращена не на чертеж» [Платон, 1970: 510d]. А на что? Для сторонника теории двух миров ответ так же прост и очевиден: если референтов теоретических понятий нет в объективном, «подлунном мире», значит, их нет нигде. *Теоретические знания суть знания ни о чем.* Это просто красивые интеллектуальные игрушки. К эмпирическим знаниям это не относится. Такую концепцию можно назвать агностицизмом наполовину. В античной философии подобных агностиков наполовину, насколько мне известно, не было, а вот Галилей, создатель науки Нового времени, натерпелся от них столько, что даже вывел одного из них в своих «Диалогах» под именем Симпличио, Простака, который утверждает: «Все эти математические тонкости истинны лишь абстрактно. Но, будучи приложенными к чувственной и физической материи, они не функционируют» [Галилей, 1964: 302]. А. Койре так интерпретирует это высказывание: «В самой природе нет ни кругов, ни треугольников, ни прямых линий. Следовательно, бесполезно изучать язык математических фигур: последние по своей сути не являются, вопреки Галилею и Платону, теми знаками, которыми написана книга природы» [Койре, 1985: 144].

Итак, сторонник теории двух миров (объективного и мира нашего знания о нем) оказывается перед выбором: либо утверждать, что теоретическое знание интенционально и является знанием о предметах, находящихся в реальном пространстве-времени, либо отрицать принцип интенциональности и доказывать, что оно является знанием ни о чем. Платон находит третью возможность. Когда математики, пишет он, «пользуются чертежами и делают отсюда выводы, их мысль обращена не на чертеж, а на те фигуры, подобием которых он служит. Выводы они делают только для четырехугольника самого по себе и его диагонали³, а не для той диагонали, которую они начертили» [Платон 1971: 510d].

Итак, теорема о диагоналях четырехугольника относится не к чертежу четырехугольника как такового, а к самому четырехугольнику, «подобием» которого чертеж служит. Но такой ответ порождает новый вопрос: а где находится этот четырехугольник как таковой, а также референты других теоретических понятий? Ведь их никто и никогда не видел! Платон называет местоположение эйдосов умным местом, а современные комментаторы Платона – надмировым пространством или платоновским небом. Это и

³ Видимо, имеется в виду следующая теорема: если диагонали четырехугольника точкой пересечения делятся пополам, то его противолежащие стороны попарно параллельны.



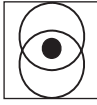
есть платоновский третий мир, хотя по роли в мироздании он – первый. Так возникает первый вариант учения о третьем мире.

Но число проблем от этого только увеличилось. Вот одна из них: а что эти «небожители» представляют собой по внутреннему содержанию? За 23 века, прошедших после Платона, на этот вопрос было дано множество ответов. Я принимаю тот, который воплощен в приведенном примере: *четыреугольник сам по себе* – это парадигмальный образец платоновского эйдоса. Эйдосы – это объекты, о которых говорят теоретические понятия, которым они соответствуют зеркально. Это теоретические объекты, входящие в содержание третьего мира. Интенциональные объекты Гуссерля отличаются от эйдосов Платона лишь тем, что существуют не на платоновском небе, а в субъективном мире индивида.

Но из этих двух ответов на эти два вопроса вытекает третий вопрос: как знания о теоретических объектах проникают в наше сознание? Если для ответа на первые два вопроса Платону к двум всем известным мирам пришлось добавить третий, то для ответа на третий ему пришлось создать свою знаменитую теорию воспоминаний. Он поясняет все три ответа знаменитым «символом пещеры» [Платон, 1971: 514–515]. Здесь эйдосы (тот же четырехугольник сам по себе) первичны, их тени на стене пещеры (например, четырехугольник, начерченный математиком) вторичны, зрительные образы этих теней, существующие в сознании узника, третичны. В конечном счете они являются образами эйдосов, но образами опосредованными и в силу этого не вполне адекватными.

Однако в душе узника пещеры, говорит Платон, есть и вполне адекватные образы эйдосов. Они возникли в результате их непосредственного созерцания душой до ее вселения в тело. Именно этот адекватный образ эйдоса узник и вспоминает, глядя на его тень на стене пещеры. Назвав знание, полученное в результате непосредственного восприятия эйдосов, *теоретическим*⁴, а знание, полученное созерцанием их теней, – *эмпириче-*

⁴ В «Теэтете» Платон возражает против определения знания как объяснения вместе с истинным мнением. А я трактую теоретическое знание именно так. Отсюда делают вывод, что я приписываю Платону как раз то понимание знания вообще и теоретического знания в частности, которое он отвергает. Но в «Теэтете» Платон лишь опровергает это определение, альтернативное же обосновывает в «Пармениде»: «Признаешь ты или нет: если существует какой-то род знания сам по себе, то он гораздо совершеннее нашего знания? И не так ли обстоит дело с красотой и всем прочим?» [Платон, 1970: 414]. Платон, как мы видим, различает здесь «наше знание» и «род знания сам по себе». Реальность того и другого он признает. В примере с четырехугольником он говорит именно о «нашем знании», т.е. об обоснованном истинном мнении. Именно о нашем знании я и веду речь. Мне достаточно, что Платон признает его существование, а о терминах можно договориться.



ским, мы можем представить платоновский символ пещеры в виде схемы (рис. 1).

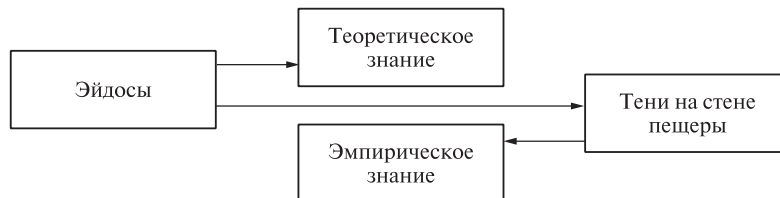


Рис. 1

Итак, я рассмотрел, как Платон на основе теории третьего мира и теории эйдосов отвечает на три вопроса: 1) что представляет собой предмет теоретического знания? 2) где он находится? 3) как знание о нем проникает в наше сознание?

Но вопросы, размышления над которыми довели Платона до «безумной» идеи третьего мира, стоят и перед современными теоретиками: знанием о чём является теорема о диагонали четырехугольника, если знанием о четырехугольнике, существующем в реальном пространстве-времени, она не является? Более того, класс таких вопросов разросся: знанием о чём являются понятия движения без трения, идеального газа, абсолютно черного тела, стоимости товара, если некоторых из них не только нет, но и не может быть в реальном пространстве-времени? Движение без трения, например, исключается законом возрастания энтропии. Как и во времена Платона, перед вопрошающим лежат три возможных ответа. Логически и исторически первый из них прост и очевиден: предметом теоретического знания является объективная реальность, она находится за границами моего сознания и познается органами чувств, продукты которых превращаются в теоретические знания посредством абстрагирования и обобщения. Именно с отказа от нее начинал Платон. Противоположная, столь же очевидная и популярная точка зрения выражена Симпличио: теоретические знания не соответствуют ничему в реальном мире и потому не соответствуют ничему вообще, ибо ничего, кроме объективного мира и знания о нем, нет.

Между этими двумя простыми и ясными крайностями находится «золотая середина» – та самая «безумная» *теория третьего мира*, исторически первой формой существования которой является теория эйдосов Платона.

Онтология теоретического знания как прямой потомок платоновского мира эйдосов. Здесь вспоминаются слова, кото-



рые в диалоге «Парменид» старый Парменид говорит молодому Сократу: «Ты еще молод, Сократ... и философия еще не завладела тобой всецело... теперь же по молодости ты еще слишком считаешься с мнением людей» [Платон, 1970: 130]. До какой же степени не нужно было считаться с мнением людей самому Платону, чтобы на вопрос, знанием о чем являются теоретические понятия, дать ответ, который мы рассмотрели. Но чтобы принять теорию третьего мира, вовсе не обязательно принимать теорию Платона. Достаточно просто признать принцип интенциональности, согласно которому *каждое знание есть знание о чем-то*, признать, что теоретическое знание не может быть знанием, зеркально, дубликатно соответствующим предметам первого мира, и сделать отсюда вывод, что наряду с первым, объективным и вторым, субъективным миром существует еще и третий мир, который как раз и является тем, о чем говорит теоретическое знание.

За 23 века, прошедших после Платона, все логически возможные интерпретации третьего мира были перебраны. Если бы моя статья была историко-философской, я показал бы, что вариантами этой теории являются теория познания И. Канта, феноменология Э. Гуссерля, теория концептуальных каркасов Р. Карнапа, а также часто встречающееся в методологических исследованиях учение *об онтологии теоретического знания*. Но меня интересуют не точки зрения на проблему третьего мира, а сама проблема, потому я ограничусь анализом и обоснованием только учения об онтологии знания, которого придерживаюсь сам.

В отличие от кантианства, гуссерлианства и карнапианства у него нет общепризнанного автора. Это, если можно так выразиться, «народное учение». Но я намерен показать, что именно оно является самым современным и самым эвристичным вариантом теории третьего мира из всех способов «диалектического отрицания» платонизма.

Итак, согласно этому учению, по одну сторону теоретического знания находится отраженный в нем реальный объект (например, четырехугольник, начерченный математиком), а по другую – задаваемый этим знанием виртуальный теоретический объект, входящий в онтологию теоретического знания. Но наше знание состоит из двух этажей: теоретического и эмпирического. Следовательно, из двух этажей состоит и его онтология: под виртуальным теоретическим объектом, задаваемым теоретическим знанием, находится виртуальный эмпирический объект, задаваемый эмпирическим знанием (рис. 2).

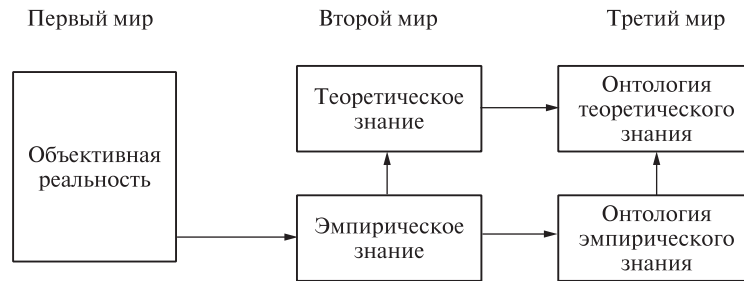
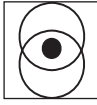


Рис. 2

Поясню аналогией. Пусть существуют реальный предмет и два его слайда: необработанный и отретушированный профессиональным художником. И пусть существуют две проекции этих слайдов на экране. Онтологию эмпирического знания уподобим проекции на экран первого, а онтологию теоретического – второго слайда. Чтобы использовать эту аналогию в исследовании природы третьего мира, спустимся еще на один «этаж» и приглядимся к природе чувственного знания. Рассуждая умозрительно, мы должны различать две сущности: чувственно воспринимаемый предмет и его чувственный образ. Но в сознании человека и высших животных реальный предмет и его чувственный образ слиты, воспринимаются как одна сущность. Именно благодаря этому *иллюзорному* слиянию кошка вцепляется не в свои глаза, а в мышь. Вот как пытается «принудить» читателя к пониманию этого «невероятного, но очевидного» факта И.Г. Фихте: «Сознание и вещь, вещь и сознание; или точнее: ни то ни другое в отдельности, а то, что лишь впоследствии разлагается на то и другое, то, что является безусловно субъективно-объективным и объективно-субъективным» [Фихте, 1993: 645]. Необходимы дополнительные интеллектуальные усилия, чтобы «расщепить» эту, как выражается Фихте, объективно-субъективную вещь на объективную и субъективную или, как еще говорят, «удвоить» ее.

Иллюзорное (подчеркиваю это) слияние в нашем сознании предметов и их чувственных образов – не ошибка, а бесценный дар природы. Оно радикально упрощает процесс познания и практики и не ведет к ошибкам, но только если осуществляется в строго фиксированных границах. Индивид вправе отождествлять зрительный образ предмета с самим предметом, пока непосредственно оперирует с ним. Но как только он начинает работать с другим предметом и перестает воспринимать первый непосредственно, он теряет это право (подробнее об этом см.: [Левин, 2011]). Неучет этого принципиального обстоятельства ведет, с одной стороны, к



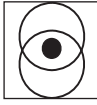
презентационизму, не различающему объективный мир и мир чувственного знания о нем, а с другой – к солипсизму, не признающему существования объективного мира. Теперь используем этот опыт удвоения мира для его утروения.

Аксиоматический и генетический методы познания. Различив три мира – объективный мир, мир нашего знания о нем и мир онтологии этого знания, – мы вправе утверждать, что процесс теоретического познания можно исследовать тремя способами: 1) как развитие самого теоретического знания; 2) как операции с его материальными носителями – именами и предложениями и 3) как мысленные эксперименты с теми теоретическими объектами, которые задаются содержанием теоретического знания и входят в его онтологию⁵.

Однако при попытке описать процесс теоретического познания этими тремя способами знание, отличное от его онтологии, так же не удастся обнаружить, как и чувственный образ предмета, отличный от самого этого предмета. Именно поэтому В.А. Смирнов, первым, насколько мне известно, применивший теорию третьего мира в исследовании теоретического познания, различает не три, а лишь два метода. Референты теоретических знаний он называет *теоретическими объектами, идеальными объектами, моделями объективного мира* и строго отличает их как от теоретических знаний о них, так и от самих предметов объективного мира. Особенно удачен здесь, на мой взгляд, термин «модель объективного мира». Но таких миров, состоящих из идеальных теоретических моделей объективного мира, у каждого исследователя, с точки зрения Смирнова, несколько, так что нужно выбирать. Он предлагает критерий такого выбора: «Вопрос о том, является ли та или иная система идеальных объектов моделью действительности, есть познавательный вопрос; а вопрос о степени точности модели включает в себя элемент выбора, определяемого практической установкой» [Смирнов, 1983: 373]. Теоретическое познание, заключающееся в мысленных экспериментах с идеальными теоретическими объектами, он назвал *генетическим* [Смирнов, 1962: 269]⁶. Осталось еще две возможности. Процесс теоретического познания можно представить как операции с терминами и высказываниями, в том числе с формулами. Такой способ теоретического по-

⁵ Прекрасный анализ мысленных экспериментов содержится в книге [Илларионов, 2007] (см. гл.: Мысленный эксперимент в физике, его сущность и функции).

⁶ Детальное исследование этой концепции содержится в статье А.М. Анисимова «Аксиоматические и генетические модели», опубликованной в книге: Владимир Александрович Смирнов. М., 2010.



знания он назвал *аксиоматическим*. Остался третий способ, понимаемый как познавательный процесс, протекающий внутри второго мира, т.е. самого теоретического знания, а не того, о чем оно говорит. Но о нем автор не говорит ничего. Он не находит второго мира, отличного от третьего. То же самое наблюдается и в блестящей книге Я. Хинтикки и У. Ремеза «Метод анализа, его геометрическое происхождение и всеобщее значение» [Hintikka, 1974: 106]. Метод, который Смирнов называет генетическим, они называют инстанциальным (от instance – пример), а метод, который он называет аксиоматическим, – пропозициональным (от proposition – предложение). Метод теоретического исследования, регулирующий процессы, протекающие внутри мира живого теоретического знания, т.е. второго мира, у них тоже не упоминается. Та же картина наблюдается и в работах В.С. Степина, который различает генетический и аксиоматический методы со ссылкой на Смирнова. Правда, метод «построения и развертывания теории, основанный на конструировании идеальных теоретических объектов и мысленных экспериментов с ними», он называет не генетическим, а *генетически-конструктивным*, а систему самих теоретических объектов – универсальной теоретической схемой [Степин, 2000: 499]. Куда же делось само теоретическое знание, т.е. второй мир, существование которого признают даже противники теории трех миров? Вот здесь-то, на мой взгляд, нам и пригодится опыт размышлений над презентационизмом и солипсизмом.

В сознании высших животных и человека зрительный образ предмета, входящий во второй мир, слит с самим предметом, входящим в первый мир, воспринимается как нечто «безусловно субъективно-объективное и объективно-субъективное». А что если нечто подобное имеет место и в отношениях между теоретическим знанием, входящим во второй мир, и теоретическим объектом, входящим в третий мир? Тогда многое встает на свои места, например то, что сторонники теории третьего мира, рассматривающие теоретические объекты в качестве моделей объективного мира, начинают говорить как о том же самом о теоретических знаниях, задающих эти объекты; я мог бы привести примеры, но не хочу терять друзей.

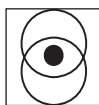
Здесь нет возможности исследовать вопрос о соотношении теоретических знаний и теоретических объектов и показать, что наряду с генетическим и аксиоматическим существует еще и *гносеологический* метод исследования, метод трансформации самого теоретического знания.



Итак, я рассмотрел два из трех вопросов, поставленных в начале статьи: 1. Какие эпистемологические проблемы вынудили Платона постулировать существование третьего мира? 2. Как эти проблемы решаются в современной эпистемологии? Остался третий вопрос: действительно ли Поппер в своей теории третьего мира ставит и решает ту же проблему, что и Платон, а если нет, то что это за проблема и чем его третий мир отличается от третьего мира Платона и онтологии современной эпистемологии?

Третий мир Поппера. Поппер – реалист. Он полагает, что «существует физический мир и мир состояний сознания и что они взаимодействуют между собой» [Поппер, 2002: 109]. Физический мир он называет первым, мир состояний сознания – вторым. Моя цель – понять, что он понимает под третьим миром. У Поппера несколько его трактовок, и они плохо согласованы между собой. Вот одна из наиболее развернутых: «Обитателями моего третьего мира являются прежде всего теоретические системы; не менее важными его жителями являются проблемы и проблемные ситуации. Однако его наиболее важными обитателями... являются критические рассуждения и то, что... можно назвать состоянием дискуссий или критических споров; конечно, сюда относятся и содержание журналов, книг и библиотек» [Поппер, 2002: 109].

Я рассмотрю здесь только последнюю часть попперовского третьего мира – «содержание журналов, книг и библиотек». Это содержание способно существовать, даже если его создатели и пользователи исчезнут. В этом смысле Поппер называет его объективным знанием, *objective knowledge*. Здесь возникает вопрос об отношении этого знания к платоновским эйдосам. Они тоже существуют независимо от людей. Но эйдосы Платона первичны по отношению к субъективным знаниям человека, а объективное знание Поппера вторично по отношению к нему. Если бы Платон признал реальность знания, воплощенного в письменных текстах, он назвал бы его вторичным по отношению к субъективному знанию людей и третичным по отношению к своему миру эйдосов. Отличен третий мир Поппера и от онтологии знания: последняя понимается как проекция живого человеческого знания в виртуальный мир и существует, пока существует это живое знание. Вопрос, что представляет собой онтология попперовского объективного знания, должен быть поставлен и обсужден сначала Поппером. Но если третий мир Поппера – это и не надмировое пространство Платона, и не виртуальный мир онтологии нашего знания, то что это такое?



Платоновская теория эйдосов и современное учение об онтологии знания отвечают, как мы видели, на три вопроса: 1) что представляют собой предметы теоретического знания? 2) где они находятся? и 3) как они проникают в сознание исследователя? Поппер готовит ответ на четвертый, принципиально новый вопрос: как это уже полученное исследователем субъективное знание передается из его сознания в сознание ученика? По своему значению для эпистемологии этот вопрос не уступает первым трем. Чтобы обосновать этот свой тезис, воспользуюсь еще одной схемой (рис. 3), на которой изображены три этапа движения информации: 1) из предмета через исследование в сознание исследователя; 2) из сознания исследователя через коммуникацию в сознание ученика; 3) из него через практическую деятельность – снова в предмет.



Рис. 3

До конца прошлого века философы исследовали в основном первый этап. В прошлом веке усилиями Л. Витгенштейна, Дж. Остина, М.М. Бахтина, Ю. Хабермаса, К. Поппера и др. началось исследование второго этапа. Науку, решающую эту задачу, называют теорией коммуникации. Наука, предметом которой является третий этап и которую называют праксиологией, до сих пор существует лишь как программа.

Теория третьего мира Поппера, отличающаяся от теории эйдосов Платона, и от современного учения об онтологии знания, вносит свой вклад именно в теорию коммуникации. Дело в том, что в процессе обучения знание учителя «перетекает» в сознание ученика не непосредственно, как жидкость из одного сосуда в другой, а через посредство текста. Оно сначала кодируется учителем в «объективное знание» текста, а затем декодируется учеником в свое субъективное знание. Нас интересует случай, когда ученик, например Поппер, отделен от учителя, например Платона, тысячами лет и может усваивать его идеи только через посредство



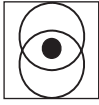
письменного текста. Поскольку заключенная в этом тексте информация существует, даже когда уже нет учителя и еще нет ученика, ее вполне можно назвать объективной. Попытка Поппера доказать реальность «объективного знания» и понять его природу является его бесспорным научным результатом, заслуживающим тщательного анализа.

Способы кодирования и декодирования постоянно совершенствуются, но для понимания процесса коммуникации, представленного на рис. 3, достаточно письменного текста. Дикарь, глядя на бесценный текст Платона и даже не подозревая о существовании письменного языка, не увидит в нем ничего, кроме разных по форме пятен, находящихся в разных пространственных отношениях друг к другу. В лучшем случае он примет их за геометрический узор для своей будущей татуировки. Дикарь может задать вполне философский вопрос: что представляет собой это ваше объективное знание и где оно находится?

Чтобы ответить ему, вспомним гениальную мысль Ньютона: «Природа не роскошествует причинами». Она позволяет предположить, что механизм, посредством которого субъективное знание учителя через письменный язык превращается в субъективное знание ученика, в более простых формах работает и на более низких уровнях развития материи, где его значительно легче понять. Рассмотрим с этой целью передачу генетической информации от родителей к детям.

Четыре азотистых основания – аденин, гуанин, цитозин и тимин – генетики называют буквами, которыми записан генетический код будущего ребенка. В самом этом генетическом «тексте» непрофессионал увидит не больше, чем дикарь в письменном: «буквы» (азотистые основания) и отношения между ними. Этого сходства вполне достаточно, чтобы ответить на философский вопрос нашего дикаря.

В генетическом «тексте» содержится не сам организм ребенка, а *возможность* его возникновения, которая превращается в действительность лишь в организме матери. По аналогии можно заключить, что в письменном тексте, состоящем из букв и отношений между ними, также содержится не само субъективное знание, а лишь *возможность* его возникновения, которая превращается в действительность в сознании человека. Отсюда следует, что заключенную в письменном тексте возможность возникновения субъективного знания ученика так же некорректно назвать объективным знанием, как и заключенную в зиготе возможность возникновения человека – человеком. И когда Поппер называет «со-



держание журналов, книг и библиотек» объективным знанием, он, на мой взгляд, совершает ту же методологическую ошибку, что и преформисты, утверждавшие, что зародыш уже заключен в половой клетке и его дальнейшее развитие состоит лишь в увеличении в размерах.

Историческая заслуга преформистов в том, что они поставили вопрос о механизме передачи генетической информации от одного поколения к другому и дали исторически и логически первый ответ на него. Историческая заслуга Поппера в том, что он поставил вопрос о гносеологическом механизме передачи субъективных знаний (а только эту форму существования информации я предлагаю называть знанием) от одного лица к другому и также дал исторически и логически первый ответ на него.

То, что попперовская теория третьего мира находится примерно на том же методологическом уровне, что и учение о наследственности во времена А. Левенгука, вполне объяснимо. Методологическое отставание исследования абстрактных сущностей от исследования материальных объектов закономерно. Достаточно вспомнить, что идеализация как метод исследования, введенная в естественные науки Галилеем еще в XVII в., в исследовании социальных отношений была применена Марксом лишь в XIX в., за что он и получил титул Галилея общественных наук.

Но, признав заслугу Поппера в исследовании механизма передачи субъективного знания от одного лица к другому, его работу нужно продолжить. Письменный текст не просто аналогичен генетическому. Он *родственен* ему. Это два вида одного рода. И именно их родство позволяет увидеть, что интуиция ведет Поппера в правильном направлении, когда он включает в свой третий мир наряду с содержанием письменных текстов и проблемные ситуации, критические рассуждения и теоретические системы. В зиготе в возможности заключены не только анатомия, физиология и психология будущего человека, но и в определенных пределах его биография. В письменных текстах Платона в возможности существуют не только его мысли, но и логические следствия из них, противоречия между ними и, следовательно, будущие дискуссии и концепции, рожденные в ходе этих дискуссий. Именно это имел в виду А.Н. Уайтхед, говоря, что вся история философии – это комментарии к Платону.

Третий мир Э.В. Ильенкова. Есть еще один претендент на роль третьего мира, существующего рядом с природной действительностью и человеческим сознанием. В.А. Лекторский в личной беседе со мной показал, что в качестве такового выступает идеаль-



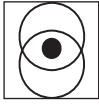
ное в смысле Э.В. Ильенкова. Я с благодарностью включаю эту идею в содержание статьи.

Мысль, что для понимания природы познания необходимо наряду с объективным и субъективным признать существование еще и мира объективного разума (objective mind) или объективного знания (objective knowledge), Поппер высказал в 1967 г. и разрабатывал ее около 20 лет, сведя в конце концов мир объективного разума к человеческой культуре. Мысль, что материальной системой, «функцией и способом существования которой выступает идеальное», является не один только мозг, который находится «под черепной крышкой индивида», но и «общественный человек в единстве с тем предметным миром, посредством которого он осуществляет свою специфически человеческую жизнедеятельность» [Ильенков, 1962: 221], Э.В. Ильенков высказал в конце 1950-х гг. Он разделил идеальное на объективное и субъективное и исследовал отношения между ними. Так что перед нами два изложения одной идеи и вполне уместен вопрос о приоритете.

Итог. Я проделал чисто аналитическую часть работы: различил трех претендентов на статус третьего мира: мир онтологии живого субъективного знания; попперовский мир застывшего «объективного знания» и мир человеческой культуры в целом, в которую и субъективное знание, и его онтология, и «объективное знание» входят как части в целое. Теперь можно приступать к синтетической части исследования – выявлению тончайших диалектических взаимосвязей между этими мирами.

Библиографический список

- Галилей, 1964 – *Галилей Г.* Избранные труды. В 2 т. М.: Наука, 1964. Т. 1.
Илларионов, 2007 – *Илларионов С.В.* Теория познания и философия науки. М., 2007.
Ильенков, 1962 – *Ильенков Э.В.* Идеальное // *Философская энциклопедия*. Т. 2. М., 1962.
Койре, 1985 – *Койре А.* Очерки истории философской мысли. М., 1985.
Левин, 2011 – *Левин Г.Д.* Проблема истинности восприятий // Он же. Истинность и рациональность. М., 2011.
Платон, 1971 – *Платон.* Государство // Он же. Соч. В 3 т. Т. 3 (1). М., 1971.
Платон 1970 – *Платон.* Парменид. 134а // Платон. Соч. Т. 2. М., 1970.
Поппер 2002 – *Поппер К.Р.* Объективное знание. Эволюционный подход. М., 2002.
Смирнов, 1962 – *Смирнов В.А.* Генетический метод построения научной теории // *Философские вопросы современной формальной логики*. М., 1962.



Смирнов, 1983 – *Смирнов В.А.* О достоинствах и ошибках одной логико-философской концепции (критические заметки по поводу теории «языковых каркасов» Р. Карнапа) // *Философия марксизма и неопозитивизм.* М., 1983.

Степин, 2000 – *Степин В.С.* Генетически-конструктивный метод // *Новая философская энциклопедия.* Т. 1. М., 2000.

Фихте, 1993 – *Фихте И.Г.* Ясное, как Солнце, сообщение широкой публике о сущности новейшей философии // *И.Г. Фихте. Соч.* В 2 т. Т. 1. СПб., 1993.

Hintikka, 1974 – *Hintikka J., Remes U.* *The Method of Analysis. Its Geometrical Origin and its General Significance.* Dordrecht ; Boston, 1974.



ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ «ПРИНЦИПА УДОВОЛЬСТВИЯ»

Александр Владимирович Емельянов – кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных технологий и журналистики Камского института гуманитарных и инженерных технологий.
E-mail: avemfurm@yandex.ru

В статье исследуется приложение «принципа удовольствия» к границам и категориям феноменологии жизненного мира человека. Переживание удовольствия рассматривается как событие «открытия мира», как способ бытия человека и разновидность эмоций, носящих феноменальную природу. Исследуются языковые интерпретации данного явления, внутри и посредством которых раскрывается опыт гедонистического переживания. Феноменологический подход к анализу удовольствия функционирует в русле подходов, исследующих влияние эмоций на познание и понимание человеком мира, взаимообусловленность познавательных актов и телесно-чувственной природы человека. Исследование опыта удовольствия происходит с привлечением ряда трактовок, в том числе Г. Гадамера, Ж.П. Сартра, Р. Барта и др.

Ключевые слова: переживание удовольствия, жизненный мир человека, сознание человека и его конфигурации, феноменальная природа эмоций, ценности общества, роль эмоций в процессе познания.

PHENOMENOLOGICAL INTERPRETATION OF THE «PLEASURE PRINCIPLE»



Alexandr Emelyanov – candidate of philosophy, associate professor of the Department of Humanitarian Technologies and Journalism of Kamsky institute of humanitarian and engineering technologies.

The article deals with the application of the «pleasure principle» to borders and categories of phenomenology of the man's life world. Experience of pleasure is considered as an event of «world's opening», as a way of a man being and kind of emotions having phenomenal nature. Language interpretations, through which the hedonistic experience reveals, are studied. Phenomenological approach to the analysis of the «pleasure principle» is compared and contrasted with the psychoanalytic approach. The reference to the phenomenological interpretation could be explained by the need to study this phenomenon in the broader philosophical, metaphysical, linguistic approaches. Pleasure experience in this regard is presented as an event of «world's opening», «involvement to the world»; it presents a wide range of subject intentionality. The article emphasizes that the experience of pleasure is not a single thing, but it varies depending on the configuration of the living world. A man knows the «pleasure principle» owing to experiences of fun, joy, lust, happiness; all these states transmit various shades of hedonic experiences.

Phenomenological approach to the analysis of pleasure operates in line with the approaches, which reveal the influence of emotions on human knowledge and understanding of the world, the interdependence of cognitive acts and bodily-sensual nature of man. The article considers phenomenological interpretations of pleasure by H.G. Gadamer, J.P. Sartre, R. Barthes, etc.

Key words: pleasure experience, life world, human consciousness and its configurations, the phenomenal nature of emotions, values of society, the role of emotions in the learning process.



Удовольствие – одно из центральных понятий, характеризующих ценностную палитру современного общества. Говоря словами М. Фуко, феномен удовольствия оказался проблематизирован: подобно тому как в предыдущие эпохи человек знал себя существом, способным к разуму, вере, производству, в XX в. (а в известной степени и в XXI) оказались актуализированы феномены, связанные с испытанием и переживанием человеком удовольствия. Феномен человека наслаждающегося, потребляющего востребован в многочисленных дискурсах – от теоретических аксиологем философии наподобие «соблазна» Ж. Бодрийяра или «машин желания» Ж. Делёза и Ф. Гваттари до феноменов массовой культуры, эксплуатирующих образы гедонизма, сексуальности, потребительства и т.д. Удовольствие и наслаждение в культуре рассматриваются как необходимые элементы ценностного бытия человека, более того – как элементы, без которых не мыслится все остальное и которые влияют на прочие процессы, в том числе познавательные, культурные, экономические, идеологические.

Исследование феномена «человека гедонистического» предполагает широкий спектр концепций: начиная с того, что ценности удовольствия издавна становились объектом в первую очередь этической рефлексии со времен киренаиков и эпикурейцев, и заканчивая психоанализом, благодаря которому в обиход вошло собственно понятие принципа удовольствия, а З. Фрейд называл данное переживание «самой темной и недоступной областью психической жизни человека» [Фрейд, 1990: 382]. Психоанализ ввел и сформировал образ человека, в чьей жизни сексуальные переживания являются центральными для организации всей психической жизни, определяют практически все стороны бытия и проявления человека. Переживание удовольствия затрагивает в том числе когнитивные аспекты деятельности человека, встраивается в системы познания, понимания, интерпретации мира и событий. Данные послы не прошли мимо и оказались задействованными в феноменологических интерпретациях природы человеческой психики и психических актов. В частности, речь шла о перепонимании взаимосвязи разума и чувственности, их взаимообусловленности. В рамках феноменологии принцип удовольствия понимался как механизм, задействованный в системах познания, восприятия мира, формирования психических актов, таковым он предстал в работах Г. Гадамера, Ж.П. Сартра, М. Мерло-Понти и др.

Особенность анализа «принципа удовольствия» и необходимость его интерпретации в рамках феноменологии заключается в том, что он предстает не только и не столько эмоцией, частной раз-



новидностью переживаний человека. В отношении к удовольствию (а если шире – к эмотивизму, эмоционально-ценностной сфере жизни человека [Мирошников, 2007]) протекают когнитивные, познавательные процессы: если в классических парадигмах познания, одним из представителей которых являлся Р. Декарт, процессы познания рассматривались как независимые от телесно-чувственной природы, то в неклассических, характерных уже преимущественно для философии XX в., познание и понимание человеком мира протекает при участии и непосредственном воздействии телесного опыта. Это видение можно было бы обозначить таким образом: думает и мыслит человек, но не его «мозг» (по аналогии с «мыслящей машиной»), а результаты познавательных актов существуют и воплощаются в различных конфигурациях жизненного мира человека, являющихся чувственно-телесной формой бытия. Феноменологический способ видения мира соединял, с одной стороны, когнитивную активность и сферу бытия с эмоционально-чувственной составляющей, а с другой – не позволял рассматривать последнюю в отрыве от прочих интенциональностей человека, предполагая синтетический подход. В этом заключается отличие в трактовке удовольствия, в частности, от психоаналитической версии данного явления, в русле перепонимания которой строится настоящая концепция.

В отличие от психоанализа, предполагающего медицинизацию дискурса о человеке, рассматривающего человеческую чувственность – многочисленные переживания страха, восторга, экстаза, удовольствия, страдания и др. – преимущественно с точки зрения глубинных, организмических процессов (в терминах невроза, либидо, сублимации и т.д.), феноменология предполагает взгляд «с поверхности», идею внешнего как исходную точку анализа. Если исходным посылом психоанализа является исследование психики как детерминированной требованиями «Оно» и «Сверх-Я», то феноменология обращается скорее к опыту внешнему – тому, что находится метафизически «на поверхности», что принципиально открыто и функционирует по своим законам. Здесь в триаде Оно–Я–Сверх-Я выделяется опыт собственно Я как самодостаточный и недетерминируемый, и внутри этого опыта и обнаруживаются базовые переживания человека, в том числе переживание и ценность удовольствия. В этой связи феноменология наследует традициям, заложенным еще Ф. Ницше, подчеркивавшим, что нужно «храбро оставаться у поверхности, у складки, у кожи, поклоняться иллюзии, верить в формы, звуки, слова, в весь Олимп иллюзии» [Ницше, 1993: 132].



Как известно, психоанализ предполагал сексологическую трактовку удовольствия и одновременно природы человека. Фрейд и его последователи исходили из того, что человеческой психикой движет темное, бессознательное ядро личности, которое называется «принципом удовольствия», последнее редуцируется к сексуальности, к телесному опыту физических контактов с другими людьми, в которых оказываются задействованными соответствующие органы наслаждения. К состояниям удовольствия человек стремится всем ходом своей жизни, организуя жизненные ситуации таким образом, чтобы получать как можно большее по длительности и интенсивности наслаждение. Принцип удовольствия диктует всю организацию человеческого бытия: круг общения, друзей, выбор сексуального партнера, идеи, мысли и образы, которые создает и которыми руководствуется человек. Он представляет собой совершенно автономное образование, которое никак не связано ни с общественной целесообразностью, ни с требованиями морали, разума, это – человеческое «все» в человеке, которое задает все остальные структуры жизни. (Выстраивая свою систему таким образом, Фрейд поступал по аналогии с марксизмом, провозгласившим экономический базис основой общества и человека. Здесь точно таким же базисом выступила сексуальность и сексологическая практика.)

Основные вопросы, обычно адресованные психоанализу, сводятся к достаточности и обоснованности редукции всех видов деятельности человека к сексуально-эротическим детерминантам. Оказывается ли, в частности, удовлетворительным и исчерпывающим объяснение удовольствия только через организмические процессы (много версий подобного подхода можно обнаружить у А. Лоуэна, который определял удовольствия как «ощущение свободных движений в теле – открытия, достижения, установления контакта» [Лоуэн, 2000: 105] либо как «биологическое расширение», сопровождающее «поток энергии от центра к периферии» [Лоуэн, 1996: 42], и др.). Насколько исчерпывающе психика оказывается связанной с телесными влечениями и всегда ли именно в таком контексте необходимо объяснять в том числе и эмоциональные процессы? Феноменологический способ видения эмоций предлагал иные трактовки и иные объяснительные модели, в большей степени затрагивающие философские, метафизические, языковые основания опыта удовольствия.

Метод феноменологии подчеркивает свою связь с восстановлением собственно философского метода, как он был заложен еще Сократом и Платоном. В русле данной традиции лежит интерпретация Гадамером платоновского диалога «Филеб» в работе «Диа-



лектическая этика Платона», где раскрываются понятия удовольствия и способы, в которых оно предстает в жизненном мире и в актах познания человека. Это оказалось связано со знаменитым платоновским учением об истине как а-летичности, непотаенности бытия, метафизике открытия и сокрытия мира.

Платон (и Гадамер) раскрывают специфическую ситуацию пребывания в удовольствии как онтологию истинного, непотаенного бытия, связывают эмоцию, чувство удовольствия с онтологией познания и понимания мира. Согласно рассуждениям Сократа в диалоге «Филеб» [Платон, 1971], удовольствие можно определить как чувство или ощущение, возникающее в результате восстановления нарушенного телесного единства или душевного равновесия. В том случае, когда человек голоден или испытывает жажду, удовольствие возникает в результате удовлетворения этих ощущений, когда человек на что-то надеется или чего-то хочет, удовольствие возникает в результате реализации желаемого. Таковы, по мнению Платона, основные виды удовольствия. Однако его разделенность на телесные и душевные акты кажется самоочевидной лишь на первый взгляд – более углубленный анализ выявляет их внутреннюю взаимосвязь. Всякое удовольствие есть прежде всего психический акт постольку, поскольку всякое удовлетворение потребности и желания связано с предварительной работой *воображения* – осознания того, что необходимо, как возможно достижение желаемого, каким оно будет. Это происходит вне зависимости от содержания объекта удовольствия – телесной или душевной он природы.

Возможность получения удовольствия основана на способности воспоминания и представления того, что не присутствует в настоящий момент (*anamnesis*), возникающего в свою очередь на основе *erithymia*. Последнее слово в древнегреческом языке включало ряд значений – желание, влечение, охота, любовь, страсть к чему-либо [Гадамер, 2000: 248]. Желание есть всегда желание чего-либо, что не присутствует в настоящий момент, оно не связано с чувственным восприятием здесь и сейчас, но берет источник скорее в воображении, памяти, представлениях, т.е. в феноменах сознания. Характер желания, определяющий возможность достижения объекта, конституирует удовольствие – душевное удовольствие есть *надежда* на появление желаемого объекта, душевное неудовольствие (страдание) есть *страх* вследствие отсутствия перспектив его появления. Воображаемое в желании формирует предварительное восприятие события, в котором будущее перемещается в настоящее в качестве предвкушения радости или боли.



События удовлетворения желания носят характер радости и удовольствия – желая чего-либо, человек руководствуется бессознательной памятью о предыдущих состояниях удовольствия вследствие аналогичных желаний и ситуаций. Удовольствия человека есть удовольствия души, они носят феноменальный характер, поскольку «существуют либо в воспоминании, либо в ожидании, т.е. в актах сознания» [Марков, 1999: 25].

При рассмотрении удовольствия через категории воображения, представления, содержание которых вызывает состояния радости или страдания, в философии Платона, как полагает Гадамер, был сделан фундаментальный вывод – радость и боль есть не просто состояния или чувства, а *способ открытия мира*. «Гедоне» и «люпе» (боль, скорбь) суть те способы, какими человеческое бытие понимает себя исходя из мира, в событиях предвкушения радости, предчувствия боли мир наделяется определенными свойствами. Как пишет Гадамер, «радость определяется исходя из открытости сущего в его радостности. Но поскольку сущее открывается как радостное *для...*, вместе с ним открывается и само человеческое бытие в его затронутости миром. Следовательно, исходя из открываемости того, что необходимо ожидать от мира, конституируется подлинно психический род удовольствия. Тем самым он вступает в ту же проблематику истинного, т.е. открывающегося и обманчивого, “скрывающего раскрытия”, которая в общих чертах характеризует феномен доксы» [Гадамер, 2000: 180].

Желания, исходя из Платона, носят амбивалентный характер – они могут как приводить, так и не приводить к удовольствиям. Для характеристики последнего случая Платоном используется такое понятие, как *ложное удовольствие*. Характер открываемого может быть истинным или ложным, что, по мнению Платона, зависит непосредственно от человека. «Предвкушение радости является истинным только тогда, когда оно, предвосхищая, представляет нечто радостное в качестве бытийно становящегося, ложное предвкушение радости основывается на напрасном предвосхищении того, что не наступит» [Гадамер, 2000: 197]. Истинным удовольствие будет тогда, когда человек желает исходя из возможного и вероятного, ложным – когда желается иллюзия, невероятное.

Выводы, полученные Гадамером на основе интерпретации идей Платона, позволяют взглянуть на удовольствие как феномен жизненного мира, который задан помещением человека в мир и отнесенностью к миру. Удовольствие связано с событиями откры-



тия мира – очевидности, открытости бытия; через удовольствия или страдания человек оказывается причастен миру, осуществляет его освоение. Категория «своего», как отмечает В. Бибихин, содержит в себе двойственное значение: собственность «мою» и собственность «меня»; когда человек «захватывает» вещи, вовлекает их в сферу своего бытия, он испытывает радость, состояние удовольствия от захваченности, сопричастности. Состояние захваченности, как полагает Бибихин, составляет глубочайшую тайну «своего» [Бибихин, 1997: 76]. Одной из форм переживания удовольствия является счастье: этимология последнего слова означает, что в мире есть «что-то, что делает человека счастливым, т.е. он становится частью чего-то» [Баженов, 2009: 252]. Удовольствие сопровождает феномены «хватки» и «нехватки» бытия, при этом последние выступают как желания или ожидания того, что не присутствует в настоящий момент. По своему содержанию удовольствие укоренено в способах восприятия и представления мира – поскольку последние подразумевают данное переживание в качестве необходимой составляющей части.

Удовольствие связано со сферой *желаемого, воображаемого* бытия. При подробном анализе выводов Платона и Гадамера выясняется, что человек испытывает данное переживание в рамках своих представлений о мире (феноменальных в своей основе) и эти представления теснейшим образом граничат с фантазией, образами бытия и реальности и их желаемой интерпретацией. Удовольствие связано в большей степени со сферой воображаемого, нежели реального бытия.

Феноменальный опыт удовольствия не является чем-то единым: он предстает в разных формах, функционирующих в языке под словами «удовольствие», «радость», «счастье», «наслаждение» и др., имеются тонкости в интерпретациях «чувства удовольствия», «переживания удовольствия», «ощущения удовольствия». Данные различия можно проследить в ряде концепций, позволяющих прояснить феноменологическое видение удовольствия в жизненном мире человека.

Так, Дж. Кришнамурти принципиально различает радость и удовольствие. Переживание захваченности бытием, пребывание в настоящем Кришнамурти характеризуются как ощущения радости, блаженства. В то же время рефлексия над ними носит характер удовольствия. Как считает автор, удовольствие принципиально отличается от радости, блаженства: радость возникает внезапно, спонтанно, тогда как удовольствие живет в воспоминаниях о приятных моментах радости. Чувство радости заканчивается с



включением рефлексивного момента сознания, когда человек начинает *думать* о прекрасном, сравнивать, судить; восторг радостных мгновений продлевается и поддерживается мыслью. Мысль и память стремятся вернуть пережитую радость, и этот процесс воспринимается как доставляющий удовольствие [Кришнамурти, 1991]. Аналогичные идеи в своей антропологической философии высказывает И. Кант: «Чувство... удовольствия или неудовольствия в настоящем состоянии, не оставляющее в субъекте места для размышления (разумного представления о том, следует ли отдаться этому чувству или противиться ему), – это аффект» [Кант, 1999: 326]. В то же время это – особого рода чувство, связанное с феноменами сознания, представления, результат определенной рефлексии над пережитыми состояниями. Далее Кант конкретизирует: «Чувство, побуждающее человека оставаться в том состоянии, в котором он находится, приятно; а то, которое побуждает его оставлять это состояние, *неприятно*. Связанное с сознанием, первое называется удовольствием (*voluptas*), а второе – неудовольствием (*taedium*). Как аффект, первое называется *радостью*, а второе – *печалью*» [Кант, 1999: 331]. Удовольствие, таким образом, выступает как феномен сознания, связанный с воображением, памятью, представлениями, тогда как радость, блаженство – первоисточники удовольствия – являются чувствами-аффектами.

Р. Бартом анализируются (применительно к процессу чтения) переживания удовольствия и наслаждения, рассматриваемые как разные источники отношения к восприятию. По Барту, восприятие текста дается в двух видах ощущений – удовольствии и наслаждении. При этом наслаждение выступает в качестве антипода удовольствия. Различение удовольствия и наслаждения проходит по линии принадлежности и оппозиционности к телу культуры. Культура, культуральность есть продукт и процесс накопления, культивирования ценностей, сумма позитивного опыта человечества, знание и следование нормам и правилам. Противоположностью культуры является жизненность – спонтанное, недетерминированное, экстаичное начало. Удовольствие связано с практикой «комфортного чтения», оно дает ощущение насыщенности, чувство «наполненности культурой» – удовольствие от истины, счастливого финала, красоты форм. В качестве примера Барт приводит романы Стендаля, Пруста, Бальзака, Толстого – с их поглощающим, сюжетным, стремительным (в смысле желания дойти до конца) чтением. В тексте-удовольствии предстает дух эпохи, ценное и позитивное назначение культурных смыслов. Наслаждение вызывают тексты иного рода: прерывные, динамичные по структуре, прорвавшие



«плотину прилагательных». Наслаждение выступает как живое начало текста, текст-наслаждение вызывает «чувство потерянности, дискомфорта... оно расшатывает исторические, культурные, психологические устои читателя, его привычные вкусы, ценности, воспоминания, вызывает кризис в его отношениях с языком» [Барт, 1989: 471]. Удовольствие от восприятия художественного текста В. Подорога обозначает как становление-в-тексте. «Мы читаем... потому, что наша ограниченная телесная мерность вовлекается в текстовую реальность и начинает развиваться по иным законам, мы получаем, пускай на миг, другую реальность и другое тело (вкус, запах, движение и жест). Удовольствие зависит от этих перевоплощений, от переживания движения в пространствах нам немерных, ведь читая, мы нарушаем множество запретов, в том числе и базисный запрет на изменение единства личностного Я» [Подорога, 1993]. В переживании удовольствия человек, таким образом, испытывает расширение границ мира, мысленно преодолевает собственную пространственно-временную ограниченность, и это преодоление доставляет наслаждение.

Перечисленные особенности характеризуют феноменологические подходы к восприятию явления: как оно дается в опыте сознания, как выступает через язык и связано с языком. В свете феноменологии переживание удовольствия не есть нечто единое и универсальное, чему имеется однозначная интерпретация, но всегда задано специфической ситуацией пребывания в жизненном мире и ситуацией отношения к миру.

Феноменология оказалась тем направлением в философии, которое ввело собственную категориальную сетку понятий, куда были вписаны и получили нетривиальную интерпретацию традиционные объекты философского анализа – сознание, мышление, бытие и т.д. Это, в частности, такие понятия, как жизненный мир, интенциональность, повседневность; понятые через них мышление и бытие оказались жестко привязаны к ситуации здесь-теперь, к тем конфигурациям скорее локального, нежели глобального смысла, в которых человек открывал мир и оказывался причастен миру. Это в полной мере касается и эмоциональных проявлений человека, в частности переживания удовольствия: последнее в феноменологии представало в категориях жизненного мира «человека в удовольствии», жизненного мира, обнаруживаемого в разных эмоциональных проявлениях, эмоций как той основы, в которой обнаруживается основание бытия субъекта. Центральный тезис феноменологии применительно к эмоциям заключен в том, что чувства и переживания включены в ситуацию бытия, не являясь изолированными



эмоциями в психологическом смысле. Человек изначально оказывается включен в мир, и именно через аффекты взаимодействия обнаруживает собственное бытие, в том числе бытие в контексте каких-либо эмоциональных переживаний. Последние с точки зрения феноменологов (Сартра, Мерло-Понти, Гуссерля) нет смысла рассматривать лишь как психологические данности, имеющие происхождение в физиологических реакциях, темпераменте и т.д.

Чувственная включенность в мир отражает, с одной стороны, аффективный способ отношения к нему, а не только и не столько когнитивный, а с другой – то, что мир предстает именно в чувственном восприятии, т.е. дается в контексте переживаний удовольствия, страха, радости, страдания и т.д. Как отмечал В. Дильтей, «жизнь отображается в сменяющихся формах положительного и негативного действия, в побуждениях, удовольствии, одобрении [потребностей]; предметы, конструируемые надолго, становятся носителями возникшего содержания актов воспоминания о чувствах, и они репрезентируют собой лишь возможности многообразных душевных состояний» [Дильтей, 1995: 138].

Сартр в работе «Воображаемое» доказывает, что воспринимаемые объекты мира, в частности воспринимаемый образ какого-либо предмета, никогда не даются изолированно от чувств. Объекты внешнего мира познаются не сами по себе, в своей изолированности или «самобытии», но всегда как объекты «для меня», объекты интереса, желания, страсти, ненависти. Например, думать о человеке (Поле) – значит осознавать его как ненавистного, раздражающего, симпатичного, вызывающего беспокойство, привлекательного, отталкивающего, т.е. как приносящего удовольствие или страдание. «Не существует, – пишет Сартр, – никаких аффективных состояний, то есть неких инертных содержаний, влекомых потоком сознания и время от времени, в силу случайного сопряжения, закрепляющихся в представлениях. Рефлексия говорит нам об аффективных *сознаниях*. Радость, тоска, меланхолия – суть сознания. И мы должны применять к ним основной закон сознания: всякое сознание есть сознание чего-либо... Чувства имеют особую интенциональность, они представляют собой один из способов *трансцендировать* себя» [Сартр, 2001: 143]. Посредством аффективности обнаруживается и конституируется как бытие другого, так и собственное бытие – в первом случае объект-другой познается в качестве источника любви, желания, ненависти, интереса и т.п., во втором случае собственное бытие обнаруживается в акте направленности, захваченности, характеризуемое через удовольствие или страдание.



Опыт познания мира и участия в мире раскрывают интенционального субъекта. Последний не равен классическому субъекту познания постольку, поскольку сама познавательная деятельность существует как часть жизненного мира и как часть мира удовольствий и страданий. Следуя логике Сартра, жизненный мир человека следует понимать как онтологическую заданность человеческого существования в каждый данный момент. Эта заданность детерминирована чувственным сознанием, сформированным в предшествующем опыте. Посредством участия в мире в актах интенции человек проецирует свои желания, воления, представления; эффект данной проекции формирует аффективное сознание об объекте, которое входит в опыт. Проекция, интенционирование обогащают сознание и опыт, выводят его на новую ступень. Так происходит *пере-жизвание*, т.е. постоянное обновление жизни, работа по приданию смысла окружающим ситуациям и предметам бытия, совпадающая с участием в мире.

Переживание удовольствия выступает частью процессов, характеризующих познание и понимание человеком мира, прежде всего в эмоционально-ценностных аспектах. Это осмысливается в ряде философских течений: как отмечает Ю. Мирошников, «если рационалистическая гносеология обособляла субъект и объект друг от друга, то интуитивизм и иные современные философские школы, например экзистенциализм, стали отождествлять знание с переживанием. Весь мир открывается в феноменах, а не скрывается как сущность за явлением» [Мирошников, 2007: 135]. В истории философии проблему вписывания эмоций в познавательную сферу человека можно было бы обозначить как проблему соотношения разума и чувства, когнитивных и эмоциональных компонентов в жизненном мире человека, их взаимовлиянии. Так, здесь возможны вопросы: могут ли под влиянием эмоций делаться познавательные, научные открытия, каковы место и роль в процессах познания интуиции, ситуаций озарения и т.п., несущих в себе следы эмоциональных проявлений человека. Либо же наоборот: можно ли сознательно управлять эмоциями и в каких пределах, насколько «инстинктивны» основные эмоции, в том числе рассматриваемый принцип удовольствия, как это представлялось психоанализу. Различные историко-философские модели вариативно описывали эти формы: если в эпистемологических системах наподобие Р. Декарта чувства рассматривались как природные феномены, не имеющие отношения к познанию и культуре, то уже у Б. Спинозы эмоции (страсти души) рассматривались как культурные феномены, имеющие отношение к интеллектуальной сфере и способам постижения



мира. В дальнейшем этот способ осмысления эмоций был продолжен у А. Бергсона, Ж. Делёза и др.

Переживание удовольствия имеет ценностное и гносеологическое значение в первую очередь благодаря формам познания мира. Как писал Б. де Фонтенель применительно к научному познанию, ученый принимает идею, появившуюся в его сознании, потому что она доставляет ему удовольствие. Оно похоже на эстетическое наслаждение, но соединено с восприятием не художественных предметов, а предметов интеллектуального созерцания. Это «смех ума», «удовольствие, получаемое от созерцания звезд, заключено где-то в разуме и заставляет смеяться только наш ум». Ученые XX в. в научном познании отмечали роль таких феноменов эмоциональной сферы, как любовь (упоение и даже страсть) к предмету научного исследования, догадке, которая вдруг осенила, избранной профессии и т.д. [Мирошников, 2007: 146] По словам М. Баженова, примерами отношения к миру человека, испытывающего (или переживающего) удовольствие, является «познавательная и предметная деятельность и переживание какой-либо страсти. Действующий и познающий субъекты – вроде бы снаружи ситуации деятельности, но ориентированы на то, что происходит внутри нее... Предмет деятельности, рациональность самого действия диктуют человеку его поступки. Такой труд – самозабвенный: это труд, в котором индивид “забывает” себя в деятельности, растворяется в ней, отождествляя себя со всем ее существом» [Баженов, 2009: 255].

В свете изложенных идей переживание удовольствия представит как нечто, имманентно присущее бытию человека, сопровождающее процессы познания мира, восприятия мира, бытия человека в мире. Из выводов Гадамера, восходящих к Платону, следует, что мир открывается и закрывается благодаря переживаниям удовольствия или страдания; страдающий человек, в частности, не способен взглянуть на мир объективно, страдание как бы закрывает подлинность восприятия. Воспринимая и познавая какие-либо объекты – людей, вещи, ситуации, – человек всегда в этом процессе задействует чувственную конфигуративность, которая имеет внешнюю, проецируемую вовне природу.

Феноменологическое видение принципа удовольствия рассматривает это переживание не просто как чувство и эмоцию, находящуюся в «глубинной природе человека», как это виделось психоанализу. Удовольствие представляет собой способ бытия человека в его отношении к миру, способ трансцендирования, интенциональности человека. Бытие не индифферентно к чувствам, человек вос-



принимает мир в модусах удовольствия и страдания, что формирует онтологическую проецируемость человека. Соответственно мир предстает как «о-своенный» и «при-своенный», «открывающийся и скрывающийся», вызывающий ощущения «хватки» и «нехватки» бытия. И чувства человека, и окружающий мир выступают в отношениях взаимной конфигуративности, формируя феноменологическое видение эмоций. Так, можно интерпретировать знаменитую «американскую улыбку»: как знак удовольствия, изобретенный в целях сбалансирования целей и ценностей в мире конкуренции, бизнеса, как элемент, подразумевающий функционирование социума в целом именно в таком качестве.

Библиографический список

- Баженов, 2009 – *Баженов М.В.* Бытие стыда. Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 2009.
- Барт, 1989 – *Барт Р.* Удовольствие от текста // Р. Барт. Избранные работы. М. : Прогресс, 1989.
- Бибихин, 1997 – *Бибихин В.В.* Свое, собственное // Вопросы философии. 1997. № 2.
- Гадамер, 2000 – *Гадамер Г.Г.* Диалектическая этика Платона. СПб. : С-Петербургское филос. общество, 2000.
- Дильтей, 1995 – *Дильтей В.* Категории жизни // Вопросы философии. 1995. № 10.
- Кант, 1999 – *Кант И.* Антропология с прагматической точки зрения. СПб. : Наука, 1999.
- Кришнамурти, 1991 – *Кришнамурти Дж.* Свобода от известного. Киев : София, 1991.
- Лоуэн, 2000 – *Лоуэн А.* Терапия, которая использует язык тела. СПб. : Речь, 2000.
- Лоуэн, 1996 – *Лоуэн А.* Физическая динамика структуры характера. М. : Компания Пани, 1996.
- Марков, 1999 – *Марков Б.В.* Истина и удовольствие // Философия пира: опыт постижения. СПб. : Летний сад, 1999.
- Мирошников, 2007 – *Мирошников Ю.И.* Аксиология. Концепция эмотивизма. Екатеринбург : УрО РАН, 2007.
- Ницше, 1993 – *Ницше Ф.* Веселая наука // Ф. Ницше. Избранные произведения. М., 1993.
- Платон, 1971 – *Платон.* Филеб // Платон. Соч. В 3 т. М. : Мысль, 1971.
- Подорога, 1993 – *Подорога В.А.* К вопросу о мерцании мира // Логос. 1993. № 4.
- Сартр, 2001 – *Сартр Ж.П.* Воображаемое. Феноменологическая психология восприятия. СПб. : Наука, 2001.
- Фрейд, 1990 – *Фрейд З.* По ту сторону принципа удовольствия // З. Фрейд. Психология бессознательного. М. : Просвещение, 1990.



ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ФЕНОМЕНА ДИСКУРСА

Вячеслав Тависович Фаритов – кандидат философских наук, доцент кафедры философии Ульяновского государственного технического университета.
E-mail: vfar@mail.ru

Цель статьи состоит в онтологическом анализе одного из наиболее знаковых в современной философской и научной мысли концепта дискурса. Рассматривается проблема взаимоотношения дискурса и реальности, дискурса и языка. С позиций современных онтологических подходов дискурс трактуется как феномен, объединяющий базовые оппозиции классической онтологии, такие, как бытие и сознание, реальность и язык. Дискурс не является продуктом ни бытия как такового, ни языка самого по себе. Он возникает на стыке этих феноменов, в проблемном поле, порождаемом их взаимным притяжением и взаимным отталкиванием. Так понимаемый дискурс представляет собой одну из основных единиц анализа неклассической онтологии, характеризующейся тенденцией к преодолению схем и моделей классической метафизики.

Ключевые слова: дискурс, способ бытия, онтология, сознание, язык, реальность.

ONTOLOGICAL STATUS OF THE PHENOMENON OF DISCOURSE



Vyacheslav Faritov – PhD, Docent at the Department of Philosophy, Ulyanovsk State Technical University.

The aim of this article is an ontological analysis of one of the most important concepts in the modern philosophical and scientific thought – concept of discourse. The problem of relations between discourse and reality, discourse and language is considered. From the standpoint of modern ontological approaches discourse is treated as a phenomenon that combines the basic oppositions of classical ontology, such as being and consciousness, reality and language. The discourse is not the product of any being as such, neither the language itself. It occurs at the intersection of these phenomena in the problem field created by their mutual attraction and mutual repulsion. So understood discourse is one of the main units of analysis of non-classical ontology, characterized by a tendency to overcome the schemes and models of classical metaphysics. Inclusion of the concept of discourse in the scope of ontological research allows implementing a new approach to the solution of the basic problems of ontology: the problem of correlation between being and thinking, language and reality, ideal, meaningful and material, corporeal. Discourse is a phenomenon wherein the abovementioned oppositions come to the identity, which simultaneously contains the difference. The opposites, on which basis the ontological teachings of classical type are built, are contained in discourse in repealed form. Therefore, discourse can be used as one of the basic concepts in modern non-classical ontology.

Key words: discourse, way of being, ontology, consciousness, language, reality.

Для современных исследований в области философии большое методологическое значение имеет различие между классическими и неклассическими онтологическими системами. Классическая онтология ориенти-



рована на поиск и раскрытие единого и универсального основания бытия. Онтология неклассического типа характеризуется интенцией на выявление множества гетерогенных способов бытия, не сводимых к единому фундаменту и не обладающих субстанциальным характером, т.е. не являющихся множеством первоначал. Тенденции и установки неклассической онтологии можно обнаружить у Ф. Ницше, позднего Л. Витгенштейна, в концептуальных разработках постструктурализма и социального конструктивизма, в синергетическом подходе. Возникает вопрос: какие категории могут выступать в качестве основных единиц анализа в неклассической онтологии? Очевидно, что категории классической онтологии, такие, как субстанция, трансцендентальное сознание, бытие как таковое, не подходят для этой цели. Поэтому одним из наиболее существенных моментов формирования неклассической онтологии является поиск концептуально-категориального аппарата, позволяющего осуществить выход за пределы горизонта классической онтологии. Значимым проявлением этого поиска выступает лингвистический поворот в философии, так или иначе затронувший многие направления XX в. [Касавин, 2008; Марков, 2001].

В целом смысл лингвистического поворота можно проинтерпретировать как обращение философии от проблем сознания и общественного бытия к той сфере, которая обеспечивает их корреляцию, – к языку. Однако язык сам является одной из сфер бытия и его абсолютизация в конечном итоге приводит лишь к замене одного постулируемого начала другим. Язык как таковой – это универсальная инвариантная структура, обеспечивающая тождество и единство всего мыслимого и высказываемого. Метафизика языка, в основе своей разработанная поздним М. Хайдеггером и Х.Г. Гадамером, остается на полюсе классической онтологии. Утверждение языка в качестве «дома бытия» поддерживает оппозиции по существу трансценденталистского характера: языка и сознания (в качестве более частного варианта – мышления), языка и речи (структуралистский вариант), языка и реальности (социальной или природной), языка и бытия. В данном случае один из членов оппозиции обнаруживает тенденцию к занятию первичной по отношению к другому позиции, когда один выступает в качестве онтологического основания другого. В связи с этим язык как таковой не может выступать в качестве базовой категории онтологии неклассического типа. Лингвистический поворот не должен оставаться только лингвистическим, о чем свидетельствуют установки на выход за пределы сугубо языковой сферы в таких философских



концепциях, как теория речевых актов, теория языковых игр, постструктуралистские теории дискурса. «Вторая волна» лингвистического поворота характеризуется установкой на преодоление понимания языка как сугубо лингвистического и/или логического феномена.

Одним из первых на несоизмеримость, а следовательно, и несводимость к единой языковой системе речевых высказываний указал М. Бахтин. Результатом его рассуждений становится смещение акцентов с языка на отдельные высказывания или речевые акты: «Речь может существовать в действительности только в форме конкретных высказываний отдельных говорящих людей, субъектов (этой) речи. Речь всегда отлита в форму высказывания, принадлежащего определенному субъекту, и вне этой формы существовать не может» [Бахтин, 2000: 263]. Сходную тенденцию можно обнаружить, например, у Дж. Сёрла: «Вопреки распространенному мнению основной единицей языкового сообщения является не символ, не слово, не предложение и даже не конкретный экземпляр символа, слова или предложения, а *производство* этого конкретного экземпляра в ходе совершения речевого акта. Точнее говоря, производство конкретного предложения в определенных условиях есть иллокутивный акт, а иллокутивный акт есть минимальная единица языкового сообщения» [Серл, 2004: 57]. Далее в этом ключе следует упомянуть Витгенштейна. Если Витгенштейн в «Логико-философском трактате» говорит о границах *языка* как о границах мира, то поздний Витгенштейн говорит о *языковых играх* – явлении принципиально иного порядка, нежели собственно язык. Языковая игра предполагает соотносительность языка с *ситуацией*, т.е. с тем, что выходит за пределы понятия языка как такового и приближается к феномену речи.

Таким образом, во всех указанных выше примерах наблюдается тенденция перестановки акцентов с языка как инвариантной структуры на феномен речи, находящийся в непосредственной соотносительности с конкретной ситуацией бытия говорящего. Следующим шагом на пути реализации этой тенденции является теория дискурса, зачатки которой мы снова находим у Бахтина в его концепции речевых жанров как устойчивых типических форм построения целого. Наши речевые сообщения представляют собой не произвольное и хаотическое нагромождение высказываний, а организованное, структурированное и упорядоченное производство высказываний в соответствии с многообразными и несоизмеримыми жанрами: «Даже в самой свободной и непринужденной беседе мы отливаем нашу речь по определенным жанровым фор-



мам, иногда штампованным и шаблонным, иногда более гибким, пластичным и творческим» [Бахтин, 2000: 272]. Речевые жанры не представляют собой априорные, замкнутые и фиксированные структуры, подобные кантовским категориям, а, напротив, характеризуются открытостью, подвижностью и конструктивностью. Они являются конструктами, возникающими вследствие взаимодействия множества гетерогенных факторов, а не субстанциальным основанием языка и смысла. То же можно сказать о феномене дискурса, к философскому рассмотрению которого мы сейчас переходим.

В настоящей статье перед нами стоит следующая задача: путем анализа некоторых существующих определений дискурса эксплицировать онтологическое определение дискурса, что позволит прояснить характер взаимосвязи дискурса и реальности и раскрыть его онтологический статус. Концепт дискурса обладает достаточно широким спектром определений [Касавин, 2008; Torfing, 2005: 1–32]. Для целей нашего исследования важно иметь в виду различие способов трактовки дискурса в лингвистических теориях и в философии. Данное различие не является абсолютным, поскольку лингвистическое и философское определения дискурса имеют немало точек пересечения.

Начнем с рассмотрения лингвистических определений. Н.Д. Арутюнова определяет дискурс как «связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемую как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах)» [Арутюнова, 1998: 136–137]. В.З. Демьянков предлагает следующее определение: «Discours – дискурс, произвольный фрагмент текста, состоящий более чем из одного предложения или независимой части предложения. Часто, но не всегда, концентрируется вокруг некоторого опорного концепта; создает общий контекст, описывающий действующие лица, объекты, обстоятельства, времена, поступки и т.п., определяясь не столько последовательностью предложений, сколько тем общим для создающего дискурс и его интерпретатора миром, который “строится” по ходу развертывания дискурса» [Демьянков, 1982: 7].

В приведенных лингвистических определениях феномен дискурса рассматривается как текст или фрагмент текста, однако существующий не сам по себе, но в неразрывном единстве и тесной взаимосвязи с экстралингвистическим контекстом, с тем, что при-



нято называть реальностью, миром. Перед нами, таким образом, два крайних термина, характеризующих классическую оппозицию языка и реальности, шире – мышления (сознания) и бытия: текст и внеязыковой контекст. Дискурс выступает в качестве среднего термина, который обеспечивает единство двух самостоятельно существующих феноменов. Языковеды ставят на первое место текст (или язык) как лингвистическое образование, которое затем «реализуется» в речи, в акте коммуникации, единицей которой и выступает дискурс [Сидоров, 2009]. Дискурс – «это текст, погруженный в жизнь». Уже здесь следовало бы задаться вопросом, существует ли текст, свободный от такого погружения, абсолютно независимый от жизни, мира, реальности? Бытие такого «текста-в-себе» было бы не менее проблематичным, чем бытие кантовской «вещи-в-себе». Сам текст является продуктом жизни, так же как и мышление, сознание. Трактровка дискурса как прежде всего текста составляет специфику лингвистического подхода.

Отход от сугубо лингвистического понимания дискурса в качестве текстового и/или языкового феномена представлен в трактровке дискурса, предложенной И.Т. Касавиным: «Дискурс – посредствующее звено между текстом и контекстом, позволяющее сделать один текст контекстом другого, вовлечь контекст в текст, внести элементы текста в неязыковые контексты, придать смысл тексту и окружающему миру» [Касавин, 2008: 370]. Хотя лингвистические феномены текста и контекста играют в таком определении существенную роль, для нас важно, что дискурс выступает здесь как не сводимый ни к готовому, законченному тексту, ни к контексту. Дискурс является инстанцией, занимающей промежуточное положение между двумя крайними терминами и, что особенно значимо, придающей смысл этим крайним терминам. Вне дискурса, взятые сами по себе текст и контекст не обладают смыслом.

Мы не отрицаем правомерность и ценность лингвистического рассмотрения дискурса. Однако для целей онтологического исследования методологические установки языкознания не всегда оказываются релевантными. Как и любая научная дисциплина, лингвистика осуществляет методологическое выделение в действительности одной приоритетной стороны, составляющей предмет исследования. Лингвистические теории рассматривают преимущественно один аспект существования дискурса – языковой, текстовый, коммуникативный. Наша задача – раскрыть онтологическое определение данного феномена в рамках неклассической онтологии. Если бинарная оппозиция субъект-объект представляет



собой важнейший элемент онтологии классического типа, устанавливающей иерархические отношения фундирования между двумя членами оппозиции, то неклассическая онтология характеризуется направленностью на выход за пределы такой оппозиции. Преодоление субъект-объектной модели вовсе не является «постмодернистским» трендом, кристаллизовавшимся в расхожем клише «смерти субъекта». Это – закономерный ход в развитии философского мышления, истоки которого можно обнаружить уже в гегелевской диалектике и на необходимость которого указывал, в частности, Ю.М. Лотман [Лотман, 1993: 369].

В связи с этим, имея в виду задачу поиска онтологического определения дискурса, мы не находим возможным оставаться в рамках сложившихся оппозиций мышления и бытия, продуктивных для отдельных лингвистических теорий, но неадекватных рассматриваемому здесь онтологическому подходу. В философском подходе дискурс не должен сводиться преимущественно к тексту, который потом «погружается в жизнь» через событие речи и коммуникации. Дискурс не представляет собой осуществленный в реальности текст. Скорее дискурс есть тот феномен, который в дихотомической структуре языка и реальности занимает промежуточное положение между членами бинарной оппозиции, осуществляя их синтез и взаимопереход. Философский подход, исходящий из концептуальных установок неклассической онтологии, не предполагает выделение двух противостоящих друг другу сфер бытия, но обнаруживает их онтологическую несамодостаточность (что, однако, не равнозначно полному отрицанию их существования). Выражаясь в гегелевской манере, можно сказать, что обе эти сферы суть только абстракции, моменты. Дискурс является как раз тем онтологическим феноменом, внутри которого эти сферы (языка и реальности, мышления и бытия) могут быть вычленены в качестве моментов. Затем они могут быть либо гипостазированы как самодостаточные и независимые формы бытия, либо раскрыты в своем тяготении друг к другу и одновременном взаимоотталкивании в пространстве дискурса.

В философии ближайшим образом указанная выше тенденция воплотилась в концепции М. Фуко, для которого дискурс «не является, как это можно было бы предположить, простым и прозрачным плетением словес, таинственной тканью вещей и отчетливым сочленением слов, окрашенных и доступных глазу... Дискурс – это тонкая контактирующая поверхность, сближающая язык и реальность, смешивающая лексику и опыт... анализируя дискурсы, мы видим, как разжимаются жесткие сочленения слов



и вещей и высвобождаются совокупности правил, обуславливающих дискурсивную практику» [Фуко, 1996: 49]. Оппозиционные термины языка и реальности, слов и вещей оказываются в пространстве дискурса в неразрывном сочленении, в результате чего можно утверждать, что дискурс – это не сознание, не язык и не субъект, говорящий на нем, но – специфическая практика. Вместе с тем и для Фуко дискурс является совокупностью высказываний, принадлежащих к одной и той же системе формаций. И хотя высказывание понимается Фуко не лингвистически, но онтологически (как место событий, практическая область, анонимное поле), это позволяет рассматривать дискурсивную практику в качестве одной из областей бытия, существующей наряду с «недискурсивными» практиками, такими, как различного рода учреждения, политические и экономические события и процессы [Фуко, 1996: 108, 122, 162, 168]. На другом полюсе располагается концепция Ж. Деррида, в которой все существование превращается в игру, комбинацию и перекомбинацию означающих, где означаемое выступает лишь временным эффектом, порожаемым этой игрой [Деррида, 2000].

Вопрос, таким образом, сводится к отношению дискурса и реальности. Необходимо ли выделять феномен специфически дискурсивной реальности, существующей наряду с другими способами бытия, или же вне дискурсов нет никакой реальности, подобно тому как субъективные идеалисты отрицают существование реальности вне сознания? Прежде чем давать однозначный ответ на этот вопрос, еще раз вспомним вывод, к которому мы пришли, рассмотрев некоторые лингвистические и философские определения дискурса: дискурс не представляет собой ни язык (или текст) сам по себе, ни экстралингвистический контекст (реальность, бытие), но является средним термином (в гегелевском логико-диалектическом, но не метафизическом смысле), наличие которого позволяет не только сочленять, но и вычленять оба крайних термина. Поэтому, если мы скажем, что вся *доступная нам* реальность дана и сконституирована в дискурсах, мы не станем тем самым на позицию языкового солипсизма или дискурсивного эссенциализма¹. Потому что дискурс – это не язык и не игра означающих. И дискурс – это не субстанция, не трансцендентальная инстанция, которая ставится на место гуссерлевского трансцендентального эго. Место «трансцендентального означаемого» в

¹ «Дискурс может занять место трансцендентального означаемого, которое, подобно экономике в марксизме, детерминирует социальную активность индивидов» ([Морозов, 2009: 80]).



неклассической онтологии остается проблематически пустым, в то время как дискурсы относятся к феноменальной реальности. Они конституируются, вступают в различные отношения друг с другом, переорганизовываются, рождаются и уничтожаются. Одни дискурсы возникают на основе других дискурсов, которые в свою очередь формируются на основе предшествующих дискурсов.

Вопрос о том, откуда и как возникли «первые дискурсы», равнозначен вопросу, откуда и как возникли первые языки, первые социальные организации или первые люди. Мы можем лишь строить на этот счет различные гипотезы эмпирического или метафизического характера, но точный ответ на подобные вопросы лежит за пределами возможностей нашего знания. С определенной степенью вероятности можно утверждать следующее: возникновение человека разумного не предшествует возникновению языков и социальных форм (хотя бы самых примитивных), но их формирование происходит одновременно. То же самое относится и к формированию дискурсов: человек, язык, социум возникают одновременно с образованием дискурсов, их становление представляет собой единый процесс. Вне дискурса как среднего термина неосуществимо сочленение языка, сознания и социальной реальности, а потому недопустимо предполагать время, когда человек, язык и социум существовали без дискурсов. Так же как наше существование неразрывно связано с языком и социумом, оно связано и с дискурсом и вне него может быть помыслено лишь в качестве абстракции. Более того, если язык и общественное бытие представляют собой отдельные, качественно определенные сферы бытия, то дискурс таковой сферой не является. Он есть структурное пространство встречи и расхождения языка, мышления и социальной реальности, необходимое для функционирования и взаимодействия названных сфер бытия, необходимое для образования смысла. Поэтому, говоря о дискурсивной обусловленности нашего существования, мы не осуществляем ни сведения всего сущего к одной сфере личного бытия, ни к чему-то подобному трансцендентальной области сознания, духа или бытия как такового.

Возможный упрек в редукции «всего» к языку или тексту, таким образом, снимается, если мы будем иметь в виду, что неклассическая онтология представляет собой попытку перестать мыслить метафизическими оппозициями «по себе сущего». Отказ от оппозиции реальность—сознание и обращение к дискурсу как к тому, что не является ни по себе сущей реальностью, ни по себе су-



щим сознанием (мышлением, языком), дает возможность действительно иного по сравнению с классической онтологией решения основополагающих вопросов философии. При этом мы не претендуем на их окончательное решение и высказывание некой универсальной истины, но постоянно удерживаем в поле зрения перспективный характер нашего философского мышления.

Чистая, не связанная ни с какими дискурсами реальность может быть помыслена только в предельной степени абстракции, и в этом случае она будет равнозначна чистому, лишённому всякой определенности бытию, тождественность которого с ничто обосновал Г.В.Ф. Гегель. Реальность есть то, что имеет какой-либо смысл, что обладает какой-либо определенностью. Границы и характер этой определенности, критерии реальности устанавливаются тем или иным дискурсом. Например, если реальностью считается только эмпирическое или материальное, то это не что иное, как критерий, установленный соответствующим дискурсом. Если реально то, что доказуемо с помощью опыта, либо то, что соответствует законам и принципам теории, то здесь действуют критерии научного дискурса, предписывающие считать реальным то, что согласуется с его предписаниями. Дискурсов много, соответственно много критериев реальности. Однако это не означает, что реальность «только мысль», только нечто субъективное: от того факта, что она организована дискурсивно, реальность не теряет своего принудительного, интересубъективного, объективного и материального характера. Как справедливо отмечают Э. Лаклау и Ш. Муфф, «тот факт, что каждый объект конституируется в качестве объекта дискурса, никак не связан ни с вопросом, является ли существование мира внешним по отношению к мышлению, ни с оппозицией реализма и идеализма. Землетрясение или падение кирпича – события, безусловно, существующие в том смысле, что они происходят здесь и сейчас, независимо от моей воли. Но их определенность в качестве объектов, конституируемых в терминах “природных явлений” или “выражения гнева Божия”, зависит от структуры дискурсивного поля (discursive field). Отрицается не то, что такие объекты существуют независимо от мышления, но то, что они могут конституироваться в качестве объектов вне тех или иных условий, определяемых дискурсом» [Laclau, Mouffe, 2001: 108]².

Такое учреждение, как, например, тюрьма, является структурным элементом правоохранительного дискурса, поскольку

² Сходные аргументы приводятся также в [Wetherell, Potter, 1992: 65].



получает свой смысл и значимость именно в пространстве данного дискурса. Но отсюда не следует, что заключенный, осознав дискурсивный характер социального института тюрьмы, в любое время по собственному желанию может покинуть место своего заключения: металлические решетки, ограждения с колючей проволокой и вооруженные охранники являются достаточно надежными и «реальными» компонентами, обеспечивающими эффективное функционирование дискурса и принуждающими к признанию его объективности. Материальные элементы дискурса в данном примере осмысленны, осмысленные элементы материальны.

Следует также учитывать, что оппозиция языка и реальности не была присуща человечеству изначально; в мифическую эпоху, например, она отсутствовала. И вызревала данная оппозиция в течение достаточно длительного периода, полностью сформировавшись лишь к Новому времени.

Таким образом, предлагаемый в статье подход к решению вопроса о соотношении дискурса и «реальности» можно обобщить в следующих пунктах.

1. Дискурс не сводится к области слов, предложений, речи, которым можно было бы противопоставить сферу реальных действий как явления, выходящего за пределы дискурса. Действие обусловлено дискурсом, поскольку он раскрывает определенные смысловые перспективы, в рамках которых только и может быть осуществлено осознанное человеческое действие, а именно: постановка цели, очерчивание круга возможного и невозможного, дозволенного и запрещенного, приемлемого и неприемлемого, формирование проекта и отбор средств его реализации. Высказывание одного журналиста времен Великой Отечественной войны о том, что в битве под Сталинградом «сошлись две гегелевские школы» [Гулыга, 2008: 248], может служить хорошим примером, выявляющим, до какой степени дискурс не есть просто «текст», оторванный от действительной практической жизни.

2. Дискурсу также нельзя противопоставить сферу вещей – реальных, материальных – в качестве самостоятельной и независимой бытийной области. Дискурс образуется не только словами и высказываниями, но и вещами, поскольку последние также обладают значением, значимостью (в сосюрковском понимании данного термина) и смыслом. Отделить материальный предмет от его понятия (значения), отношения к другим предметам (значимости) и от смысла (как единства значения и значимости) возможно только при



абстрагирующем подходе, но не в процессе повседневного, реального обхождения. Материальность вещи нисколько не является препятствием для того, чтобы эта вещь выступала в качестве семиотической единицы. В конце концов слова и высказывания также имеют материальную субстанцию. Ничего не значащие вещи, вещи «сами по себе», нигде и никогда нам не даны. Изолированные вещи, отделенные от сети отсылок значимости, изъятые из предметных синтагм и парадигм, суть результаты абстракций, а вовсе не «вещи-в-себе». Устройство города, устройство интерьера, мода – все это примеры дискурсивных практик, действующих не только в сфере слов, но и в сфере вещей, причем так, что за пределами этих практик нам не даны ни слова, ни вещи. Даже словари и музеи представляют собой дискурсивно организованные пространства, а не нагромождение самих по себе сущих лингвистических и предметных единиц.

3. Дискурс, безусловно, имеет нечто за своими пределами. Мы не утверждаем, что все бытие исчерпывается дискурсами и кроме них ничего нет. Можно выделить по крайней мере три варианта понимания выражения «вне дискурса». Во-первых, по отношению к конкретному дискурсу или формации дискурсов внеположенным будет все то, что выходит за пределы данного дискурса или формации. В качестве такой области может выступать, например, пространство иной культуры. Позиция дискурса может быть такова, что находящееся за его пределами будет рассматриваться как лишенное какого-либо значения и даже не существующее. Однако в другом дискурсе эта область может раскрываться как имеющая вполне определенный смысл. Поэтому подобную сферу мы будем определять как относительную недискурсивность.

Во-вторых, мы можем предположить существование абсолютно недискурсивной сферы бытия – того, что не может быть раскрыто в пространстве ни одного из существующих или возможных дискурсов. Однако содержанием этой сферы будут выступать не действия и не материальные предметы (поскольку, как было показано выше, они входят в состав дискурсов), но нечто подобное кантовской вещи-в-себе. Такую трансцендентную бытийную область можно лишь проблематически допускать, но нельзя ни исследовать, ни наделять какими-либо позитивными характеристиками. С абсолютной недискурсивностью дискурсы практически не встречаются. Если мы высказываемся о трансцендентной сфере как об особом рода реальности, отличной от той, что нам может быть известна, то тем самым мы уже оказываемся в пространстве дискурса и недискурсивность от нас ускользнула. Единственное, что можно сказать о трансцендентной, аб-



солютной недискурсивности, – это то, что мы ничего не можем о ней сказать.

В-третьих, дискурсивность является одним из основных способов бытия, но не бытием вообще. Существует другой способ бытия, который позволяет выйти из-под власти дискурсов. Однако такой способ предполагает не переход в некое трансцендентное или мистическое пространство, находящееся как бы по ту сторону всех дискурсов, но бытие на границах дискурсов, или нарушение и стирание этих границ, приводящее к нейтрализации дискурсивной определенности. Такой способ бытия есть трансгрессия.

Включение концепта дискурса в сферу онтологических исследований позволяет осуществить новый подход к решению базовых проблем онтологии, прежде всего к проблеме соотношения бытия и мышления, реальности и языка, идеального, смыслового и материального, вещного. Дискурс представляет собой феномен, где все названные оппозиции приходят к тождеству, которое одновременно содержит в себе различие. Противоположности, на основе которых выстраиваются онтологические учения классического типа, содержатся в дискурсе в снятом виде. Именно поэтому дискурс может использоваться в качестве одного из основных концептов в современной неклассической онтологии.

Библиографический список

- Арутюнова, 1998 – *Арутюнова Н.Д.* Дискурс // Языкознание. Большой энциклопедический словарь. М., 1998.
- Бахтин, 2000 – *Бахтин М.М.* Проблема речевых жанров // Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук. СПб., 2000.
- Гулыга, 2008 – *Гулыга А.* Гегель. М., 2008.
- Демьянков, 1982 – *Демьянков В.З.* Англо-русские термины по прикладной лингвистике и автоматической переработке текста // Всесоюзный центр переводов. Тетради новых терминов, 39. М., 1982.
- Деррида, 2000 – *Деррида Ж.* О грамματοлогии. М., 2000.
- Касавин, 2008 – *Касавин И.Т.* Текст. Дискурс. Контекст. Введение в социальную эпистемологию языка. М., 2008.
- Лотман, 1993 – *Лотман Ю.М.* Культура как субъект и сама-себе объект // Избранные статьи. В 3 т. Т. 3. Таллинн, 1993.
- Марков, 2001 – *Марков Б.В.* Знаки бытия. СПб., 2001.
- Морозов, 2009 – *Морозов В.Е.* Россия и Другие: идентичность и границы политического общества. М., 2009.
- Серл, 2004 – *Серл Дж.* Что такое речевой акт? // Философия языка. М., 2004.



- Сидоров, 2009 – *Сидоров Е.В.* Онтология дискурса. М., 2009.
Фуко, 1996 – *Фуко М.* Археология знания. Киев, 1996.
Laclau, Mouffe, 2001 – *Laclau E., Mouffe C.* Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics. L., 2001.
Torfing, 2005 – *Torfing J.* Discourse Theory: Achievements, Arguments and Challenges // *Discourse Theory in European Politics: Identity, Policy and Governance.* NY., 2005.
Wetherell, Potter, 1992 – *Wetherell M., Potter J.* Mapping the Language of Racism: Discourse and the Legitimation of Exploitation. Hemel Hempstead, 1992.



THE ARRIVAL AND ESTABLISHMENT OF ANALYTIC PHILOSOPHY IN SPAIN¹

Juan J. Acero,
University of Granada.
E-mail: acero@ugr.es



This article summarily describes the arrival and establishment of Analytic Philosophy [= AP] in Spain. It first expounds the role played in that process by philosophers such as José Ferrater Mora, exiled after the Spanish Civil War, and by Manuel Garrido, Jesús Mosterín, Javier Muguerza, Josep Blasco y José Hierro, the proper introducers of AP in the Spanish university. Secondly, the article refers to the work developed by the introducers' former students and disciples, and holds that this second wave of AP in Spain largely helped to its consolidation. Finally, the current situation—a third wave of analytic philosophers in action—is reviewed. Its most active centres are identified, the main changes in the national scientific policy, its profound effects on academic activities for the last twenty years, and the high degree of internationalization reached by Spanish AP from the 1990s, after the founding of the Sociedad Española de Filosofía Analítica (S.E.F.A.), are concisely pointed out.

Key words: Analytic Philosophy, Spanish Philosophy, Josep Blasco, José Ferrater Mora, Manuel Garrido, José Hierro, Jesús Mosterín, Javier Muguerza

Analytic Philosophy [= AP, hereafter] arrived in Spain with contemporary studies in logic, the philosophy of science, and the philosophy of language in the 1930s and 1940s. However, the first steps to consolidate these studies were taken first in the University of Valencia and then in the (Central) University of Barcelona and the Autonomous University of Madrid in the late 1960s. The Spanish Civil War (1936–1939) and the ensuing atmosphere prevented AP from developing in Spain. When it finally found its way into university circles, it was identified with study and research in those disciplines, an identification that still persists. In this article, I prefer a less relaxed criterion, namely that an analytic philosopher is not simply one which carefully handles concepts and that meticulously argues for this or that point,² but one who believes in the analysis of language – conceptual analysis, not dictionary checking— as a necessary step towards solving problems in philosophy.³ I will refer to this metaphilosophical approach to separate analytic from non-analytic philosophy in Spain in the last 50 years. On this basis, I will distinguish three stages in the arrival and

¹ The Andalusian Council for Innovación, Ciencia y Empresa (HUM-4099) has financially supported the work that culminates in this essay. Though they do not necessarily share the views set out in these pages, I warmly thank Nieves Guasch and José Luis Liñán for their help in improving its contents and presentation.

² In Spanish philosophy this view is paradigmatically exposed in Mosterín (1989). Peña (unpublished) and Bustos (2006) are close to Mosterín's diagnosis.



establishment of AP in Spain –metaphorically speaking, waves that have brought AP’s methods, concepts and doctrines to its current condition.

Analytic Philosophy in Spain: its arrival and consolidation

During the 1940s and 1950s, Spanish philosophy was seized *en masse* by a kind of dogmatic variety of Scholasticism in which teaching was required in order to gain access to university full professorship. Other philosophical approaches, i.e. Marxist and Existentialist philosophy (of the Heideggerian and Sartrean kind), were so constrained that to be acquainted with them one had to enter private circles. This barrier even excluded the work of Spanish philosophers like Ortega y Gasset, Marías, and Zubiri. The criticism of metaphysics that Logical Positivism made much of worked against AP, because it was assumed that it challenged Catholic dogma, and the Catholic Church was a bastion of Franco’s ideology. In addition, the exile of promising figures, e.g. David García Bacca to Venezuela (in the 1930s), José Ferrater [Mora] to United States (in the 1940s) and Miguel Sánchez Mazas to Switzerland (in the 1950s), meant that AP’s first appearance in Spain was frustrated.

Among the antecedents of AP in Spain, the case of Ferrater deserves separate attention. Although his academic career was mainly held in the United States of America, his presence in Spanish universities was constant from early 1970s. His own philosophical thought deals with central questions in metaphysics, where he developed a kind of *Weltanschauung* known as integrationism (*El ser y la muerte* [*Being and Death*], 1962). Ferrater’s works abide by standards close to the analytic ones for its conceptual accuracy, argumentative rigour and the recognition that philosophy should take into account the methods and findings of science. His *Indagaciones sobre el lenguaje* [*Inquiries into Language*] (1970) and *De la materia a la razón* [*From Matter to Reason*] (1979) clearly demonstrate this.⁴ Despite that Ferrater’s thought is scarcely known today by the younger

³ I have argued for this way of understanding analytic philosophy in Acero (2011). García-Carpintero (1996: Introduction) and García Suárez (1999) are closer to Acero’s position than to Mosterin’s. Carpintero, Peña, and Bustos somewhat follow the well-known proposals of Michael Dummett’s. See Dummett (1993).

⁴ Ferrater considered himself an analytic philosopher of sorts. See his “Discurso inaugural” [“Opening Discourse”] in Blasco et al. (1973: 17–22).



generations of analytic philosophers, it was highly esteemed by Manuel Garrido, Jesús Mosterín, Javier Muguerza, José Hierro (the philosopher, not the famous poet), and Josep Blasco, who were the true main forces behind AP's arrival to Spain.

Undoubtedly, the activity and *esprit de militance* deployed by several groups of professors, lecturers, and students in the universities of Valencia, Barcelona, and the Autonomous of Madrid, in the 1960s and 1970s, opened AP to a public interested in Western thought in general. The arrival of AP to Spain is due to them. To a significant extent the success was owed to the increasing number of higher-education and university students as well as to the expanding book-publishing industry (until that time, most philosophy either written or translated into Spanish came from Argentina and Mexico). However, the identification of AP with the work in logic, philosophy of science, and philosophy of language, together with the study of the thought of very specific philosophers, like Frege, Russell, Wittgenstein, Carnap or Quine, gives a biased image of the arrival and consolidation of AP in Spain. The reason for that obliqueness is that most of those who led the process were not analytic philosophers in the strict sense. Miguel Sanchez Mazas, Javier Muguerza, Alfredo Deaño, Víctor Sánchez de Zavala, Hierro (in Madrid), Emilio Lledó, Mosterín, and Jacobo Muñoz (in Barcelona), Garrido, Blasco (in Valencia), and Miguel Quintanilla (in Salamanca) were the central figures. However, among these, only Blasco and Hierro had the right profile – Mosterín too, but to a much lesser extent (see note 2). Accordingly, the first substantial works in Spanish AP were Hierro's *Problemas del análisis del lenguaje moral* [*Problems in the analysis of moral language*] (1970),⁵ a book that resulted from Hierro's doctoral dissertation in Oxford under Richard Hare's guidance, and Blasco's *Lenguaje, filosofía y conocimiento* [*Language, Philosophy and Knowledge*] (1973), which discusses certain views on meaning, mainly those related to Wittgenstein's, which are brought to bear in language analysis. With the passage of time, Blasco's and Hierro's philosophical works have grown and enriched. Over his career, Blasco has produced outstanding work as a teacher and research director, sharing some of his published work with former students of his. Hierro soon changed from an Oxonian style of philosophy to a more naturalistic approach in which linguistics, sociolinguistics, and psychology are strategically combined. His book *La teoría de las ideas innatas en Chomsky* [*Chomsky's Theory of Inmate Ideas*] (1976) helped introduce Chomsky's work to Spanish philosophers. His naturalism is also patent in his later work.

⁵ Hierro considers 1970 to be the founding year of AP in Spain. See his Hierro (2000: 63).



Mosterín's contribution to AP in Spain is more difficult to assess than Blasco's and Hierro's. In the 1960s and 1970s Mosterín was concerned mainly with logic and the foundations of mathematics. Nevertheless, his teaching aimed at a fuller philosophical panoply, a feature of his work best reflected in his *Racionalidad y acción humana* [*Rationality and Human Action*] (1978). Mosterín's high regard for the work of Frege, Russell, Carnap, and Quine emerged in his teaching and deeply influenced many of his students. His own work in AP, including a rich production addressed to a wider public, resulted in a series of papers on the logic of scientific terms, the Spanish edition – and the first in any language – of Kurt Gödel's *Obras completas* [*Complete Works*] (1981) and the German edition of Carnap's *Untersuchungen zur Allgemeinen Axiomatik* (2000).

Muguerza's contribution to Spanish AP differs. In his influential introductory study to his edition of *La concepción analítica de la filosofía* ([*The Analytic Conception of Philosophy*] two volumes, 1974), a notable compilation of essential texts in AP, from Russell to Austin, he argues that AP was on the edge of collapsing into scholasticism, and of becoming exhausted as a source of relevant philosophical pursuits,⁶ because AP tended to ignore the idea that philosophy is “criticism, criticism, and more criticism” (Muguerza 1977: 217). His attitude spread to many of his students and colleagues philosophically closest to him, the effect of such attraction being that AP did not touch them. Despite having reiterated his dissatisfaction with AP, in 1990 Muguerza founded *Isegoría*, a philosophy journal that published a significant number of papers in and on AP during its early years. *Isegoría* focuses on questions of ethics as well as moral and political philosophy, fields renewed with substantial contributions from Muguerza. On the other hand, Muguerza's qualms about AP were not unanimously accepted. For example, his criticisms of utilitarianism were rejected by Esperanza Guisán (in Guisán 1981), and Guisán's replies turned out to be more than an isolated reaction when a new journal, *Télos*, began to be edited in the University of Santiago (in Galicia, Spain) as a utilitarian alternative to anti-analytic statements.

Alfredo Deaño's case is in some respects similar to Muguerza's (both belonged to the AP group in the Autonomous University of Madrid). His posthumous work *Las concepciones de la lógica* [*Conceptions of Logic*] (1980) was the first significant work on the philosophy of logic studied in Spanish universities. He claims that his

⁶ See Muguerza (1974). Peña has questioned Muguerza's diagnosis in his (unpublished). The claim that AP has got at a *cul-de-sac* is also rejected, though not specifically against Muguerza's view, in Liz and Vázquez (1995–1996).



book contains analytic research into the nature of logic, but he qualifies his claim by adding that he gives the term ‘analytic’ the Aristotelian meaning. Consequently, Deaño did not think of conceptual analysis as the right way of approaching problems in the philosophy of logic. In his view, logic matters insofar as it is central in a theory of human rationality and in the relationships between philosophy and scientific knowledge. This naturalistic stance is manifested even more clearly in the work and thought of Eduardo Bustos (a former student of Deaño) whose publications have dealt with linguistic phenomena such as presupposition, which have a foot set on semantics and another foot on pragmatics. Bustos contends that, although philosophy’s core has to consist of conceptual analysis, the materials that philosophical activity is concerned with must be provided by science. In his own case, faithful to such a precept, Bustos’ works have adopted a cognitivist perspective and have dealt with topics such as metaphor and the role of cognition in communication (*Lenguaje, comunicación y cognición [Language, Communication and Cognition]*, 2004).

Two journals, *Teorema* and *Theoria*, have been prominent in the establishment of AP in Spain. *Teorema* was founded by Manuel Garrido and Fernando Montero in the University of Valencia, in 1971, aiming at encouraging and publishing “research works on modern philosophical problems approached from a critical perspective”. In its first period (up to 1986) *Teorema* published works by Bunge, Chomsky, Dummett, Habermas, Popper, Quine, Searle, and other active and influential philosophers and scientists. Around them, Garrido organized conferences, seminars, and interviews that exerted a powerful impact on the university milieu. One accomplishment was the edition of a series of translations into Spanish of papers by Ayer, Beth, Chomsky, Feigl, Gödel, Kuhn, Lukasiewicz, Russell, Turing, and many others (including continental philosophers such as Albert, Gadamer and Habermas). This made first-rate work in AP accessible to a broad readership. Another initiative was the so-called Symposia, which facilitated the acquaintance with distinguished American and European philosophers such as Davidson, Kutschera, Pears, Quine, Strawson, Thiel, etc., and made it possible for an *engagé* audience to be in direct contact with them. In 1996, Luis Valdés, a former student of Garrido in Valencia, took charge of *Teorema*’s editorial work and started its second period. Under Valdés’ editorship, *Teorema* has become one of the leading journals in AP throughout the Spanish-speaking world.

Theoria was founded in Madrid by Miguel Sánchez Mazas and Carlos Paris in 1952. Their goal was to publish research on the theory,



history, and foundations of science, lending specific attention to logical and epistemological investigations. *Theoria*'s first period lasted until 1956, when Sánchez Mazas went into exile. Almost 30 years later, in 1985, Sánchez Mazas, after returning to Spain, resumed control of *Theoria* with the support of the University of the Basque Country. Sánchez Mazas was far from being an analytic philosopher, his work focusing on the history of logic and the logic of normative systems inspired in statute law (*Obras escogidas* [*Selected Works*], 2002 and 2003). Although in its the second period of the journal, Sánchez Mazas did not give *Theoria* an analytic slant, and its first issue included articles written by Castañeda, Hierro, Kalinowski, and Peña, projecting the character that *Theoria* would assume in later years. From 1995 to 2002, as an associate editor, and from 2002 onwards, as the main editor, Andoni Ibarra has given *Theoria* an international character, focused mainly on analytic philosophy of science.

The consolidation of Analytic Philosophy in Spain

If AP in Spain took its first roots in Spain the 1970s and 1980s, this was due largely to the stimuli and training provided by Manuel Garrido and Jesús Mosterín. Three of Garrido's former students stood out in the ensuing years: Blasco, Alfonso García Suárez, and Valdés. Of these three, García Suárez, whose career has been linked to the University of Oviedo, is the one who best meets AP's standards. In 1976 he published *La lógica de la experiencia* [*The Logic of Experience*], on the private language argument devised by Wittgenstein. However, his more recent book *Modos de significar* [*Ways to Mean*] (2nd edition, 2001) is the most ambitious work that Spanish analytic philosophy of language has produced. As for Valdés, his work as the leading editor of *Teorema* has already come to the fore. Furthermore, he has made a significant contribution to AP by translating works of Wittgenstein, Dummett, and Searle (among other authors) into Spanish. His translation of Wittgenstein's *Tractatus logico-philosophicus* (2004), which is supplemented with pithy comments on many of its aphoristic propositions, is the one most studied among the existing ones.

While Valencia was the first front on which AP fought its battle, the second one was Barcelona. There the major proponent was Mosterín –as mentioned above, his view of AP has been quite general. Mosterín's work left a considerable number of followers, among which three have, or have had, the profile of more orthodox analytic philosophers, namely Ulises Moulines, Daniel Quesada, and Juan



Acero. Moulines has had a long career as a philosopher of science, Quesada as a philosopher of language and as an epistemologist, and Acero as a philosopher of language and mind. In *La estructura del mundo sensible* ([*The Structure of the Sense World*], 1973), Moulines makes up a phenomenalist system that goes beyond the scope of the systems designed by Russell-Whitehead, Carnap, and Goodman. Because of Wolfgang Stegmüller's suggestions, Moulines soon shifted to Suppes and Sneed's structural conception of scientific theories, which had just been stated in *The Logical Structure of Mathematical Physics* (1971). From that moment on, Moulines has been a leading and tireless promoter of that view, a project of his that has given rise to numerous publications (*Exploraciones metacientíficas* [*Metascientific explorations*], 1982; *Structuralist Theory of Science* (1996, together with Balzer). In addition to this, Mouline's influence on Spanish philosophy of science has been, and still is, profound, having helped to set institutional relations with a substantial number of philosophers of science, especially in Barcelona, Santiago, the Basque Country, and Granada.

Within the philosophy of language, the idea of using logic and set theoretic resources as tools for the analysis of meaning was soon a familiar one in Barcelona. Daniel Quesada's first steps were to apply three-valued logic to semantic analysis and the study of Chomsky's grammatical proposals, specifically the philosophical significance of his grammar hierarchy, and the work of Richard Montague, which Quesada translated into Spanish. Since the middle of the 1990's Quesada's interests have evolved towards the philosophy of perception and epistemology in general. His book *Saber, opinión, ciencia* [*Knowledge, Opinion y Science*] (1998) is at present a major reference within epistemology syllabi in Spanish universities. Acero, the author of this paper, and a former student of Emilio Lledó and Mosterin in Barcelona, undertook postdoctoral studies in the Academy of Finland, with Jaakko Hintikka, on game-theoretical semantics, which applied to a number of phenomena in the semantics of Spanish (*La teoría de los juegos semánticos* [*Game-theoretical semantics*] (1977). In the 1980s he broadened his range of interests and focused on questions concerning the philosophical foundation of semantics (*Lenguaje y filosofía* [*Language and Philosophy*] (1993) and the philosophy of mind. His work in this latter sphere led him to the more specific area of the philosophy of emotions.

The Barcelona group of analytic philosophers, in the 1970s, also included Andrés Rivadulla and, in the 1980s, Francisco Rodríguez Consuegra. Like Acero, their academic careers began outside



Barcelona –Rivadulla in the Complutense University of Madrid and Rodríguez Consuegra in the University of Valencia. Rivadulla has authored a considerable body of work on Carnap's and Popper's philosophy of science, on probability and statistical inference (*Probabilidad e inferencia estadística* [*Probability and Statistical Inference*], 1991) and on the philosophy of physics. Rodríguez Consuegra's main focus of research has been the philosophy of mathematics, specifically the unpublished work by Russell (*The Mathematical Philosophy of Bertrand Russell*, 1991) as well as by Peano and Pieri, and has won international acclaim in this field. He has also been the first to edit Kurt Gödel's unpublished writings.

Apart from these two lines of development, the work of Lorenzo Peña, researcher at the Spanish National Research Council (CSIC) since 1987, should not be overlooked. He was forced into exile in the 1960s and was trained as a philosopher in Ecuador and Belgium, under Paul Gochet's guidance. Notable regarding Peña, his philosophical heroes were Gustav Bergmann, Chisholm, Neri-Castañeda, in sharp contrast with those of Valencia (the later Wittgenstein, Strawson, Davidson) and Barcelona (Frege, Russell, the early Wittgenstein, Carnap, Quine). Peña has been concerned with matters of metaphysics, related mainly to ontology, to which he has applied logical tools (*Hallazgos filosóficos* [*Philosophical Findings*], 1992). His later work has involved him in research on the logic and philosophy of law.

A factor that has decisively contributed to the consolidation of AP in Spain from the late 1980s onwards was a scientific policy that provided increasing financial and institutional resources for research initiatives, and helped new generations of teachers and research students to complete or develop their training in high-quality university departments in Western Europe and North America. The so-called Seminarios Interuniversitarios de Filosofía y Ciencia Cognitiva [Interuniversity Seminars on Philosophy and Cognitive Science] (SIUCC), held yearly since 1990 – and Seminarios Interuniversitarios sobre Mente, Arte y Moralidad [Interuniversity Seminars of Mind, Art and Morality] (SIMAM), launched since the year 2000 – have enabled the most active analytic philosophers to make their work in progress known and have presented it to Spanish audiences prepared for the encounter. In more recent times, this support has been bolstered with the Ramón y Cajal (from 2000) and Juan de la Cierva (from 2004) research contracts, which have fostered the return of researchers and lecturers who held posts in foreign institutions and have promoted new research careers. These contracts



have reinforced the research activities of some Philosophy departments, mainly those in the Universities of Barcelona, Granada, the Basque Country, and Valencia.

Spanish Analytic Philosophy's Third Wave

Garrido, Hierro, Mosterín, Muguerza, and Blasco introduced AP in Spain during the 1960s and 1970s. Save Muguerza, they are the first, still modest, wave of Spanish AP. Acero, Bustos, García Suárez, Moulines, Peña, Quesada, Rivadulla, Rodríguez, Valdés ride AP's second wave, which began in the 1970s and 1980s, continued in their predecessors' wake. The third wave has been growing since the middle of the 1990s as the teaching and training work by the second wave's philosophers has been moving forward. The third wave best meets the today's prevailing international standards. I will briefly describe this stage by referring to the work by Moulines and other analytic philosophers of science and to the work of some groups in Valencia, Barcelona, Granada, and Santiago.

Philosophy of science began in Spain in the 1950s, impelled primarily by Sánchez Mazas, París, and Sánchez de Zavala. The impact of Popper's philosophy in the next decade left a few traces in the philosophy community, as witnessed by the proceedings of the 1968 Burgos Congress (*Ensayos de filosofía de la ciencia [Essays in Philosophy of Science]*, 1970), Quintanilla's short monograph (*Idealismo y filosofía de la ciencia [Idealism and Philosophy of Science]*, 1972) and, later, the much more systematic work by Rivadulla (*Hipótesis y verdad en ciencia [Hypotheses and Truth in Science]*, 2004). Though few could resist the Holy Trinity, i.e. Popper, Kuhn, Lakatos, some philosophers, not only in Spain but also in Argentina and Mexico, were attracted by the structuralist conception of scientific concepts, theories, and theoretical networks that Stegmüller was developing at the University of Munich since the early 1970s, because it promised to include some of Kuhn's new proposals. Following the structuralist path, Moulines wrote, in collaboration with José Díez (University of Barcelona), *Fundamentos de filosofía de la ciencia ([Foundations of philosophy of science]* 1998), which has been and it is still widely used in university teaching. Among those who adopted Moulines' approach were Magí Cadevall (*La estructura de la teoría de la evolución [The Structure of Evolution Theory]*, 1988), José L. Falguera (*Problemas ontosemánticos de los términos científicos [Ontosemantic Problems of Scientific Terms]*, 1992) and Andoni Ibarra



(*Representaciones en la ciencia* [*Representations in Science*], 1997, with Thomas Mormann).⁷ One of Moulines' students, Luis Fernández Moreno (Complutense University of Madrid), began working on Tarski's theory of truth, a path that led him years afterwards to systematic studies in the theory of reference and the work of philosophers such as Putnam and Kripke (*La referencia de los nombres propios* [*Proper Name Reference*], 2006).

Recent initiatives within the philosophy of science have opened at least two new lines. First, the philosophy of physics has become an independent line of research because of a group of philosophers in Madrid, Barcelona, and Granada, all with a twofold training in physics and philosophy. This group includes Mauricio Suárez (Complutense University), who is one of the leading figures of the European Philosophy of Science Association. Secondly, the philosophy of biology has won its own place within the philosophy of science, despite its still not having gained comparable recognition in university syllabi. The success is owed chiefly to Carlos Castrodeza (Complutense University), who has left a rich body of work on the theory of evolution and Darwinism (*Ortodoxia darwiniana y progreso biológico* [*Darwinian Orthodoxy and Biological Progress*], 1988), and to Alvaro Moreno (University of the Basque Country), who heads an active group specializing in artificial life, complex systems, and cognitive systems (*La vie artificielle* [*The Artificial Life*], 1997, with Julio Fernández Ostolaza). This new line within the philosophy of science is followed also by Antonio Diéguez (*La vida bajo escrutinio* [*Life Under Scrutiny*], 2012), Wenceslao Fernández (*Evolutionism: Present Approaches*, 2008) and Alfredo Marcos, editor of the biological writings of Aristotle.⁸

In 1985 Blasco took the chair in Epistemology at the University of Valencia, where he had been on the teaching staff for 20 years. His work was fruitful, and at present some of his former students – Carlos Moya, Josep Corbí, Josep Prades, and Tobies Grimaltos – are among the most creative Spanish analytic philosophers. Thanks to them, metaphysics, epistemology and philosophy of action, dealt with in an analytic anti-reductionist and anti-naturalistic style, often placing attention on ethics and moral philosophy, have become solidly established in Valencia. Moya has translated Davidson's work on philosophy of mind and philosophy of action into Spanish (*Mente,*

⁷ To get a fuller idea of how philosophy of science was cultivated in Spain during the 1990's, see Ibarra and Mormann, eds. (1997).

⁸ To get a more detailed image of recent philosophy of biology in Spain, see Diéguez and Claramonte, eds. (2013).



mundo y acción [*Mind, World and Action*], 1992), but he is now concerned primarily with central problems on the boundary between philosophy of action and ethics (*Moral Responsibility: The Ways of Skepticism*, 2006). On the boundary between metaphysics and philosophy of mind are the problems that Corbí and Prades have approached (*Minds, Causes and Mechanisms*, 2000). Corbí goes beyond the philosophy of mind and addresses pressing questions pertaining to moral philosophy and the philosophy of values, an interest prompted by the work of Bernard Williams and Richard Wollheim (*Morality, Self-Knowledge, and Human Suffering*, 2012). Grimaltos, following a path closest to Blasco's, has centred on epistemological problems (*Signo y pensamiento* [*Sign and Thought*], 1999, with Blasco and Dora Sánchez (*Teoria del Coneixement* [*Theory of Knowledge*], 2003, with Blasco).

In Barcelona, Quesada, and especially Manuel [García-]Carpintero, have led a process that has placed Barcelona at the forefront in European AP. Quesada's students include Ramón Cirera (*Carnap and the Vienna Circle*, 1994), prematurely deceased, David Casacuberta (*Qué es una emoción* [*What an Emotion Is*], 1990), and Carpintero. Carpintero (*Las palabras, las ideas y las cosas* [*Words, Ideas and Things*], 1996), the main figure of the LOGOS group, brings together researchers and students from the Universities of Barcelona (Central and Autonomous) and Gerona. Carpintero has coedited two volumes of essays, on two-dimensional semantics (with Josep Macià) and on truth-relativity (with Max Kolbel). LOGOS was founded in 1993 and encompasses almost all fields in contemporary AP except ethics and moral and political philosophy. In this broad area, Carpintero, his colleagues, and his students are carrying out high-quality work not only as research trainers but also as creators and supporters of academic and institutional relationships at the highest international level. The scientific production of the LOGOS members can be found in many of the most demanding international journals. LOGOS has the only Master's degree programme and the only Philosophy doctoral programme in AP in Spain. Other members of LOGOS are Manuel Pérez Otero (*Conceptos modales e identidad* [*Modal Concepts and Identity*], 1999), David Pineda (*La mente humana* [*The Human Mind*], 2012) and Díez. Model theory, modal logic, two-dimensional semantics and the work of logicians and philosophers such as Tarski, Kripke, Grice, David Lewis, David Kaplan, Peacocke or Williamson are references for many LOGOS members.



In Granada the group of analytic philosophers formed over the 1980s. In 1986 the University of Granada awarded Quine an honorary doctorate, and the ensuing international conference arranged to discuss his work (*Symposium Quine*, edited by Acero and Tomás Calvo in 1987). This was the first step in a long path to the present. During the 1980s and 1990s, almost all analytic philosophers in Granada were former students of Acero, the first ones being Aurelio Pérez Fustegueras (*La epistemología de Quine* [*Quine's Epistemology*], 1986) and María José Frapolli (*The Nature of Truth*, 2013), and the philosophy of language has been the nexus linking them for long. From the year 2000, the group profile become richer as new members contributed novel research foci – metaphysics, epistemology, philosophy of physics, and the philosophy of psychology – and philosophical backgrounds. Although Hintikka's philosophy of language and semantics has been a constant in Acero's academic career, and Christopher Williams has played a similar role in Frapolli's work on philosophy of logic, pragmatism in Granada has gradually gained prominence. It started with the study of Quine's writings and then focused increasing attention on the works of Wittgenstein, Ramsey, Susan Haack, Sellars, and Brandom. The group has edited collective volumes on the philosophy of Wittgenstein, Ramsey, Quine, Hintikka, Evans, Burge, and Recanati and built up international relationships both with European and with American institutions.

The AP group in Santiago (Galicia, Spain) began to form in the 1980s, after Rafael Beneyto, a former student of Garrido's in Valencia, assumed the Logic chair. Despite not being an analytic philosopher, by his performance he set the basis on which the group became consolidated (some of its members had studied in Santiago as well as in Valencia). The philosophical interests of its members fall within the domains of logic, philosophy of logic, and philosophy of language, a profile to which its relations to Corcoran, Prawitz, and Michael Dummett have greatly contributed. The question of the nature of truth and the confrontation between realism and anti-realism in logic, epistemology and semantics has polarized much of their work. Juan Vázquez (*Mente y mundo* [*Mind and World* 2007]), José Sagüillo (*El movimiento antimetafísico* [*The Anti-Metaphysical Movement*], 2001, with Rom Harré) and Uxía Rivas (*El significado disgregado* [*Meaning Dispersed*], 1994) belong to this group.

At these four institutions, individual careers need to be taken into account. Hierro and Quintanilla have contributed to the establishment of AP in Spain, though neither has headed any group. Manuel Hernández



Iglesias has dealt mostly with the work of Davidson (*El tercer dogma: interpretación, metáfora e inconmensurabilidad* [*The Third Dogma. Interpretation, Metaphor, and Incommensurability*], 2004) and Anastasio Alemán, whose work has focused philosophy of logic and mathematics (*Lógica, matemática y realidad* [*Logic, Mathematics and Reality*] 2001) were students of Hierro. Manuel Liz (*La vida mental de algunos trozos de materia* [*The Mental Life of Some Bits of Matter*], 2001) and Fernando Broncano (*Saber en condiciones* [*Knowledge Proper*], 2003) were students of Quintanilla. Roderick Chisholm's rationalism as well as Ernest Sosa's the epistemological work have heavily swayed Broncano's and Liz's viewpoints.

The view offered in this paper would be incomplete if a circumstance that has taken place repeatedly over the last decade were not reported. From the 1990s, philosophers have completed their MA or even PhD degrees in Spain and have continued their education outside Spain, e.g. in the United States and Britain (though also Germany and France, after AP took hold in these two countries) In some cases, Spanish institutions have managed to enlist philosophers, e.g. Mario Gómez Torrente, Genoveva Martí, Mauricio Suárez and Pepa Toribio, whose contributions to AP in Spain are being decisive in reinforcing its quality and gaining recognition beyond the Spanish borders. In other cases, such as María Álvarez (*Kinds of Reasons*, 2010), Jordi Fernández (*Transparent Minds*, 2013), and José L. Zalabardo (*Skepticism and Reliable Belief*, 2012), despite not belonging to national institutions, their work is well known by their colleagues in Spain and is usually integrated into their research activities.

The Spanish Society for Analytic Philosophy (S.E.F.A.)

This final paragraph is meant to record the exact episode that certifies the establishment of AP in Spain, namely, the foundation of the Sociedad Española de Filosofía Analítica (SEFA) [Spanish Society for Analytic Philosophy] in 1996. The event took place in Valencia, and the first SEFA President was Josep L. Blasco. The presidents after him have been Moya, Acero, Carpintero, and Toribio. SEFA coordinates the edition of a book series on the different philosophical fields. Up to now three volumes have been published within this series, on philosophy of logic, epistemology, and aesthetics. In addition, SEFA



promotes, organizes, and financially supports four series of international conferences and seminars: the SIUCC, the SIMAM, the Latin Meetings in Analytic Philosophy and the Encuentros Hispano-Argentinos de Filosofía Analítica [the Spain-Argentina Meetings in Analytic Philosophy].

References

- Acero, J.J. (2011). "Analytic Philosophy as Metaphilosophy". *Teorema* 30/1: 65–75.
- Blasco, J.L. (1991). "La recepción de la filosofía analítica en España" ["The Reception of Analytic Philosophy in Spain"]. *Isegoría* 3: 138–146.
- Blasco, J.L. et al. (1973). *Filosofía y ciencia en el pensamiento español contemporáneo (1960-1970)* [*Philosophy and Science in Contemporary Spanish Thought (1960-1979)*]. Madrid. Tecnos.
- Bustos, E. (1992). "La evolución de la lógica y la filosofía del lenguaje en la filosofía española después de Ortega y Gasset" ["The Evolution of Logic and Philosophy of Language in Spanish Philosophy after Ortega y Gasset"]. *Theoria* 7: 327–338.
- Bustos, E. (2006). "Perspectivas de la filosofía analítica en el siglo XXI" ["Perspectives on Analytic Philosophy in the XXI Century"]. *Revista de filosofía* 31/2: 1–14.
- Diéguez, A. and Claramonte, V., eds. (2013). *Filosofía actual de la biología* [*Current Philosophy of Biology*]. *Contrastes* 18. Monographic issue.
- Dummett, M. (1993). *Origins of Analytical Philosophy*. London. Duckworth.
- García Suárez, A. (1999). "Hacia una caracterización de la filosofía analítica" ["Towards a Characterization of Analytic Philosophy"]. En López Cuenca, A., ed. (1999).
- García-Carpintero, M. (1996). *Las palabras, las ideas y las cosas* [*Words, Ideas and Things*]. Barcelona. Ariel.
- Guisán, E. (1981). "Javier Muguerza: la esperanza en la razón" [Javier Muguerza: The Hope for Reason]. *Agora* 1: 255–262.
- Hierro Sánchez-Pescador, J. (2000). "La filosofía del lenguaje en España (1975 – 1995)" ["Philosophy of Language in Spain (1975-1995)"]. *Revista de hispanismo filosófico* 5: 59 – 66.
- Ibarra, A. & Mormann, Th., eds. (1997). *Representations of Scientific Rationality. Contemporary Formal Philosophy of Science in Spain*. Amsterdam. Rodopi.
- Liz, M. and Vázquez, M. (1995-1996). "La tradición analítica: un callejón sin salida" ["The Analytic Tradition: a Dead End"]. *Laguna* 3 145–60.
- López Cuenca, A., ed. (1999). *Resistiendo al oleaje: reflexiones tras un siglo de filosofía analítica* [*Resisting the Swell: Reflections After One Century of Analytic Philosophy*]. Madrid. Universidad Autónoma de Madrid.
- Mosterín, J. (1999). "Grandeza y miseria de la filosofía analítica" ["Nobility and Misery of Analytic Philosophy"]. En López Cuenca, A., ed. (1999).



Muguerza, J. (1974). “Esplendor y miseria del análisis filosófico” [“Nobility and Misery of Philosophical Analysis”]. En *La concepción analítica de la filosofía*. Editado por J. Muguerza. Madrid. Alianza Universidad.

Muguerza, J. (1977). *La razón sin esperanza* [*Reason Without Hope*] Madrid. Taurus.

Peña, L. (unpublished). “La concepción de Javier Muguerza sobre la filosofía analítica” [“Javier Muguerza’s conception of Analytical Philosophy”]. <http://lp.jurid.net/articulos/sigloXX/muguerza.pdf>



К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ ПСЕВДОНАУКИ: ПСЕВДОНАУКА КАК ДЕВИАНТНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ¹

Алексей Михайлович Конопкин – кандидат философских наук, доцент кафедры философии УлГПУ, старший научный сотрудник УНИ УлГУ.
E-mail: amkonopkin@yandex.ru

Статья посвящена вопросу о структуре псевдонауки как ненормативной интерпретации данных, имеющей специфические когнитивные признаки: неопределенную область применения, ограниченную фактическую базу, ненадежные допущения и др. Обсуждаются различия и сходства псевдонауки и гипотезы как форм знания. Анализируется свойство системности научного знания, где теории и гипотезы поддерживают друг друга, изоляция же от признанных теорий рассматривается как признак псевдонауки. Аргументируются возможность определения достоверности гипотез «здесь и сейчас» в зрелой науке и неправильность анализа псевдонауки как научно-исследовательских программ (И. Лакатос). Неоднозначные примеры, такие, как космологические и психологические теории, анализируются в контексте предлагаемого подхода к определению псевдонауки.

Ключевые слова: псевдонаука, гипотеза, критерии научности, системность, астрология, теория биоритмов, научно-исследовательские программы, И. Лакатос.

TO THE QUESTION OF STRUCTURE OF PSEUDOSCIENCE: PSEUDOSCIENCE AS DEVIANT INTERPRETATION



Alexey Konopkin – candidate of philosophical sciences, docent of the Department of Philosophy of Ulyanovsk State Pedagogical University, Researcher in Office of Scientific Research Ulyanovsk State University.

The article focuses on the structure of pseudoscience as deviant interpretation of the data that has specific cognitive symptoms: undefined scope, the limited evidence base, self-contradictory, unreliable assumptions, etc. Discusses the differences and similarities of pseudoscience and hypotheses as forms of knowledge (rationality, consistency, the possibility of a critical revision, etc.). Proposes criteria for delineation of pseudoscience and false-science, anti-science, para-science, quasi-science, folk science. The property of systematic of scientific knowledge analyzes in article, where theories and hypotheses support each other, the isolation of a recognized theory is seen as a sign of pseudoscience. Argued the possibility of determining the validity of the hypothesis of «here and now» in a mature science and incorrect analysis of pseudoscience as developing «research programs» (I. Lakatos) using complex analysis not only of the hypothesis itself, but also its subsidiary assumptions consequences. Ambiguous examples, such as the cosmological and psychological theories, “dark matter”, theory of «torsion fields» are analyzed in the context of the proposed approach to the definition of pseudoscience as a transitional form of knowledge as deviant interpretation necessarily false.

Key words: pseudoscience, hypothesis, scientific criteria, systematic, astrology, biorhythms theory, «research programs», I. Lakatos.

¹ Статья подготовлена к публикации при поддержке ведущих научно-образовательных школ Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н.Ульянова в рамках реализации Программы стратегического развития.



Введение

Эта статья задумывалась как продолжение работы, опубликованной в «ЭиФН» (2012. № 1). Тогда речь шла о подходах к определению псевдонауки; настоящая статья хотя идейно и связана с предыдущей, посвящена более конкретной проблеме структуры псевдонауки. Почему же важен именно этот вопрос, почему от определения псевдонауки путь ведет к вопросу о ее структуре? Дело в том, что один из выводов предыдущей статьи заключался в том, что псевдонаука отлична от лженауки – даже этимологически приставка «псевдо» имеет два значения: ложное и неподлинное; так и в эпистемологическом смысле ясно, что область околонучного познания не может состоять лишь из ошибок, фальсификаций и устаревших теорий. Стало быть, возникает необходимость охарактеризовать псевдонауку уже не как принципиально ошибочную форму познания, но как нечто иное. Поэтому проблема псевдо- (лже)науки требует некоего «рабочего» подхода, гипотезы о различии между наукой и псевдонаукой, ведь иначе невозможно противостоять валу релятивистских идей, стирающих всякую грань между объективностью и субъективностью, истиной и мнением.

Так и возник вопрос – какова же все-таки эпистемологическая суть и структура псевдонаучного суждения? В чем разница между суждениями «Магия влияет на судьбу людей» и «Во Вселенной существуют черные дыры и ненаблюдаемая темная материя»? В методах, которыми эти суждения получены, или это вопрос проверки и воспроизведения, логические неправильности (например, ошибки в определении причинно-следственной связи)? Одна из точек зрения такова, что разница в результатах проверки этого предложения – научное предложение будет более подтверждаемо или воспроизводимо. К. Поппер говорил о необходимости принципиальной фальсификации для науки, а непроверяемость считал плохим признаком псевдонауки. Точка зрения логических позитивистов – в самом предложении есть логические ошибки, неправильные причинно-следственные связи, а также синтаксические ошибки. Другие исследователи отмечают мистицизм, присущий первому суждению, и его связь со странной методологией. Еще один возможный вариант – оценка суждений исходя из результатов их развития; эта точка зрения связана, например, с методологией И. Лакатоса.

Наконец, правильно ли говорить о псевдонаучных суждениях, или нужно говорить о гипотезах, догадках, теориях? Эти вопросы



менее глобальны, чем вопрос о демаркации науки и пара/псевдонауки, но опытный исследователь знает, что они ничуть не проще. Десятилетие назад, слушая лекции по философии науки, автор этой статьи недоумевал, впервые услышав определения загадочных слов «паранормальная наука», «псевдонаука», «девиантная наука», «идеологизированная наука» и др. Несколько ошеломляли схожесть и расплывчатость их определений. Так, говорилось о том, что и паранормальная наука, и псевдонаука не соответствуют критериям научности, однако первая вырабатывает свои, уникальные методы, а вторая внешне перенимает научные методы. Но как трактовать ясновидение или телепатию – как экспериментальные ошибки или как уникальный метод? Только ли в ненаучности метода дело в уфологии, где одни явления, казалось бы, подтверждают гипотезу НЛО, а другие опровергают?

Это разнообразие оказалось кажущимся, большинство терминов из сферы околонуального познания сводимы к базовым терминам – паранаука (греч. околонука), псевдонаука (греч. ложная, ненастоящая наука), лженаука. Остальные же термины либо синонимичны, либо обозначают отклонения в методах получения знания, характеризуют его автора и т.д. Если мы пытаемся определить, есть ли научное зерно в «теневой» науке, «народной» науке, идеологизированной науке, «грязной» науке и т.д., то неизбежно приходится абстрагироваться от того, профессионал или любитель сделал открытие, соблюдал ли он при этом этические критерии или нет, имеет ли учение официальный статус и т.д. С этой точки зрения нет смысла говорить об «анормальном знании» как знании, не соответствующем общепринятым нормам, либо ненормативному способу его получения [Дынич и др., 1994: 122–134]. Такое понимание чересчур широко. Также понятие «теневая наука» как махинации и спекуляции на науке и научных званиях не анализируется как когнитивное явление. Однако если говорить о теневой науке как непризнанных околонуальных дисциплинах, таких, как креационизм, графология, то они, очевидно, выходят за рамки социальной проблемы и имеют когнитивное содержание. В этом случае дело сведется к науке, псевдонауке или лженауке.

То же относится и к идеологизированной науке. Идеологизированная наука – результат политического давления, наука, в которой соответствие научным принципам как критерий истины заменено на соответствие идеологическим критериям. Многие случаи идеологизации науки не имеют когнитивного значения. «История лысенковщины ничего общего с историей биологической науки не имеет. Она – явление социально-политическое.



А потому лысенковщину надо воспринимать как материал к политической истории нашей страны» [Романовский, 2004: 180]. Сам факт идеологизированной поддержки Лысенко со стороны коммунистов характеризует идеологизацию науки (симпатии к учению о наследовании приобретенных признаков высказывал сам И.В. Сталин [Россиянов, 1993: 66]), но не отвечает на вопрос, научна, псевдонаучна или лженаучна была доктрина Т. Лысенко. Наивность научных представлений Лысенко была очевидна большинству его современников; так, его критика менделизма не актуализировала уже давно законченную дискуссию вокруг экспериментов Г. Менделя (см., например, работы В.Н. Сойфера).

Идеологизированная наука – часть более общего популярного термина «грязная наука» (junk science), который обозначает фальсификацию данных экспериментов в пользу быстрого доказательства какой-либо идеи, возможно, правильной самой по себе. Здесь нарушения – процессуально-этические, но не когнитивные, так как само знание не затронуто и нельзя говорить об интерпретациях теории. «Антрепренерская наука» (Дж. Равецц, А.В. Юревич) как «придворная» наука, «независимая» от государственной науки, но не от государственных денег, занимающаяся фальсификацией общественного мнения, тенденциозной аналитикой (новоявленные социологические, политологические, аналитические центры, академии и др.) [Юревич, 1999: 37–38], тоже определенное знаковое социальное явление, часть «грязной науки». Однако «придворные» ученые могут заниматься справедливой борьбой против, например, искажений истории, а могут и сами исказить историю. В этом случае анализ уже переходит в плоскость научной оценки выдвигаемых интерпретаций.

Подобная трансформация происходит и с другими терминами. Американский специалист по философии науки Дж. Холтон считает, что антинаука как мировоззрение, или картина мира, существует, а как когнитивный феномен – нет, так как нет такого типа культурной деятельности, который был бы противоположен науке. Об антинауке Холтон говорит в двух значениях – как «альтернативном миропонимании» и альтернативной науке и признает, что на когнитивном поле термин «антинаука» тождествен понятию паранауки [Холтон, 1992: 39–41].

Еще один популярный термин – «квазинаука» – имеет такое же значение, как и псевдонаука (от лат. quasi – ложный, неподлинный), но в трактовке В.М. Найдыша выступает как самостоятельный и включает в себя сознательные научные фальсификации, пара-, псевдо- и лженауку, а также квазинаучную мифологию. Ква-



зинаука – смесь науки и мифологии, науки и религии, науки и обыденного сознания, в которой потеряны признаки исходных, базовых форм сознания [Наука и квазинаука, 2008: 71]. Говоря о квазинаучной мифологии, Найдыш упоминает уфологию, полтергейст, снежного человека и др. Компонент мифа, быличек, о чем подробно рассказывает Найдыш, несомненно, присутствует в уфологии; однако сама она представляет собой полную копию научной дисциплины со своими методами исследования, критериями отбора материала и истины, журналами, конференциями и т.д. Это явно выходит за рамки мифологических структур и должно анализироваться как когнитивное явление.

Псевдонаука в контексте критериев научности

Анализ явлений, составляющих поле околонучного познания, подводит к идее о том, что базовой формой переходного знания является псевдонаука, и именно ее, а не лженауку, труднее всего разграничить с наукой. Ведь классическая, «категоричная» программа, включающая работы тех, кто искал более или менее однозначные характеристики знания, отличающие науку от псевдонауки, столкнулась с трудностями и не слишком популярна. «Стандартное» классическое определение псевдонауки подразумевает, что псевдонаучные тезисы не подтверждаются, непроверяемы или невозпроизводимы. Известно множество критических идей в этом направлении; укажем на комичные примеры Т. Теохариса, который утверждал, что «для человеческого младенца теория рождественских подарков Санта-Клауса – вполне настоящая научная теория. Кроме того, лабораторная крыса все время находит, работая опытным путем подтверждения и надежности, путь к периодически меняющемуся местоположению еды в экспериментальном лабиринте. Из этого следует, что (согласно обычной точке зрения на то, что такое наука) лабораторная крыса – настоящий ученый» [Theocharis, 2001]. Слишком просто понятый метод проб и ошибок, даже с правильным результатом, конечно, не может быть назван наукой.

Согласно теории познания, «люди фактически никогда не пытаются сфальсифицировать свои гипотезы или верования. Вместо этого они пытаются найти подтверждения своим гипотезам по многу раз» [Freu, 2009: 232]. Если однажды гипотеза принята на веру, то отказаться от нее уже трудно. В таких ситуациях даже противоречащие друг другу данные интерпретируются как поддержка теории.



Подтверждения, кстати, могут быть и у астрологических гороскопов: «Например, у предсказаний в гороскопе, как правило, есть такие вариации, которые могут быть подобраны ретроспективно к почти любому случаю. Фактически, “хороший” гороскоп содержит предсказания, которые поддаются и определенным интерпретациям, и диапазону широких и метафорических интерпретаций. Неизбежно люди будут чувствовать некоторые корреляции с реальными событиями» [Gilovich, 1991: 58–59]. Это не значит, что подтверждаемость и воспроизводимость не годятся как критерии научности; просто они недостаточны как гарантия научности. Даже Л. Лаудан, критикуемый за мнение о том, что проблема демаркации – псевдопроблема, считает, что важное и единственное различие между наукой и псевдонаукой – это различие между хорошо и плохо подтвержденными теориями [Laudan, 1983: 124].

Основные неприятности для классического понимания науки пришли даже не столько из околонучной сферы, сколько из самой науки. Критерий воспроизводимости, понятый в эмпирическом смысле, мало характерен и для самой науки. Как показывают Н. Кипнис и М. Бунге, неправильно устоявшимся является мнение, что проверка научного эксперимента или гипотезы происходит путем воспроизведения: «Если проверить означает повторить эксперимент, используя точно тот же самый аппарат, материалы и процедуры, то такие события имеют место чрезвычайно редко, если вообще происходят. Одна из причин этого – практическое отсутствие идентичных материалов и аппарата в других лабораториях. К тому же если результаты проверки не сходятся с оригинальными результатами, это можно свалить на некоторые различия в материалах и аппарате. Поэтому ученые видят в воспроизведении экспериментов большую и бесполезную потерю времени» [Kipnis, 2011: 662]. В реальности результаты проверяются прежде всего на соответствие теории и лишь тогда, когда авторская интерпретация его природы кажется сомнительной, что можно видеть, например, в анализируемой Н. Кипнисом истории изучения магнетизма. К тому же радикально, но небезосновательно мнение М. Бунге о том, что «научную теорию невозможно подвергнуть эмпирической проверке, не связывая ее с другими теориями» [Бунге, 1975: 303]. Например, «исторически сложилось так, что проверка нацелилась на теории или гипотезы, используемые исследователями в их экспериментах, а не на качество самих экспериментов. Более того, многие эксперименты остались не повторенными даже в этом значении проверки. История науки показывает, что только те эксперименты широко тиражировались, которые считались “горя-



чими», т.е. казалось, что они открывают новые области для открытий» [Kipnis, 2011: 665]. Поэтому заявления Р. Мертона о том, что проверка крайне важна для функционирования науки, сейчас могут быть справедливы лишь частично. К тому же ерунда (nonsense) вообще не может быть проверена, как показывает ироничное замечание Бунге, – «попробуйте определить время полета, основываясь на хайдеггеровском определении времени как “созревания темпоральности”» (the maturation of temporality) [Bunge, 2011: 413]. Но это не означает, что она перестает быть ерундой.

Случаи же, в которых может помочь фальсифицируемость (относительно новый критерий научности, на который возлагались большие надежды), – скорее исключение, чем правило. С. Хэнсон подсчитал, что большинство современных высококласных исследований, опубликованных в журнале «Nature», не сформулированы как фальсифицируемые. Из 70 исследований только два можно назвать примерами исследований, более доступных фальсификации, чем проверке, а из этих двух гипотез была фальсифицирована всего одна [Hansson, 2006: 283].

Словом, несоответствие критериям научности, о котором говорится в «стандартном» определении, всегда имеет ограниченное значение. Связано это и с проблемным статусом «промежуточных» форм познания – гипотез, догадок, противоречивых, но возможных предположений и т.д. Практически любой критерий дает возможность определить лишь два значения – проверяемо–непроверяемо, воспроизводимо–невоспроизводимо. Это оказывается слишком просто и малоприменимо к реальному процессу познания.

Помимо определения через рассмотренные критерии некоторые специалисты предлагают вовсе отказаться от оценки научности гипотез в данный момент и судить по результатам развития этой гипотезы за какой-то промежуток времени. П. Тагард говорит о том, что признаки псевдонауки – застой в развитии, некорректные аналогии и пренебрежение эмпирическими данными. Тагард считает, что в исторической ретроспективе астрология могла быть названа наукой, а И. Лакатос говорил об астрологии, хиромантии и фрейдизме как о научно-исследовательских программах. Однако такой подход стирает грань между обоснованными, перспективными предположениями и даже явными спекуляциями; выходит, что можно развивать едва ли не любую гипотезу, лишь бы она имела видимость научной программы. Ниже мы еще вернемся к этой точке зрения.



Псевдонаука и девиантные доктрины

Итак, рассмотренные критерии имеют ограниченное значение и не дают ключа к пониманию обозначенных нами промежуточных форм познания и их структуры. Интересная идея в этом направлении представлена в статье С. Хэнссона [Hansson, 1996: 169–176]. Легко доступна расширенная электронная версия статьи [Hansson, 2008]. Хэнссон подытожил западные исследования 1980–1990-х гг., предложив характеризовать псевдонауку как девиантную доктрину, сближая ее этим с гипотезами, но отличая от явной лженауки и фальсификаций.

Хэнссон считает, что обычное мнение о псевдонауке как учении, не являющемся наукой, но претендующем на научность, неправильно. Претензии на научность несущественны – псевдонаука на самом деле «включает не только доктрины, противостоящие науке, но и доктрины, противоречащие науке, независимо от того, выдвинуты ли они от имени науки» [Grove, 1985: 219]. Кроме того, это определение слишком широко и подходит, например, для мошенничества, но мошенничество в науке редко можно назвать «псевдонаукой». Причину, по мнению Хэнссона, можно понять из следующих гипотетических примеров.

Пример 1. Биохимик выполняет эксперимент, который она интерпретирует как то, что специфический белок играет существенную роль в сокращении мускула. Ее коллеги согласны, что этот результат – простой артефакт из-за экспериментальной ошибки.

Пример 2. Биохимик идет на выполнение другого «мокрого» эксперимента после первого. Она последовательно интерпретирует их как демонстрацию того, что у специфического белка есть роль в сокращении мускула, что не принимается другими учеными.

Пример 3. Биохимик выполняет различные «мокрые» эксперименты в нескольких областях. Каждый из них таков, как в случае 1. Большая часть ее работы имеет то же самое качество. Она не выдвигает специфической неортодоксальной теории.

Примеры 1 и 3 расцениваются как случаи «плохой» науки и только пример 2 как случай псевдонауки. Что же такого есть в примере 2, чего нет в других? По мнению Хэнссона, это *ненормативная доктрина* (deviant doctrine); вероятно, более точно и привычно использовать термин «интерпретация» или «теория». Именно ее присутствие дает возможность говорить о псевдонауке. Псевдонаукой становится лишь последовательное продвижение девиантного учения, а для определения, где девиация, а где норма, по Хэнссону,



нужна научная теория-эквивалент, отражающая реальное положение дел. Изолированные нарушения требований науки – лишь ошибки, а не псевдонаука. Если мошенничество не связано с ненормативной, неортодоксальной доктриной, то это не псевдонаука. Мошенничающий ученый как раз беспокоится, чтобы его результаты находились в соответствии с предсказаниями установленных научных теорий, чтобы его не раскрыли. Это довольно неожиданно – действительно, можно ли подумать, что научные фальсификации – не псевдонаука?! В отечественной литературе повсеместно фальсификации – часть псевдонауки, но, оказывается, это не так однозначно.

Доктрина всегда предполагает объяснение фактов или того, что считается фактом; понимание этого уже говорит о том, что псевдонаука в отличие от лженауки, ложно трактующей факты, вовсе не всегда основана «на принципиально ложных основаниях» [Мартишина, 1997: 20]. С.В. Илларионов определял интерпретацию как установление значений терминов теории, а также как представление абстрактной теории с помощью другой, эмпирические смыслы которой установлены [Илларионов, 2007: 112]. Он считал, что и следствия из теории должны подвергаться интерпретации на основе правил, входящих в структуру данной теории [Илларионов, 2007: 145]; таким образом, теория или гипотеза должна включать не только объяснение, но и правила ее интерпретации. При этом источником ошибок может быть то, что интерпретации и факты смешиваются; так, справедливо говоря о гомеопатии как девиантной доктрине, можно упустить реальный факт, когда малые дозы действуют. «Даже если теория, которая помогает разработать наблюдение, опровергнута или отброшена, то у наблюдения все еще остается своя собственная жизненная сила. Так, хотя теория флогистона была полностью разоблачена, результаты экспериментов не были подобным же образом отброшены» [Sun Si, 2007: 120].

Большинство философов науки, по мнению Хэнссона, предпочитают связывать науку с научным методом, а не с конкретными теориями или доктринами потому, что псевдонаука часто представляет науку как закрытую и законченную догматику, а не как методологию, открытую для исследования. Однако этого не нужно бояться – в науке действительно есть установленные знания, на основании которых и строятся новые гипотезы.

Как же оценить предложения Хэнссона? На мой взгляд, в исследовании Хэнссона ценно выделение девиантной доктрины как признака псевдонауки. Из этого следует, что псевдонаука всегда



имеет отношение к науке, так как псевдонаука – конкурент науки на *когнитивном поле*, в противоположность самому распространенному предположению о том, что псевдонаука – социальный или культурный феномен. Когнитивность этого феномена переопределяет наше представление о том, где искать ее корни. Когнитивная природа псевдонауки означает, что девиации и трудности их оценки как неизбежные спутники научного знания делают столь же неизбежной и псевдонауку. Однако предложения Хэнсона порождают несколько проблем, которых сам он не формулирует. В первую очередь это проблема отделения псевдонауки от гипотез. В самом деле, открытие или формулировка гипотезы, новой теории часто являются девиантными по отношению к старым представлениям. И у гипотезы, и у псевдонаучной интерпретации может не быть однозначной оценки. И гипотеза, и потенциально псевдонаучная интерпретация предлагают объяснения некоторых фактов. Как же их можно оценить и понять, что есть что? Вторая проблема – то, что далеко не всегда есть надежная теория-эквивалент, по которой можно определить, девиантна ли догадка и в какой степени она подозрительна.

Обозначенные вопросы актуальны, так как есть масса сходств в развитии гипотез и псевдонауки. Они описаны в работе М. Боудри и Д. Брекмана, анализировавших, как псевдонаучные интерпретации уклоняются от эмпирических доказательств и рациональной критики. Эти методы общие и для гипотез, и для псевдонауки. Ведь «каждая научная теория использует защитный пояс вспомогательных гипотез, которые тоже объясняют неудачи и уменьшают эмпирическое содержание теории. Поэтому на начальной стадии развития нет ясного пункта, где эти поправки вырождаются в псевдонаучные стратегии иммунизации» [Boudry, Braeckman, 2011: 147]. И у гипотез, и у псевдонаучных интерпретаций есть защитные механизмы (механизмы иммунизации), такие, как:

- ◇ множественные предсказания (multiple endpoints) – это означает, что предсказания этой гипотезы имеют много неопределенных следствий;
- ◇ дефляционные пересмотры – характерные, например, для свидетелей Иеговы, которые всякий раз пересматривают свои предсказания второго пришествия Христа, выдвигая более неопределенные прогнозы;
- ◇ оправдания постфактум для неудавшихся прогнозов;
- ◇ техника постдикции (postdiction) – отбор только подходящих, избранных данных. Неудачи объясняются всем чем угодно, кроме



неправильности исходного тезиса. Подобное бывает и в науке – «чтобы убедить, исследователь выбирает те данные, которые поддерживают его, предполагая, что отброшенные данные были затронуты неизвестными факторами. Поэтому ученые настаивают, что современная практика в физике не соблюдает это требование» [Martin, 1992: 84–86]. Как можно видеть, не так-то просто разделить научную и псевдонаучную методологию развития гипотез.

Теория-эквивалент

Вторая проблема связана с теорией-эквивалентом. Мнение Хэнссона о ее необходимости существенно ограничивает возможности разобраться в гипотезе, когда мало надежных данных для ее оценки. На мой взгляд, можно доказать, что теория-эквивалент вовсе не всегда нужна для оценки научности. Нельзя не заметить, что случаи, когда научная теория есть и она служит надежным эквивалентом, встречаются не так уж часто. Проблема в том, что обычно мы не имеем ясного ответа на проблему. Так, реакция Вассермана (по диагностике сифилиса), по мнению Л. Флека, имела ложное теоретическое обоснование, недостаточные и невоспроизводимые эксперименты, но стала научным достижением [Флек, 1999: 78, 120]. Она появилась тогда, когда не было удовлетворительной теории природы сифилиса, и была основана на некачественных экспериментах. Однако правильность направления, в котором двигался Вассерман, многим была ясна и без окончательного решения проблемы природы сифилиса.

Поэтому слишком жестким и упрощенным представляется требование наличия более успешного эквивалента для оценки научности. Сторонники этого мнения считают, что когда эквивалента не было, нельзя говорить и о псевдонауке. Так, астрология, по мнению П. Тагарда, не была псевдонаучной в эпоху Средних веков, хотя сейчас она таковой является. Тагард настаивает на том, что критерии верификации и фальсификации неприменимы к астрологии и она псевдонаучна не потому, что непроверяема, а из-за отсутствия прогресса – ее сторонники принимают некритические объяснения, несмотря на то что есть более прогрессивные альтернативные теории. А «современная причуда с биоритмами, неправдоподобно основанная, как и астрология, на дате рождения, не может быть заклеймена как псевдонаучная, потому что нам недостает альтернативных теорий, объясняющих циклические изменения в людях» [Thagard, 1978: 229].



Такой известный науковед, как Лакатос, говорил об астрологии, хиромантии и фрейдизме как о научно-исследовательских программах [Лакатос, 2008: 437]. Однако он шел еще дальше, настаивая, что не стоит отказываться от программы даже при наличии сильной «соперницы» (эквивалента), если есть надежда на положительный сдвиг. Обосновывал он это невозможностью решающих экспериментов, которые, по его мнению, возможны лишь внутри самой программы. Однако далеко не все программы можно назвать исследовательскими или, тем более, научными.

Откровенно говоря, дело зашло слишком далеко, если многие авторитетные специалисты, такие, как Тагард и Лакатос, считают, что в исторической ретроспективе астрология могла быть названа наукой. Астрология не открывает ничего нового, она лишь переносит свои старые идеи на новые области (прогнозирование погоды, экономики – а этим можно заниматься бесконечно). Проблема с астрологией – ее изначальная неправильность, а вовсе не отсутствие результатов развития! Является ли обоснованной программой поиск агрессивности в характере людей, родившихся под знаком Марса, когда «агрессивность» приписывается планете Марс лишь на основе красноватого оттенка в видимом спектре? Вспомогательные гипотезы, привлекаемые астрологами (о значении так называемых знаков зодиака, о наличии силы, переносящей влияние планет на людей), изначально недостоверны. Аналогично можно сказать, что и богословие было наукой, пусть оно и не оставило после себя научных следов; 2000 лет истории богословия и теологии показали, что дело вовсе не в неумелых интерпретаторах якобы изначально правильных текстов; дело оказалось в том, что содержание самих текстов изначально не имело отношения к реальному устройству мира. Думается, здесь есть приписывание исследовательских качеств идеям, которые и не были ориентированы на развитие и критическую проверку.

Конечно, можно апеллировать к недостатку знаний в древности и слабому уровню развития науки и техники. Но не стоит думать, что в древние времена люди были настолько наивны, что не могли отличить реальную исследовательскую программу от мистики, приписывали все происходящее действию сверхъестественных сил. Во все времена были люди, мыслящие в категориях материалистического натурализма и склонные к научной, экспериментальной методологии: «Мы цитируем корпус Гиппократов как по крайней мере протонаучный, потому что он начинает отклонять сверхъестественные объяснения; эпилепсия должна считаться не “священной болезнью”, а тем, для чего мы ищем объяснение и ле-



чение с точки зрения естественных причин. Гиппократ даже начинает предлагать хорошие методологические причины для этого: “Люди думают, что эпилепсия божественна, просто потому, что не понимают ее. Но если бы они называли божественным все, что не понимают, не было бы конца божественным вещам”» [Pennock, 2011: 184].

Как можно видеть, требование об обязательном наличии теории-эквивалента спорно. Более того – даже если такая теория существует, то все равно есть немало тонкостей при ее сопоставлении с проверяемой гипотезой. Так, если мы хотим критиковать астрологическую теорию соответствия характеров людей и знаков зодиака, сравнивая ее с эквивалентом – теорией психотипов личности из психологии, то нужно быть готовыми к методологическим проблемам. Психотипы, выявляемые в астрологии и психологии, сходны (холерики в психологии соответствуют описанию людей, рожденных под знаком Льва в астрологии), а методы диагностики и там, и там не слишком определены. Кроме того, если речь идет о нарушении фундаментальных законов, но на новом уровне рассмотрения, то здесь одного противоречия мало для характеристики гипотезы. Да, закон сохранения энергии, несомненно, великое достижение науки, измеренное с большой точностью. Но теория Большого взрыва не должна объявляться псевдонаукой только на том основании, что в ней нарушается закон сохранения энергии (при возникновении Вселенной).

В то же время нельзя не отметить трудности оценки научности так называемых частично верных концепций, гипотез в исторической ретроспективе. Например, мы уже вспоминали о гипотезе флогистона, которая была опровергнута, но эксперименты, на которых она была основана, сохранены в новой теории. Гипотеза развивалась в верном направлении, а решение, формулируемое ныне через перенос энергии электронами, не могло быть сформулировано на том этапе. Таким образом, и гипотезу в целом трудно оценить как истинную или ложную. Н. Кипнис вообще утверждает, что понятие ошибки неприменимо к любому научному противоречию, будь то теория электричества или корпускулярная и волновая теории света. Ни открытие электромагнетизма Эрстедом, ни открытие радиоактивности Беккерелем не состоялись бы, если бы не ложные гипотезы [Kipnis, 2011: 666]. Именно они подтолкнули исследование. В частично верных концепциях есть доля истины, которая определяет диапазон применимости теории. Частично верными, по мнению автора, являются и любые физические законы. Закон Ома, например, абсолютно верный для металлов при



комнатной температуре, лишь частично верен для газов или металлов при высокой температуре, и т.д.

Иногда частично верные теории называют протонаучными. Однако проблема в том, что протонаука часто может оставаться надолго в таком «полунаучном» состоянии. Высказывается мнение, что полунаука – это вид псевдонауки – ее нельзя ни окончательно принять, ни отвергнуть. Многие экспериментальные психологи отказываются принять теории Фрейда и Юнга, так как «эти теории не могут быть наукой подобно атомной физике или эндокринологии. Но при этом их нельзя назвать псевдонауками, как астрологию; теории Фрейда и Юнга можно считать такими полунауками» [Conn, 1980: 132]. При желании, кстати, теорию Фрейда можно объявить предвестником неклассической науки с ее неустранимостью субъекта из познания [Бряник, 2012: 119]. Полунаукой можно считать и так называемую народную науку, термин, фигурировавший в 2002 г. на Генеральной ассамблее Международного совета научных союзов и в дискуссиях Парламентской Ассамблеи Совета Европы по народной медицине (1999). Термин «народная наука» обозначает наукообразные верования, которые носят в основном устный характер и применяются в народной медицине и сельском хозяйстве [Мартишина, 1997: 21]. На Западе популярен аналогичный термин «фолк-наука» как обозначение способов понимания природы и общества, не пользующихся научным методом. Это «интуитивное понимание» (intuitive understandings), неспособное проникнуть в суть знания, понять отношения систем высокого уровня с подсистемами более низкого уровня [Keil, 2003: 369]. Однако тип носителя, устный или письменный характер, интуитивность – не те критерии, по которым можно реально сказать, что это в когнитивном плане. Поэтому народная наука неизбежно должна анализироваться или как форма протонаучного познания, или как мистика.

Это уже довольно давно и делается: «Десять лет назад американское правительство решило провести исследование лекарств растительного и прочего альтернативного происхождения, чтобы выявить реально работающие препараты. На решение этого вопроса было потрачено 2,5 млрд долл., однако ответ вас разочарует – почти ничего не работает» [Marchione, 2009]. Реально работает лишь малая часть народных рецептов, а значит, большая часть народной науки – лженаука или явная мистика. Впрочем, история лженауки показывает, как часто происходит правильное определение лженаучности и без всякого развития, проверки этих предположений. М.В. Волькенштейн приводил примеры гипотез о



фиксации азота в организмах животных и превращении антибиотиков в вирусы, вирусов – в бактерии, бактерий – в кристаллы. Эти гипотезы оказались изначально лженаучными [Волькенштейн, 1975: 74–75]. Однако если первая гипотеза, по словам автора, проверялась, то для опровержения второй оказалось достаточно знать, что вирусы и бактерии содержат фосфор, которого нет в антибиотиках. Кстати, подобные точные оценки часто игнорируют, предпочитая делать акцент на ошибках научного сообщества, хотя очевидно, что в подавляющем числе случаев оно право.

Комплексность оценки и взаимосвязь с другими теориями как критерии различения псевдонауки и гипотез

Итак, более адекватной можно признать точку зрения о том, что есть отличия, которые могут быть видны и сразу после выдвижения гипотезы, а есть и те различия, которые появляются со временем, в диахроническом аспекте. Отвергая тезис о том, что всегда нужен научный эквивалент для определения научности гипотезы, и тезис о необходимости развития любой гипотезы в рамках научно-исследовательской программы, нам нужно предложить нечто иное.

Лакатос подразумевал необходимость комплексного анализа гипотез, видя эту комплексность в анализе развития гипотезы на каком-то временном промежутке. Слабые места этой идеи были показаны выше; методология Лакатоса не может быть применена ко многим случаям. Комплексность анализа, на мой взгляд, необходима, но это должна быть комплексность иного рода. Почему бы не характеризовать не только саму интерпретацию, но и те факты, теории, данные, термины, которые она привлекает? Критерием отличия научных интерпретаций от псевдонаучных может стать достоверность, надежность не только самой интерпретации, но и цепочки вспомогательных объяснений и фактов, привлекаемых для ее доказательства, обоснования. Если эти привлекаемые факты и объяснения столь же ненадежны, то ненадежна и сама интерпретация. Это ключевой момент.

Как это работает на практике? Вспомним пример Тагарда о биоритмах. По теории трех ритмов интеллектуальная, физическая и эмоциональная деятельность протекает строго циклично (график – правильная синусоида) с момента рождения человека, с периодом 23, 28 и 33 суток. В другой интерпретации дело не в самом челове-



- ке, а в космических процессах, влияющих на него и протекающих циклично. Эти предположения основаны на множестве допущений:
- ◇ плодотворность деятельности может быть точно оценена;
 - ◇ физический биоритм формируется за счет магнитного поля Земли при вращении ядра Земли длительностью 23 дня (явно неправильное положение, так как о предполагаемом вращении ядра судят по процессу смены магнитных полюсов, который занимает 200–250 тыс. лет);
 - ◇ эмоциональный биоритм зависит от влияния лунных циклов, от периода обращения Луны вокруг Земли;
 - ◇ интеллектуальный цикл зависит от вращения Земли вокруг Солнца и его взаимодействия с зодиакальными созвездиями (как и предыдущее – старые астрологические идеи);
 - ◇ можно оценивать отдельно физические, интеллектуальные и эмоциональные возможности.

Ни одна из этих идей не является надежной. Реальный вид кривой ритмов далек от идеальной синусоиды, а период изредка может быть прослежен, но, как правило, он всегда нарушается, так как ритмы непостоянны – даже ритм биения сердца. Интеллектуальный и эмоциональный ритмы не могут быть разделены – плохой эмоциональный фон означает расстройство умственной деятельности, как, впрочем, и плохое самочувствие. Настроение, как известно, меняется несколько раз в день, а интеллектуальная деятельность и вовсе не подчиняется периодичности. Многие писатели, например, указывали, что вдохновение приходило только тогда, когда они каждодневно заставляли себя работать. Аналогичен случай со спортсменами, набор оптимальной формы у которых действительно периодичен, однако регулярности здесь нет.

Поэтому Тагард лукавил, говоря о недостатке альтернативных знаний и невозможности оценить теорию биоритмов. Однако нет нужды объявлять эту теорию лженаучной (а такую дилемму – наука или лженаука – и предполагал Тагард) – правильное отнести ее к псевдонауке, хотя она и основана на ложных допущениях. Несмотря на то что эта идея скомпрометирована контактом с астрологическими и мистическими допущениями, академическая хронобиология, например, находит немало примеров цикличности в жизни человека и животных. Поэтому сама идея в целом не может отвергаться.

Комплексность оценки – простая идея, она часто используется научными журналистами, критикующими псевдо-(лже)науку. Кроме того, есть и другая возможность оценки. Если мы пытаемся оценить гипотезу как научную или псевдонаучную до формулировки



окончательного научного ответа на проблему, то необходимо обратить внимание, является ли она органически связанной с предыдущим корпусом знания, может ли потенциально войти в него. Упомянутая хронобиология ведет анализ в соответствии с данными естествознания, а теория трех ритмов самопротиворечива и изолирована от науки. Но гипотеза должна соотноситься с другими известными теориями: «Любая внутренне противоречивая теория может предсказать все что угодно, поскольку она может быть подтверждена столь же противоречивыми фрагментами данных. Любая теория, непригодная к контакту с другими теориями, не в состоянии воспользоваться их помощью и контролироваться ими. Это часто и случается со многими псевдонаучными концепциями. Худшее из возможного – это не опровержение теории экспериментами, которые она сама индуцировала, а отсутствие ее связи с другими теориями» [Бунге, 1975: 302]. Методы оценки допущений гипотезы, которые считаются надежными, подталкивают нас к оценке включенности гипотезы в корпус научного знания в целом, и это ключевой момент.

Гипотетичность многих научных теорий приводит к закономерному вопросу: если это так, то какова разница между научными и псевдонаучными гипотезами, если подкрепляющие теории и там и там могут быть слабы и только вероятно подтверждены? Вкратце ответ таков: в современной науке актуальная гипотеза поддерживается очень большим числом других теорий, которые имеют свое обоснование, что и обеспечивает «жесткость» конструкции и высокую вероятность правильности оценки. В давние времена столь большой сети взаимосвязанных теорий не было, поэтому не было и той «жесткости» сети, что есть в науке сейчас. Более подробно поясним это на гипотетическом примере А. Дерксена: «Предполагаемый псевдоученый мог бы справедливо жаловаться, что черные дыры являются не менее таинственными, чем черная магия, и что черные дыры приемлемы только потому, что у них есть марка научной респектабельности, а черная магия отрицается из-за того, что она остается вне признанных наук» [Derksen, 1993:19]. Этот пример сходен с гипотетическим примером человека, считающего, что в каждом электроде есть ядро, которое не оказывает абсолютно никакого влияния и не порождает снаружи никаких эффектов [Lugg, 1992: 92].

Чем же отличаются эти примеры от теории черных дыр или темной материи? Дело в том, что теории следуют из большого количества других результатов, вполне подтвержденных, чего нет у черной магии и предполагаемого ядра электрона. Так, темная материя сходна с ядром электрона в том плане, что она никак себя не



проявляет и не контактирует с обычной материей. Однако ее существование следует сразу из нескольких установленных фактов и теорий – расширения Вселенной, дефицита светящейся массы, факта дисбаланса вращательных и гравитационных сил во вращающихся галактиках, измерений сверхновых звезд и космического реликтового излучения.

Решение противоречия предполагает, что должна быть огромная (до 90 %) недостающая масса, существование которой в совокупности предсказывают все перечисленные факты и теории. Успех гипотезы темной материи подкрепит и эти факты и методики. Научные теории подкрепляют друг друга и зависят от подтверждения взаимосвязанных теорий. Гипотеза темной материи следует из других научных фактов и интерпретаций, у нее хорошие шансы подтвердиться. Так и недавно считавшийся недостижимым гипотетичный бозон Хиггса стал реален, поскольку на его существование выводило многое в стандартной модели элементарных частиц (см., например: Brumfiel, 2012). В методологическом плане это схожие случаи.

Заключение

Итак, как можно видеть, для нового предположения важна адекватная оценка, и в этом моменте нельзя обойти роль научного сообщества. Оценивая применимость гипотезы к известным проблемам, каждый ученый «примеряет» предположение к своему пониманию науки, в том числе и к тем вопросам, которые другим могут казаться несущественными или решенными. В итоге гипотеза получает намного более широкую оценку, чем может сделать сам автор. Поэтому наибольшая опасность для новой гипотезы – это попадание не в рамки рационального анализа, а в поле лженаучных спекуляций, где тоже происходит оценка применимости, только на свой лад. Так, если изначально теория торсионных полей была сформулирована как предположение о некоей «пятой силе» в рамках известных четырех, то затем сторонники других лжеучений сочли, что торсионные поля – это и есть долгожданный материальный носитель энергоинформационных воздействий, телепатических полей, души, экстрасенсорного взаимодействия и т.п. Нужна исключительная честность и сильный характер, чтобы избежать такого соблазна. Однако создатели гипотезы о торсионных полях приняли все перечисленные выше идеи и в конечном счете интерпретация стала откровенно противоречить самой себе. С одной стороны, торсионные поля якобы настолько всепроникающие, что проходят че-



рез любые препятствия, но, с другой стороны, регистрируются приборами (как это утверждается в случае с душой), а экстрасенсорные взаимодействия якобы могут приниматься человеком. Конечно, здесь одно исключает другое и всякая возможность конструктивного диалога, критики оказалась утеряна.

Анализ структуры псевдонаучных интерпретаций и гипотез привел нас к таким результатам:

- ◇ важное отличие гипотез от псевдонауки в том, что гипотеза поддерживается другими научными теориями и эта системность на зрелой стадии науки делает гипотезы очень точными;
- ◇ подтверждаемость и обоснованность можно использовать как критерии научности, имея в виду сравнение не только с опытом, но и с признанными теориями;
- ◇ не всегда обязательно ждать развития нового предположения в исторической перспективе, чтобы определить его научность. Не все гипотезы могут быть названы научно-исследовательскими программами;
- ◇ стоит различать однозначно ложные теории и относительно неопределенные, переходные (псевдонаука).

В этом аспекте о псевдонауке в противовес «стандартному» определению можно говорить как о теоретических интерпретациях с неопределенной областью применения и ограниченной фактической базой, непроверенными вспомогательными предположениями, но не оцениваемых однозначно как ложные и изолированные от других научных теорий. Научные предположения и псевдонаучные интерпретации часто очень похожи, причем не только на стадии возникновения. Все это ведет к общему выводу о том, что необходимо отказаться от характеристики псевдонауки как заведомых заблуждений, оставив эту характеристику за лженаукой. Проблемы с девиантными доктринами часто следствие недостатка знания, сложности поставленных задач, а не злой умысел или недостаток образования. И. Ньютон, чувствуя, видимо, как трудно добраться до истины и как много промежуточных ступеней надо пройти, говорил о себе как мальчике, собирающем отдельные цветистые камушки на берегу безграничного океана истины. Можем ли мы всегда рассчитывать на большее?

Библиографический список

Брянник, 2012 – Брянник Н.В. Особенности эксперимента «неклассической» науки // Эпистемология и философия науки. 2012. № 1. С. 108–124.



ПСЕВДОНАУКА КАК ДЕВИАНТНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

- Бунге, 1975 – *Бунге М.* Философия физики. М. : Прогресс, 1975. 347 с.
- Волькенштейн, 1975 – *Волькенштейн М.В.* Трактат о лженауке // *Химия и жизнь*. 1975. № 10. С. 73–79.
- Дынич и др., 1994 – *Дынич В.И.* [и др.]. Вненаучное знание и современный кризис научного мировоззрения // *Вопросы философии*. 1994. № 12. С. 122–134.
- Илларионов, 2007 – *Илларионов С.В.* Теория познания и философия науки. М. : РОССПЭН, 2007.
- Лакатос, 2008 – *Лакатос И.* Избранные произведения по философии и методологии науки. М. : Академический проект ; Трикста, 2008. 475 с.
- Мартишина, 1997 – *Мартишина Н.И.* Наука и паранаука в духовной жизни современного человека. Омск : Изд-во ОмГТУ, 1997.
- Наука и квазинаука, 2008 – *Наука и квазинаука / В.М. Найдыш, Е.Н. Гнатик, В.Н. Данилов [и др.].* М., 2008.
- Романовский, 2004 – *Романовский С.И.* «Притащенная» наука. СПб., 2004.
- Россиянов, 1993 – *Россиянов К.О.* Сталин как редактор Лысенко. К предыстории августовской (1948) сессии ВАСХНИЛ // *Вопросы философии*. 1993. № 2. С. 56–69.
- Флек, 1999 – *Флек Л.* Возникновение и развитие научного факта. М. : Идея-Прогресс, 1999.
- Холтон, 1992 – *Холтон Дж.* Что такое антинаука? // *Вопросы философии*. 1992. № 2. С. 26–58.
- Юревич, 1999 – *Юревич А.В.* Наука и рынок // *Общественные науки и современность*. 1999. № 1. С. 29–38.
- Boudry, Braeckman, 2011 – *Boudry M, Braeckman J.* Immunizing Strategies and Epistemic Defense Mechanisms // *Philosophia*. 2011 (39). P. 145–161.
- Brumfiel, 2012 – *Brumfiel G.* Physicists Declare Victory in Higgs Hunt // *Nature*. 2012. – <http://www.nature.com/news/physicists-declare-victory-in-higgs-hunt-1.10940/>.
- Bunge, 2011 – *Bunge M.* Knowledge: Genuine and Bogus // *Science & Education*. 2011/ Vol. 20. P. 411–438.
- Conn, 1980 – *Conn J.H.* Is Psychoanalysis Alive and Well at 85? A Rejoinder // *Psychol. Sci.* 1980 № 3 (15). P. 131–134.
- Derksen, 1993 – *Derksen A.A.* Seven Sins of Pseudo-science // *Journal for General Philosophy of Science*. 1993 (24). P. 17–42.
- Frey, 2009 – *Frey U.* Cognitive Foundations of Religiosity // *The Biological Evolution of Religious Mind and Behavior* ; E. Voland, W. Schiefelhoevel (eds). The Frontiers Collection. Berlin : Springer Verlag, 2009. P. 229–241.
- Gilovich, 1991 – *Gilovich T.* How We Know what Isn't So: The fallibility of Human Reason in Everyday Life. N.Y. : Free Press, 1991.
- Grove, 1985 – *Grove J.W.* Rationality at Risk: Science against Pseudoscience // *Minerva*. 1985 (23). P. 216–240.
- Hansson, 1996 – *Hansson S.O.* Defining Pseudoscience // *Philosophia Naturalis*. 1996. № 33. P. 169–176.
- Hansson, 2006 – *Hansson S.O.* Falsificationism Falsified // *Foundations of Science*. 2006. № 11. P. 275–286.
- Hansson, 2008 – *Hansson S.O.* Science and Pseudoscience (Stanford Encyclopedia of Philosophy). 2008. – <http://plato.stanford.edu/entries/pseudo-science/>.



- Keil, 2003 – *Keil F.C.* Folkscience: Coarse Interpretation of Complex Reality // *Cognitive Sciences*. 2003. Vol. 7. № 8. P. 368–373.
- Kipnis, 2011 – *Kipnis N.* Errors in Science and their Treatment in Teaching Science // *Science & Education*. 2011. Vol. 20, № 7–8. P. 655–685.
- Laudan, 1983 – *Laudan L.* The Demise of Demarcation Problem // *Physics, Philosophy and Psychoanalysis: Essays in Honor of Adolf Grünbaum* : Boston Studies in the Philosophy of Science (76). Kluwer Academic Publishers, 1983. P. 111–127.
- Lugg, 1992 – *Lugg A.* Pseudoscience as Nonsense // *Methodology and Science*. 1992 (25). P. 221–230.
- Marchione, 2009 – *Marchione M.* Unproven remedies: \$2.5 billion spent, no alternative med cures found. – Associated Press, 2009. – <http://www.msnbc.msn.com/id/31190909/>.
- Martin, 1992 – *Martin B.* Scientific Fraud and the Power Structure of Science // *Prometheus*. 1992. № 10 (1). P. 83–98.
- Pennock, 2011 – *Pennock T.R.* Can't Philosophers tell the Difference between Science and Religion? Demarcation revisited // *Synthese*. 2011. № 3. P. 177–206.
- Sun Si, 2007 – *Sun Si.* A Critique of Relativism in the Sociology of Scientific Knowledge // *Front. Philos. China*. 2007. № 2 (1). P. 115–130.
- Thagard, 1978 – *Thagard P.* Why Astrology is a Pseudoscience // *Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association*. 1978 (1). P. 223–234.
- Theocharis, 2001 – *Theocharis T.* What Is «Episteme»? The Means of «Science» and «Truth». *Episteme*. 2001. № 4. – <http://itis.volta.alessandria.it/episteme/ep4/ep4th1.htm>.



НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В МЕДИЦИНЕ XVIII В.

Андрей Михайлович Сточик – академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБУ «НИИ истории медицины» РАН.

Сергей Наркизович Затравкин – доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом ФГБУ «НИИ истории медицины» РАН. E_mail: zatravkine@mail.ru



В статье представлены результаты исследования, основанного на применении к анализу истории медицины XVII в. концепции структуры и динамики научного познания, разработанной В.С. Степиным. Научная революция в медицине XVIII в. носила локально-дисциплинарный характер и состояла в изменении картины исследуемой реальности. Ее механизмом послужило преодоление сложившегося в медицине 1690-х гг. внутридисциплинарного кризиса, связанного с осознанием невозможности объяснить все процессы жизнедеятельности здорового и больного человеческого организма исключительно на основе картезианских представлений о «соударении» частиц, лишенных каких-либо специфических свойств.

Выход из кризиса обеспечило дополнение картезианской картины исследуемой реальности представлениями о существовании «внутренних деятельных сил», присущих организму человека. Применительно к природным телам вообще эти представления были введены в европейскую науку Нового времени Г. Лейбницем и И. Ньютоном. Внедрение в медицину идей динамизма связано главным образом с деятельностью А. Питкерна, Ф. Гоффмана, Э. Шталя, Дж. Бальиви, Г. Бургаве, а также А. Галлера, представившего экспериментальные доказательства существования сил, присущих только живым организмам.

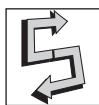
Во второй половине XVIII в. возникли и получили распространение новые медицинские учения (Т. Борде, П. Бартез, Х. Гуффеланд, Ф. Медикус, Дж. Броун, И. Блюменбах, А. Месмер), определявшие жизнедеятельность человеческого организма в его здоровом и больном состояниях как результат совокупного действия различных сил. Признание большинством врачебного сообщества идей динамизма привело к кардинальному пересмотру представлений о болезни, возникновению принципиально новых подходов к изучению, диагностике, лечению и профилактике заболеваний человека и ознаменовало окончательное утверждение в медицине новой, несводимой к механической картины исследуемой реальности.

Ключевые слова: научная революция, картина исследуемой реальности, медицина, Декарт, Лейбниц, Ньютон, Шталь, Галлер.

Scientific Revolution in Medicine of the XVIIIth Century

Andrey Stochik – academician of RAMS (Russian Academy of Medical Sciences), MD, professor, director of Scientific Research Institute of the History of Medicine Russian Academy of Medical Sciences.

The article presents the results of the studies based on the application of the concept of the structure and dynamics of scientific knowledge developed by V.S. Stepin to the analysis of the history of the XVII century medicine. The scientific revolution in the XVIII century medicine was of a locally-disciplinary nature and involved changing the picture of reality. Its mechanism was the negotiation of the intradisciplinary crisis which prevailed in the medicine of the 90s of the XVIIth century and associated with the realization of the impossibility to explain all life processes of a healthy and diseased human body solely on the basis of Cartesian notions of «collisions» of particles devoid of any specific property.



Sergey Zatravkin – MD, professor, head of the department of the History of Medicine Scientific Research Institute of the History of Medicine Russian Academy of Medical Sciences.

The recovery was found by supplementing the Cartesian picture of reality with the ideas of the existence of «internal living forces» specific to the human organism. With regard to natural bodies in general these ideas were introduced in the European science of modern times by Leibniz and Newton. The introduction of the ideas of dynamism in medicine is associated mainly with the activity of A. Pitcairne, F. Hoffmann, E. Stahl, G. Baglivi, H. Boerhaave and A. Haller who presented experimental evidence of the existence of powers inherent only in living organisms.

In the second half of the 18th century there appeared and became widespread new medical teachings (Th. Bordeu, P. Barthez, Ch. Hufeland, F. Medicus, J. Brown, J. Blumenbach, A. Mesmer) that determined the vital functions of a human body in its healthy and sick condition as a result of the cumulative effects of various forces. The recognition of the ideas of dynamism by the majority of the medical community led to a fundamental revision of ideas about the disease, the emergence of new approaches to the study, the diagnosis, the treatment and prevention of human diseases and marked in medicine the final approval of a new picture of reality, which cannot be reduced to a mechanical one.

Key words: scientific revolution, the picture of reality, medicine, Descartes, Leibniz, Newton, Stahl, Haller.

Научная революция в медицине XVII в. завершилась внутридисциплинарным кризисом, связанным с осознанием невозможности объяснить все процессы жизнедеятельности здорового и больного человеческого организма исключительно на основе представлений о «соударении» частиц, лишенных каких-либо специфических свойств [Сточик, 2013: 163–176].

Первые научно обоснованные сомнения в состоятельности картезианских объяснений возникли еще в 1660-х – начале 1670-х гг. Основанием для них послужили результаты исследований в области изучения физиологии мышечных сокращений. Напомним, Р. Декарт и его сторонники полагали, что сокращение мышцы состоит в увеличении ее объема и происходит в результате непосредственного поступления в нее частиц «животных духов» из нервов. Датский анатом Н. Стенон (1663, 1667), голландский естествоиспытатель Я. Сваммердам (1667) и английский врач, профессор Кембриджского университета Ф. Глиссон (1672) установили, что, несмотря на видимое «раздувание» мышц при сокращении, их объем не увеличивается.

Причем если Сваммердам и Глиссон представили экспериментальные доказательства (опыты с погруженным в воду нервно-мышечным препаратом лягушки – Я. Сваммердам; плетизмография – Ф. Глиссон), что оставляло сторонникам Декарта возможность оспаривать полученные результаты, то Стенон доказал постоянство объема мышцы неопровержимыми геометрическими построениями. Это открытие означало,



что частицы «животных духов» из нервов не переходят в мышцы и не принимают непосредственного участия в мышечном сокращении. Они лишь запускают этот процесс, который, как показал Стенон, состоит в укорочении составляющих мышцу мышечных волокон. Объяснить же механизм этого укорочения на основе простого соударения бескачественных частиц авторы сочли невозможным¹. Особую актуальность возникшей проблеме придавал тот факт, что в 1664 г. уже упоминавшийся Стенон, а в 1667 г. английский врач Р. Лоуэр независимо друг от друга представили неопровержимые доказательства того, что сердце также является мышцей.

Тогда кризиса удалось избежать благодаря усилиям английских врачей У. Круна и Т. Уиллиса (1664), а также последнего из учеников Г. Галилея, итальянского врача и математика Дж. Борелли (1680–1681), разработавших специальную теорию, призванную объяснить механизм укорочения мышечных волокон в рамках представлений картезианской кинетической механики. Согласно этой теории, сокращение мышечных волокон – результат химической реакции, которая возникает в момент контакта частиц «животных духов» с кровью в мышце и выражается в своеобразном закипании крови. «Возбужденные частицы крови» проникают в мышечные волокна, они вздуваются и мышца сокращается. Иными словами, непосредственной причиной сокращения мышечных волокон были объявлены частицы «возбужденной» крови самой мышцы, а не «животных духов», что в свою очередь позволяло объяснить причины неизменности объема мышцы в процессе ее сокращения.

Однако появление и признание этой теории лишь отсрочило наступление кризиса. В 1692–1693 гг. была опубликована серия лекций шотландского врача, профессора Лейденского университета А. Питкерна, нанесящая сокрушительный удар по действовавшей картине исследуемой реальности. Наибольший резонанс в медицинском мире вызвала лекция «О циркуляции крови через мельчайшие сосуды организма» (1693), в которой Питкern опроверг ятромеханические объяснения сразу пяти важнейших феноменов

¹ В 1672 и 1677 гг. Глиссон опубликовал две работы, в которых гипостазировал понятие о «раздражимости» как одном из имманентных свойств материи, состоящем в ее способности быть возбуждаемой раздражителем, и использовал его для объяснения механизма мышечных сокращений. Однако в силу того, что это понятие носило метафизический характер и противоречило картезианской картине реальности, исключавшей любые «скрытые качества», данные Глиссоном объяснения не получили признания.



жизнедеятельности: образования секрета желез, мочеотделения, питания, тканеобразования и роста живых организмов.

Декарт, а вслед за ним и все без исключения ятромеханики считали, что перечисленные процессы являются результатом механического воздействия давления крови, выдавливающего частицы крови в плотные части тела через отверстия в сосудистой стенке. Строгую специфичность такой фильтрации (в почках фильтруются только ненужные организму частицы; в железах – частицы, образующие секрет данной конкретной железы, и т.д.) картезианцы объясняли тем, что для каждой частицы существуют строго соответствующие ее размеру и форме отверстия.

Питкертн с помощью чисто геометрических построений наглядно продемонстрировал, что такой механизм фильтрации не может обеспечить ее специфичности: частицы малых размеров вне зависимости от их формы будут свободно проходить через отверстия, предназначенные для более крупных частиц; через круглые отверстия смогут отфильтровываться как шарообразные, так и конусообразные частицы. Уже только этого было вполне достаточно, чтобы признать картезианские объяснения ошибочными. Но Питкертн пошел дальше. Он привел два уравнения Гюйгенса, с помощью которых доказал, что избирательное «процеживание» по механизму Декарта не только не в состоянии обеспечить специфичность фильтрации, но и невозможно в принципе: из гетерогенной жидкости через пору определенного размера будут фильтроваться либо все частицы, либо ни одной [Guertini, 1987: 70–83].

Последнее означало, что поры в сосудистых стенках (если такие существуют) имеют одинаково большой размер, позволяющий проходить через них частицам любых форм и размеров, а специфичность фильтрации становилась попросту необъяснимой с позиций картезианской кинетической механики.

Лекции Питкертна, наглядно показавшие несостоятельность картезианских объяснений важнейших феноменов жизнедеятельности, заставили врачебное сообщество «вспомнить» и другие упреки в адрес кинетической механики Декарта, которые до этого попросту игнорировались. В частности, вспомнили о неубедительности ятрофизических и ятрохимических объяснений таких феноменов, как «самопроизвольное выздоровление» и заживление ран. Вспомнили и о неудаче ятромеханических и ятрохимических лечебных технологий, базировавшихся на идее скорейшего восстановления нормального движения частиц в теле человека и носивших крайне агрессивный характер. Особенно жесткой критике (Т. Сиденгам, Г. Патен, Г. Гарвей, Г. Шталь, Дж. Бальиви) бы-



ли подвергнуты спагирические (химические) лекарственные средства, которые, по словам Г. Патена, унесли больше жизней, чем шведский король в Пруссии.

Возникшая кризисная ситуация определила начало следующей научной революции в медицине, продолжавшейся вплоть до конца XVIII в. Эта революция носила локально-дисциплинарный характер и состояла в формировании новой картины исследуемой реальности, предусматривавшей пересмотр ряда картезианских представлений о принципах устройства и механизмах функционирования организма человека исходя из идеи о том, что человеческому организму, как и другим природным телам, присущи собственные источники движения – «внутренние деятельные силы».

Применительно к природным телам вообще эта идея начала активно внедряться и использоваться в европейской науке Нового времени незадолго до времени рассматриваемых событий. Ее главными пропагандистами выступили немецкий ученый и философ Г. Лейбниц и английский ученый И. Ньютон.

Лейбниц в 1680–1690-х гг. в ряде публикаций в научных журналах подверг резкой критике картезианский взгляд на природу как на «мертвый механизм», движения в котором осуществляются лишь в результате божественного первотолчка. «Нужно допустить, – писал он в 1692 г. в работе “О самой природе, или природе сил и деятельности творений”, – что вещам дана некоторая действительность, форма или... природная внутренняя сила...» [Лейбниц, 1984: 295]. Кинетическая механика Декарта, исключившая из природы внутреннюю силу, оказалась, с точки зрения Лейбница, малоприменимой для анализа законов взаимодействия тел. Критикуя физику Декарта, Лейбниц одновременно противопоставил ей свою динамическую физику, в которую ввел такие понятия, как «первичная сила», «производная сила», «энергия», «активная потенция» и др. [Гайденко, 2009: 231–235; Майоров, 1984: 3–40].

Идею существования у природных тел собственных «внутренних деятельных сил» не менее активно использовал и Ньютон. В 1686–1687 гг. вышли в свет его знаменитые «Математические начала натуральной философии», в которых на основе использования представлений о присущей всем телам дальнодействующей силе взаимного притяжения (силе тяготения) ученый успешно свел все известные на то время сведения о движении тел в единую систему земной и небесной механики; он дал безупречные объяснения таких физических явлений, как падение тел, движения и орбиты планет, причины приливов и отливов и др.



В 1692 г. в работе «О природе кислот» Ньютон ввел представления о короткодействующих силах химического сродства и отталкивания, с помощью которых принципиально по-новому объяснил механизмы образования растворов, химического взаимодействия и превращения веществ [Вавилов, 1945].

Включение в картину исследуемой реальности в медицине динамических идей началось в 1690-х гг. – первой трети XVIII в. и стало заслугой главным образом пяти выдающихся врачей и университетских профессоров – А. Питкерна (Лейден, Эдинбург), Ф. Гоффмана и Г. Шталя (Галле), Дж. Бальиви (Рим), и Г. Бургаве (Лейден).

Первым решительным шагом стали уже упоминавшиеся лекции Питкерна в Лейденском университете. Опровергнув картезианскую концепцию фильтрации, он одновременно предпринял попытку объяснить причины избирательного «процеживания» частиц крови через сосудистую стенку с помощью идеи Ньютона о короткодействующих силах химического сродства и отталкивания между частицами крови, с одной стороны, и частицами органов – с другой.

Об этой идее Питкерна узнал непосредственно от Ньютона, когда встречался с ним весной 1692 г. в Тринити-колледже. В ходе той встречи Ньютон не только подробно изложил Питкерну свои динамические идеи применительно к разработке проблем жизнедеятельности и медицины, но и отдал ему рукопись работы «О природе кислот» с тем, чтобы тот передал ее для ознакомления их общему другу математику и астроному Д. Грегори [Guerrini, 1987: 70–83].

Однако предложением использовать силы химического сродства и отталкивания для объяснения механизма секреции частиц крови и причин ее избирательности Питкерна не ограничился. Повторив прием, использованный Ньютоном для введения в картину физической реальности силы тяжести, он постулировал, что циркуляция крови в организме человека является результатом действия сразу двух особых сил – силы мышечных волокон сердца и силы пульсации стенок артериальных сосудов².

Следующим шагом на пути внедрения в медицину динамических идей стали работы профессора университета в Галле Ф. Гоффмана, датированные 1690-ми гг. Среди них наиболее важной была «Fundamenta Medicinae» («Основы медицины», 1695), в

² Идеи Питкерна быстро завоевали признание, особенно среди шотландских врачей. Питкерна активно поддержали Дж. Келли, Дж. Фрейнд, Г. Чейни, Р. Мид, В. Кокбурн, внесшие существенный вклад в распространение и развитие его идей.



которой, опираясь на ряд философских идей Лейбница³, он изложил основные положения своего знаменитого физико-динамического учения⁴. Согласно этому учению, жизнь представляет собой движение, обусловленное взаимодействием материальных и динамических факторов. Для того чтобы разрешить вопрос об источнике движения, Гоффман «наполнил» организм человека множеством гипотетических сущностей, каждой из которых (за исключением нематериальной рациональной души) были присущи внутренние деятельные силы. Так, чувственной душе, служившей материальным посредником между телом и нематериальной рациональной душой, была присуща так называемая направляющая, или формообразующая, сила. Взаимодействие чувственной души с телом осуществлялось благодаря «нервному флюиду», образовывавшемуся в головном мозге из мирового эфира и обладавшему целым набором разнообразных сил – чувствительной, пластической, симпатической и двигательной. Двигательная сила «нервного флюида» вызывала сокращение фибр – нитевидных частиц, сплетением которых образовывались все твердые части тела⁵. Фибры в свою очередь обладали силой упругости (эластичности), позволявшей им возвращаться в исходное состояние после сокращения. Противодействие силы «нервного флюида» и силы упругости фибр определяло постоянный «тонус» твердых частей тела и обеспечивало движение всех жидкостей в организме [King, 1969: 17–19; Guenter].

Третий шаг последовал в 1700–1702 гг., когда римский профессор Дж. Балживи сформулировал теорию «живых фибр». Опираясь на собственные наблюдения и свидетельства других врачей о том, что мышцы и сердце могут сокращаться даже после смерти человека⁶, он постулировал, что все фибры, обладают собственными силами и разделяются на чувствительные и двигательные. Чувствительные фибры обладают силой передавать ощущения в

³ Гоффман принял лишь часть идей Лейбница. Он категорически отверг концепции предустановленной гармонии и психофизического (психофизиологического) параллелизма.

⁴ В окончательном виде физико-динамическое учение Гоффмана было представлено в трудах «*Medicinae rationalis systematicae*» (в 2 т., Halle, 1718–1720) и «*Opera omnia physico-medica*» (в 6 т., Geneva, 1740).

⁵ Концепция фибр как элементарных структурных единиц живых организмов возникла под влиянием микроскопических исследований А. Левенгука, Р. Гука, М. Мальпиги в результате последовательных усилий Дж. Борелли (1680–1681), Н. Грю (1682), Ф. Верхеена (1693), Ф. Гоффмана (1695), Дж. Келли (1698).

⁶ С подобными сообщениями выступали Р. Бойль (1663), Р. Гук (1664), Н. Стенон (1667), И. Бон (1668), Р. Лоуэр (1669), Я. Вепфер (1679), И. Пейер (1682), но никто из них не придал этому факту должного значения.



центральное чувствилище, а двигательные – сокращаться под воздействием различных раздражителей [Steinke, 2005: 21–27]. Эту идею практически сразу же поддержал Гоффман, уже в 1718–1720 гг. включивший ее в свое физико-динамическое учение.

Идею использовать динамические представления для объяснения важнейших физиологических процессов горячо поддержал и коллега Гоффмана по университету в Галле, уже широко известный к тому времени химик и врач Г. Шталь. Однако он не согласился ни с одним из названных выше ученых в вопросе о главном источнике сил, присущих человеческому организму. Шталь считал материю пассивной, а все «движения и изменения», происходящие в живом организме, напрямую связал с силами нематериальной рациональной души.

Учение Штalia, основные положения которого нашли отражение в труде «Theoria medica vera» (Истинная теория медицины, 1707–1708), было расценено как попытка отказа от завоеваний научной революции XVII в. и вызвало бурю негодования. Штalia резко критиковали и картезианцы, и Лейбниц, и Гоффман. Рамки настоящей публикации не позволяют подробно остановиться на содержании всех дискуссий, в которые в 1710–1740-х гг. оказался вовлеченным Шталь. Отметим лишь два наиболее важных для целей нашего исследования обстоятельства. Во-первых, если рассматривать учение Г. Штalia с точки зрения идеи существования «внутренних деятельных сил», присущих организму человека, то следует признать, что оно не имело принципиальных отличий от приведенных выше учений и теорий. Шталь рассматривал душу как одну из сущностей самого организма (организм – неразрывное единство двух постоянно взаимодействующих сущностей – души и тела)⁷, а следовательно, источник сил находился «внутри» организма. Во-вторых, и само учение, и возникшая вокруг него полемика привлекли внимание врачей и тем самым сыграли важную роль во внедрении в медицину динамических идей.

Наконец, отдельного упоминания заслуживает деятельность профессора Лейденского университета Г. Бургаве. Вплоть до 1715 г. Бургаве выступал в роли последовательного сторонника картезианских представлений, однако под влиянием Питкерна, Гоффмана и Штalia он пересмотрел свои взгляды и стал активно внедрять динамические идеи. В начале 1730-х гг. Бургаве даже вы-

⁷ Шталь особо подчеркивал, что не только тело существовало ради души, но и душа могла действовать только в рамках предоставляемых телом возможностей и действовала только «вместе с телом, в теле, ради тела» [Карпов, 1912: 288–360].



ступил с идеей о том, что каждый орган человеческого тела обладает особой жизненной силой, обеспечивающей выполнение этим органом своих специфических функций.

Важность этого события в истории медицины XVIII в. невозможно переоценить. Бургаве являлся самым известным и популярным врачом и университетским профессором Европы первой трети XVIII в. На его лекции постоянно съезжались сотни студентов из всех европейских стран, поэтому трудно представить себе лучший способ пропаганды новых идей, чем их изложение с кафедры Лейденского университета в исполнении Бургаве.

В результате последовательных усилий Питкерна, Бальиви, Гоффмана, Шталя и Бургаве были заложены основы новой картины исследуемой реальности в медицине, дальнейшее развитие и успешное функционирование которой определили труды швейцарского врача, профессора Геттингенского университета А. Галлера.

До Галлера представления о «внутренних деятельных силах» использовались главным образом в качестве средства объяснения тех феноменов жизнедеятельности, которые были либо необъяснимы, либо плохо объяснимы с позиций кинетической механики Декарта. Галлер был первым, кто поставил и успешно разрешил вопрос о необходимости строго естественно-научного изучения самих этих сил и определил возникновение новой исследовательской программы, в рамках которой основным объектом изучения становились не столько «формы» и «движения», сколько «силы» и «специфические свойства», присущие как организму человека в целом, так и отдельным его органам и частям. «Физиолог, – писал Галлер, – должен дать объяснения внутренних движений тела животного... дать объяснения тем силам, которыми поддерживается сама жизнь, а также тому, посредством каких образов вещей чувства сообщают о них душе, каковы силы мышц, которые сокращаются по воле сознания. Наконец, он должен дать объяснения тем силам, которые преобразуют пищу в наши жизненные соки, как часть этих соков используется для поддержания нашего тела, а другая – для продления рода человеческого» [Рое, 1984: 276].

Он провел тысячи экспериментов, чтобы получить количественные показатели силы сердечных сокращений и пульсирующей силы сосудов; установить законы действия пластической силы; обнаружить силы, обеспечивающие двигательную активность; раскрыть интимные механизмы «симпатических» взаимоотношений между органами. «Если какой-нибудь физиолог, – писал в начале XIX в. выдающийся французский естествоиспытатель Ф. Ма-



жанди, – только думает поставить опыт, предполагая, что он новый, то он найдет его описание в книгах Галлера» [Меркулов, 1981: 65]. И эти титанические усилия не пропали даром.

Наибольших успехов Галлер добился в сфере изучения механизмов двигательной активности. Метафизические рассуждения Ф. Глиссона о раздражимости и гипотезы Бальиви, Гоффмана и Бургаве о «живых фибрах» получили в его исследованиях исчерпывающее экспериментальное подтверждение и превратились в научно установленные факты.

На основании экспериментов с разделением живых организмов на части и последующем воздействием на них различными раздражителями (механическими, термическими, электрическими, химическими) он получил фактические доказательства существования в «животных организмах» сразу трех сил – силы упругости, собственной силы мышц (*vis insita*) и силы чувствительности (*vis sensitivitatis*) [Gigliani, 2008: 465–493].

Сила упругости, которой обладали все части тела, была отнесена Галлером к простым механическим силам, присущим как живым, так и неживым телам, и названа им «мертвой силой». *Vis insita* и *vis sensitivitatis* были обнаружены Галлером только в живых организмах, причем первая только в мышцах, а вторая – только в нервах. Действие *vis insita* состояло в обеспечении способности мышц в ответ на любое раздражение отвечать сокращением длины мышечных волокон (двигательных фибр) и было названо Галлером раздражимостью⁸; действие *vis sensitivitatis* обеспечивало специфическое свойство нервов в ответ на раздражение отвечать ощущением и было названо им чувствительностью.

В экспериментах Галлера *vis nervosa* устранялась наложением лигатуры на нерв или разрушением мозга; *vis insita* не устранялась ни одним из названных способов. Она продолжала какое-то время действовать даже после смерти подопытного животного и в мышечных органах, извлеченных из тела. Галлер также доказал, что единственным условием для возбуждения *vis insita* является наличие раздражителя (стимула), причем действие этой силы никак не зависело от характера раздражителя и менялось лишь при изменении его интенсивности.

Исследования Галлера, доказавшие существование «внутренних деятельных сил» организма человека, произвели ошеломляю-

⁸ Галлер заимствовал термин «раздражимость» (*irritabilis*) у Глиссона, наполнив его принципиально новым содержанием. В дальнейшем галлеровская собственная сила мышц (*vis insita*), обеспечивавшая раздражимость мышц, стала называться силой раздражимости (*vis irritabilitatis*).



щее впечатление. Началось стремительное распространение и внедрение в медицину динамических идей. Десятки врачей и естествоиспытателей по всей Европе занялись экспериментальными исследованиями различных сил, действующих в живых организмах. К этой работе активно подключились и химики, развернувшие исследования в области изучения «животного вещества» и роли сил химического сродства и отталкивания в процессе его образования. Одно за другим стали появляться новые медицинские учения (Т. Борде, П. Бартез, Х. Гуфеланд, Ф. Медикус, У. Куллен, Дж. Броун, И. Блюменбах, А. Месмер), целиком построенные на динамических идеях и определявшие всю жизнедеятельность человеческого организма в здоровом и больном его состоянии как результат совокупного действия различных сил.

Как следствие окончательно сложилась новая картина исследуемой реальности в медицине, в рамках которой человеческий организм перестал представляться мертвым механическим устройством, единственным отличием которого от машин, созданных самим человеком, являлась мыслящая душа. Сложились устойчивые представления об организме как об одушевленной механико-гидравлической машине, обладающей значительным количеством «внутренних деятельных сил», являющихся главным источником движений этой машины. «Собрание... сил, которыми одарено тело одушевленное, называется натурою, или природою человеческого тела, – читаем мы в одном из самых распространенных университетских учебников по физиологии последней четверти XVIII в. – Природа одушевленного тела с помощью этих сил, от Творца ему данных, также и посредством твердых и жидких частей, из которых оно составлено, совершает разные действия, которые обыкновенно называются функциями тела» [Пленк, 1789].

Силы, «которыми одарено тело одушевленное», подразделялись на две основные группы. К первой относились силы, присущие любым механизмам и получившие название физических, – сила упругости, сила инерции, сила тяжести, силы химического сродства и отталкивания; к второй – силы, которыми обладали только «живые» («одушевленные») машины. В последней четверти XVIII в. их перечень стал еще больше. Медикус и Бартез ввели представления о «силе крови», действием которой объяснялась свертываемость крови и процесс ее образования из хилуса. Борде многочисленными наблюдениями и экспериментами обосновал существование «жизненной силы желез», обеспечивавшей образование специфических секретов этих органов и их физиологиче-



скую активность. Л. Гальвани, ошибочно интерпретировав результаты своих опытов с электричеством, ввел представление о «животном электричестве»; А. Месмер – о «животном магнетизме»⁹. Признание подавляющим большинством врачебного сообщества существования сил, присущих только живым телам, привело к тому, что новая картина исследуемой реальности в медицине, сложившаяся в XVIII в., оказалась несводимой к механической.

Введение в картину исследуемой реальности «внутренних деятельных сил», присущих человеческому организму, привело к кардинальному пересмотру представлений о болезни и возникновению принципиально новых подходов к изучению, диагностике и лечению заболеваний человека.

В XVIII в. под болезнью стали понимать не только различные «нарушения» в составе и движениях частиц в соках и плотных частях тела, но в первую очередь ответную реакцию «целебной силы природы» организма на эти «нарушения». Об этой важнейшей для врачей XVIII в. «внутренней деятельной силе» мы умышленно умолчали, чтобы уделить ей отдельное внимание.

После опровержения галенизма первым о существовании «целебной силы природы» (*vis medicatrix nature*) начал говорить и писать известный английский врач Т. Сиденгам еще в 1660–1670-х гг. Однако в рамках картезианской картины исследуемой реальности эта его идея осталась невостребованной и получила широкое признание лишь в XVIII в. одновременно с проникновением в медицину динамических идей. Из всех перечисленных выше врачей XVIII в., пожалуй, только Гоффман не использовал понятия о «целебной силе природы». Наиболее активно его пропагандировали Бальиви, Бургаве, Шталь, Г. Чейни, Р. Мид, А. Галлер, И. Гауб, Б. де Соваж, Т. Борде, П. Бартез, У. Куллен, Ф. Медикус, Г. ван Свитен, М. Штоль, И. Блюменбах [Neuburger, 1944: 16–28]. При этом одни авторы понимали под «целебной силой природы» совокупность всех присущих организму сил, поддерживающих в нем жизнь, другие выделяли ее как особую самостоятельную силу. Однако как те, так и другие связывали с ней невосприимчивость к болезням, феномены выздоровления и заживления ран.

Было признано, что при всем многообразии возможных ответных реакций «целебной силы природы» на появление «болезне-

⁹ В первой трети XIX в. перечень жизненных сил, присущих человеческому организму, пополнится специфическими свойствами и силами 21 ткани (М. Биша) и силами органов чувств (И. Мюллер).



творной материи» их число не бесконечно и они имеют типовые разновидности. Последние представляют собой отдельные болезненные формы – заболевания, каждое из которых обладает индивидуальным, присущим только ему набором «внешних болезненных явлений» (симптомов). «Высшее Существо, производя болезни, подчиняется законам не менее определенным, чем скрепящая растения или животных, – прямо указывал Т. Сиденгам. – Тот, кто внимательно наблюдает порядок, время, час, когда начинается переход лихорадки к фазам, феноменам озноба, жара, одним словом, всем свойственным ей симптомам, будет иметь столько же оснований верить, что эта болезнь составляет определенный вид, как он верит, что растение представляет один вид, ибо оно растет, цветет и погибает одним и тем же образом» [Meynell, 2006: 93–110].

Отдельно заметим, что положение о существовании и необходимости изучения отдельных болезненных форм (отдельных заболеваний) имело судьбоносные последствия, заложив основы формирования нозологического подхода к разработке проблем патологии и практической медицины, сохраняющего актуальность вплоть до настоящего времени.

Поскольку симптомы заболеваний стали рассматриваться как результат действия силы или сил, присущих всему организму, они были объявлены независимыми от конкретных органов и частей тела, а больной – источником искажений, которые он в силу своих индивидуальных особенностей, связанных с возрастом, полом, образом жизни, темпераментом, вносит в «истинную картину болезни». «Нужно, чтобы тот, кто описывает болезнь, – указывал Сиденгам, – позаботился о различении свойственных ей симптомов, являющихся ее обязательным сопровождением, от случайных и необязательных, зависящих от темперамента и возраста больного». Развивая параллель между болезнями и растениями, Сиденгам не без сарказма заметил, что ни одному ботанику не придет в голову рассматривать «укусы гусениц в качестве характерных особенностей листа» [Meynell, 2006]. Заболевания, таким образом, хотя и проявляли себя в человеческом теле, фактически оказались от него полностью оторванными, что в свою очередь дало основания для олицетворения отдельных нозологических форм болезней самостоятельными живыми существами [Sigerist, 1933].

Изменение представлений о болезни и возникновение не существовавшего прежде предмета врачебного изучения – отдельных заболеваний, олицетворенных самостоятельными природными сущностями, – определило необходимость внесения кардинальных изменений в процесс диагностического поиска.



Отныне врачебному исследованию подлежал уже не больной, а отдельные болезни, основные характеристики которых совершенно не зависели от конкретного организма.

Первой и главной задачей врача у постели больного становилось не диагностическое домысливание возможных «внутренних нарушений», а беспристрастное выявление всех без исключения симптомов и объединение их в максимально «точный портрет болезни»: «Необходимо... в этом подражать художникам, которые, создавая портрет, заботятся о том, чтобы отметить все, вплоть до знаков и самых мелких природных деталей, которые они встречаются на лице изображаемого персонажа» [Meynell, 2006]. Для того чтобы ни один штрих в портрете болезни не остался незамеченным или забытым, врачи стали постоянно записывать сделанные ими наблюдения и, таким образом, заложили традицию ведения историй болезни.

После составления «точного портрета болезни» от врача требовалось сопоставить его с уже имеющимися описаниями всех известных болезней с целью обнаружения возможных сходств (аналогий). Если аналогия возникала – ставился диагноз, если не возникала – рождалась новая нозологическая форма. Принцип аналогии форм играл в патологии и практической медицине XVIII в. столь существенную роль, что, по меткому выражению М. Фуко, стал фактически «законом образования сущностей» [Фуко, 1998: 29]. «Врач, исследовав больного, соединив припадки в целое, ищет в нозологической системе форму, подобную наблюдаемой; если находит ее, распознавание болезни (*diagnosis morbi*) кончено; если не находит, то составляет новую форму болезни, – писал профессор Московского университета И.В. Варвинский. – Чем врач внимательнее к явлениям, им наблюдаемым... тем чаще ему не удастся найти в системе форму, совершенно соответствующую им наблюдаемой, тем чаще он бывает вынужден вставлять в систему новые формы болезней» [Варвинский, 1849: 56].

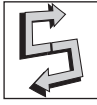
Варвинский не только исчерпывающе точно описал работу врача XVIII в., но и отметил одно из важнейших последствий внедрения новых принципов диагностики. Этим последствием стал стремительный рост количества нозологических форм болезней, которое стало исчисляться тысячами¹⁰.

¹⁰ Например, в одной из самых известных нозографий XVIII в. Б. де Соважа содержалось более 2400 нозологических форм болезней, которые были разделены на 10 классов, 44 вида, 315 родов (*Sauvages F.B. Nosologia methodica sistens morborum classes, genera et species, juxta Sydenhami mentem et botanicorum ordinem, 1763*).



Необходимость свободно ориентироваться в столь значительном множестве совершенно разнородных, не связанных ни друг с другом, ни с организмом человека «болезненных индивидуумов» требовала их систематизации, без которой нозологическое поле грозило превратиться в неуправляемый и не подлежащий практическому использованию информационный массив. Решение этой проблемы было найдено в составлении классификаций, подобных тем, которые еще в середине XVII в. активно создавались и внедрялись в минералогии и ботанике для «легчайшего обзора множества разнородных явлений». Натуралисты распределяли такие явления на основе присущих им внешних признаков, выстраивая иерархические системы классов и их подклассов (роды, отделы, виды). Первая «ботаническая» классификация болезней была составлена самим Сиденгамом. Вскоре последовали классификации Г. Бургаве, Х. Людвига и др., а уже в конце первой половины XVIII в. «составление и усовершенствование классификаций болезней» превратилось в самостоятельный вид научно-практической деятельности, которому посвящали себя крупнейшие ученые-медики того времени. Результаты их творчества стали публиковаться отдельно в виде так называемых нозографий, включавших описание, обозначение («имя болезни») и классификацию всех известных болезней. Наибольшей известностью и популярностью в XVIII в. пользовались нозографии Б. де Соважа и У. Кулле-на.

Первоначально возникнув как средство систематизации знания, классификации и нозографии очень скоро превратились в неотъемлемый инструмент практической работы врача. Они служили матрицами, обеспечивавшими практическую реализацию принципа аналогии форм. С содержащимися именно в них данными врачи сопоставляли наблюдаемую у постели больного картину болезни и именно на их основе ставили диагнозы. Возникали новые нозологические формы болезней. Правда, ориентация на «распознавание» болезней только на основе совокупности их внешних проявлений привела к тому, что большинство выделенных в конце XVII – начале XVIII в. нозологических форм оказались по сути лишь случайным набором симптомов, что было неопровержимо доказано уже в начале XIX в. Однако наряду с ошибочно сформированными комплексами симптомов были одержаны и бесспорные диагностические победы. Так, Сиденгам детально описал и выделил из острых лихорадок с сыпью скарлатину, из группы судорожных состояний – малую хорею, из группы заболеваний суставов – суставной ревматизм и подагру. Получили известность его подробные описания коклюша, кори, натуральной оспы, малярии,



истерии. У. Геберден старший описал и выделил в самостоятельную нозоформу грудную жабу, Ф. Фраполли – пеллагру и др.

Подходы к лечению стали основываться на представлениях о том, что лечит «целебная сила природы», а задача врача – помогать ей лишь в случаях крайней необходимости. «Надлежит следовать шаг за шагом по пути, избранному Природой, – читаем мы в одном из руководств по практической медицине XVIII в., – подкрепляя ее, если она слишком слаба, и смягчая, если она слишком сильно разрушает то, что ей мешает» [Guindant, 1768: 10–11].

Следуя по пути, избранному Природой, большинство врачей XVIII в. старались избегать применения сильнодействующих средств, обильных и частых кровопусканий. История медицины сохранила немало свидетельств того, насколько осторожными были такие знаменитые и удачливые врачи, как Бургаве, Шталь, Гоффман, де Гаен, Штоль, Гауб и др. Во второй половине XVIII в. возникла и получила широкое распространение знаменитая «английская лечебная кватра» – холод, мясо, водка, опий, практически полностью вытеснившая спагирические (химические) лекарственные средства. В этот же период в медицинскую практику стали активно внедряться методы грязелечения, минеральные воды, климатотерапия; мощный импульс к развитию получила диететика.

Особым направлением развития был поиск специфических средств лечения для каждой нозологической формы болезни. Основанием для убежденности в существовании таких средств послужил опыт успешного использования в Европе в середине XVII в. в лечебных целях коры хинного дерева. Хина прекрасно помогала при лечении малярии и была практически бесполезна при других лихорадках. В качестве специфических средств лечения были также признаны препараты железа для лечения анемий, ртуть при сифилисе, опий и алкоголь при болях. Поиск новых специфических средств лечения осуществлялся сугубо эмпирически и в плане обнаружения новых эффективных лекарственных препаратов особых результатов не принес. Исключение составляют лишь счастливые находки английских врачей У. Видеринга и Дж. Линда. Видеринг установил (1775), что настой из листьев наперстянки оказывает выраженный терапевтический эффект при определенных видах отеков, а Линд доказал лечебные свойства свежих овощей и фруктов при цинге (1753). Однако, несмотря на это, сам факт формирования ориентации на поиск специфических средств лечения отдельных заболеваний следует рассматривать как подлинно революционный переворот во врачебном сознании, опреде-



ливший основное направление развития лечебного дела вплоть до настоящего времени.

Таким образом, в течение XVII–XVIII вв. в медицине произошли две научные революции. Революция XVII в. носила глобально дисциплинарный характер и состояла в изменении всех оснований медицинской науки периода галенизма. Ее механизмом послужила «парадигмальная прививка» новых методологических установок научного познания, возникших в астрономии, главным образом благодаря трудам Галилея. Новые философские основания медицинской науки и картина исследуемой реальности в медицине XVII в. сложились под влиянием работ Декарта.

Научная революция в медицине XVIII в. носила локально дисциплинарный характер и стала результатом возникшего в медицине в 1690-х гг. глубокого кризиса, преодоление которого стало возможным только благодаря пересмотру действовавшей картины исследуемой реальности на основе введения представлений о присутствующих организму человека «внутренних деятельных силах».

Библиографический список

- Вавилов, 1945 – *Вавилов С.И.* Исаак Ньютон. М. ; Л., 1945.
- Варвинский, 1849 – *Варвинский И.В.* О влиянии патологической анатомии на развитие патологии вообще и клинической в особенности // Московский врачебный журнал. 1849.
- Гайденок, 2009 – *Гайденок П.П.* История новоевропейской философии в ее связи с наукой. М., 2009. С. 231–235.
- Карпов, 1912 – *Карпов В.П.* Шталь и Лейбниц // Вопросы философии и психологии. 1912. № 4.
- Лейбниц, 1984 – *Лейбниц Г.В.* Соч. В 4 т. Т. 1. М., 1984.
- Майоров, 1984 – *Майоров Г.Г.* Лейбниц как философ науки // Г.В. Лейбниц. Соч. В 4 т. Т. 3. М., 1984.
- Меркулов, 1981 – *Меркулов В.Л.* Альбрехт Галлер. М., 1981.
- Пленк, 1789 – *Пленк И.* Естественная наука о действиях человеческого тела ; пер. с лат. М. Ершова. М., 1789.
- Сточик, 2013 – *Сточик А.М., Затравкин С.Н.* Научная революция в медицине XVII в. // Эпистемология и философия науки. 2013. № 4.
- Фуко, 1998 – *Фуко М.* Рождение клиники ; пер. с фр. М., 1998.
- Gigliani, 2008 – *Gigliani G.* What Ever Happened to Francis Glisson? Albrecht Haller and the Fate of Eighteenth-Century Irritability // Science in Context. 2008. Vol. 21 (4).
- Guenter – *Guenter B.* Risse Hoffmann Friedrich. – http://www.encyclopedia.com/topic/Friedrich_Hoffmann.aspx.
- Guerrini, 1987 – *Guerrini A.* Archibald Pitcairne and Newtonian Medicine // Medical History. 1987. Vol. 31.



Guindant, 1768 – *Guindant T.* La nature opprimée par la médecine moderne. P., 1768.

King, 1969 – *King L.S.* Medicine in 1695: Friedrich Hoffmann's *Fundamenta Medicinae* // *Bulletin of the History of Medicine.* 1969. Vol. 43 (1). P. 17–29.

Meynell, 2006 – *Meynell G.G.* John Locke and the Preface to Thomas Sydenham's *Observationes Medicae* // *Med. Hist.* 2006. Vol. 50 (1).

Neuburger, 1944 – *Neuburger M.* An Historical Survey of the Concept of Nature from a Medical Viewpoint // *Isis.* 1944. Vol. 35, № 1.

Roe, 1984 – *Roe S.A.* *Anatomia animata: The Newtonian Physiology of Albrecht von Haller* // *Transformation and Tradition in the Sciences* ; E. Mendelsohn (ed.). Cambridge, 1984.

Sigerist, 1933 – *Sigerist H.E.* *The Great Doctors: A Biographical History of Medicine.* N.Y., 1933.

Steinke, 2005 – *Steinke H.* Irritating Experiments: Haller's Concept and the European Controversy on Irritability and Sensibility, 1750-90 // *Clio Medica* 76. Amsterdam ; N.Y., 2005. P. 21–27.



СТИЛЬ НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ: ЭПОХАЛЬНАЯ ИЛИ ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ?

Александр Александрович Поздняков – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН. E-mail: pozdnyakov@eco.nsc.ru

В статье сопоставляются две концепции стиля научного мышления. С точки зрения «эпохальной» концепции стиль мышления отражает этапы в развитии науки, его характер обусловлен общенаучной методологией эпохи, соответственно стили сменяют друг друга во времени. С точки зрения дисциплинарной концепции стиль мышления связан с определенной научной дисциплиной, его характер обусловлен предметом и методологией этой дисциплины, соответственно разные стили сосуществуют в одно и то же время. Обсуждается отношение стиля мышления к научной картине мира. Существуют две различные модели мироустройства. В одной из них все объекты рассматриваются как дериваты пространства, в другой – мир рассматривается как совокупность иерархически организованных систем. С содержательной стороны выявляется достаточно полное соответствие между стилями мышления и основными познавательными моделями.

Ключевые слова: стиль научного мышления, стадии развития науки, научная дисциплина, научная картина мира, пространство.

A STYLE OF SCIENTIFIC THINKING: A EPOCHAL OR A DISCIPLINARY CONCEPT?



Alexandr Pozdnyakov – Ph.D. Senior researcher Institute of Systematics and Ecology of Animals, SB RAS

The two conceptions of style of scientific thinking are compared in the article. According to the so-called epochal conception, the style of scientific thinking reflects phases in the development of science, this style is based on the general scientific methodology of the epoch. Such styles replace one another with time. According to the so-called disciplinary conception, the style of scientific thinking is associated with a specific scientific discipline, it depends on the subject and methodology the concrete discipline. Thus, under this conceptions different styles can coexist. The relation of the style of thinking to the scientific picture of the world is discussed in the article. Two different models of the picture of the world are addressed. In one model all things are treated as derivatives of space. In the other model the world is presented as a set of hierarchically organized systems. The author argues that the two styles of scientific thinking can be combined with the two models.

Key words: style of scientific thinking, phase of scientific development, scientific discipline, worldview, space.

В широком смысле понятие *стиля* отражает наличие каких-то общих признаков, присущих некоторому комплексу явлений, в том числе и науке. Однако результаты стилевого анализа науки оказались разнообразными, что было интерпретировано как отсутствие ясности поня-



тия *стиля научного мышления* [Порус, 1994: 64]. В какой-то степени это разнообразие результатов обусловлено фокусированием внимания исследователей на разных аспектах. Так, в одних представлениях акцент делается на методологической стороне: «Исходные принципы логического построения научных теорий, включающие в себя принципы объединения соответствующих понятий в некоторые относительно замкнутые системы и способы введения новых элементов в эти системы, образуют основу определенного исторически значимого стиля мышления» [Сачков, 1968: 70]. В других представлениях стиль связывается с научной картиной мира (НКМ): «Стиль научного мышления может быть определен как способ функционирования научной картины мира, а НКМ как собственное предметно-логическое основание стиля научного мышления» [Андрюхина, 1984: 68]. Кроме того, исследователи фокусируют внимание и на нормативной функции стиля: «Стиль научного мышления – это совокупность характерных для выделенного исторического этапа норм мышления, общепринятых представлений об идеальном научном знании и допустимых, правильных с точки зрения эпохи способах получения этого знания, это совокупность стереотипов научного мышления, соответствующих определенному историческому уровню развития науки» [Кравец, 1981: 16–17]. В целом можно говорить о двух аспектах: социокультурном, который и обуславливает разнообразие результатов стилевого анализа, и естественно-научном, основанном на научной картине мира.

В последнее время интерес исследователей сместился в сторону социокультурного аспекта, что обусловлено процессами, происходящими в обществе, в частности снижением статуса науки в современной культуре и востребованностью псевдонаучных идей [Пружинин, 2009]. Естественно-научный аспект оказался на втором плане, хотя именно в нем очерчивается та проблематика, с которой имеют дело ученые и на основании которой возможна корректная типология стилей. Несмотря на значительные достижения в анализе естественно-научной составляющей стиля, нельзя сказать, что в этой области все проблемы решены. Например, некоторые зарубежные исследователи также анализируют историю науки с применением понятия *стиля научного мышления*, но они употребляют его в ином смысле, о чем свидетельствует другая типология стилей научного мышления [Hacking, 1992; Crombie, 1994; Hacking, 2002].



Наряду со стилями научного мышления существуют и другие способы описания научной деятельности: парадигмы, научно-исследовательские программы, познавательные модели и т.д. Рассматривая стиль как один из таких способов, необходимо сопоставить его с другими способами описания.

Стилевые эпохи в естествознании

Понятие *стиль мышления* ввел в 1935 г. Л. Флек, который рассматривал его как основу, обеспечивающую мышление сообщества ученых в рамках определенного стандарта и тем самым позволяющую достичь взаимопонимания этому коллективу: «*Можно определить стиль мышления как направленное наблюдение вместе с соответствующей ментальной и предметной ассимиляцией воспринимаемого*. Для него характерны общие проблемы, которыми занимается коллектив, общие суждения, принимаемые за очевидные, общий метод, используемый как познавательное средство. Стилю мышления могут соответствовать технический и литературный стили, свойственные данной системе научного знания» [Флек, 1999: 121].

Независимо от Флека понятие *стиля мышления* было применено физиками В. Паули, М. Борном, В. Гейзенбергом – к описанию иных явлений. Новые разделы физики – квантовую механику, теорию относительности – они попытались осмыслить с философских позиций. С их точки зрения, новые физические дисциплины по сравнению с классической механикой основываются на иных методологии и способе познания. Различия между ними были обозначены как различия в *стиле мышления*. По мнению Борна, *стиль мышления* – это понятие, обозначающее комплекс идей (принципов), устойчивых в течение определенной эпохи и определяющих ее характер [Борн, 1963: 228]. Эта идея была поддержана отечественными философами, использующими исторический подход в анализе природных и культурных явлений.

В дальнейшем было выработано представление о трех стилях мышления, соответствующих трем эпохам в развитии естествознания: классической, неклассической и постнеклассической науке [Степин, 1999].

Первый стиль научного мышления называют *классическим*, или *жесткодетерминистическим*. Его начало Ю.В. Сачков маркирует публикацией «Математических начал натуральной фило-



софии» И. Ньютона. Научные теории, относящиеся к этому стилю, описывают движение тел в соответствии с законами классической механики, дающими однозначное (жестко детерминированное) описание их траектории, что невозможно сделать без применения математического аппарата. Случаи обнаружения неоднозначности или неопределенности в зависимостях или связях трактуются либо как отсутствие истинных закономерностей, либо как следствие неполноты наших знаний. Распространение классического стиля мышления на биологические явления ведет к представлению об отсутствии автономности биологических объектов и их уподоблению механизмам.

О некоторых аспектах выражения классического стиля, точнее, ограничениях или предрассудках, налагаемых им на мышление, следует напомнить. В первую очередь это стремление к всеобщей математизации, которое «опирается на убеждение, что в каждой науке столько знания, сколько в ней математики, и что все науки, включая и гуманитарные, требуют внедрения в них математических идей и методов» [Ивин, 2011: 35]. Следовало бы говорить скорее о геометризации науки, поскольку в основе западноевропейской картины мира лежит коренная метафора пространства. Различие пространства и материальных объектов служит основой для *дуализма*, который обнаруживается во всех сферах, как в самом знании, так и в методах познания, а также в оценке знания и деятельности. Пространственная разделенность объектов обуславливает аналитичность мышления, т.е. «представление о дробности, существенной независимости друг от друга как “элементов мира”, так и “элементов знания”. Мир и знание мыслятся хорошо структурированными, слагающимися из четко очерченных и ясно отграниченных друг от друга элементов» [Ивин, 2011: 34]. В отношении материальных объектов аналитичность мышления проявляется в представлении об атомистичности материальных тел, причем не только в их четкой отграниченности друг от друга, но и рассмотрении таких объектов как состоящих из более мелких элементов, которые в свою очередь также состоят из элементов и т.д. В отношении знания аналитичность мышления проявляется в представлении, что знание основывается на фактах, обладающих устойчивостью, независимостью друг от друга и теоретической ненагруженностью. Факты могут быть описаны на языке, независимом от теоретических представлений, в форме протокольных предложений. Отсюда «проблема истины ставится как проблема соответствия изолированного утверждения описываемому им фрагменту действительности» [Ивин, 2011: 35]. Ис-



тинность протокольных утверждений является основанием объективности и обоснованности знания.

Второй стиль мышления называют *неклассическим*, или *вероятностным*. Основное содержание неклассической науки составляют квантовая механика и теория относительности. Как считается, их характерной чертой является непосредственная связь познаваемых объектов со средствами и процедурами по их познанию. С этим стилем связаны некоторые биологические теории, теория газов, атомная физика, физика элементарных частиц. Его начало, по мнению Ю.В. Сачкова, маркируется появлением эволюционной теории Ч. Дарвина, хотя другие исследователи соотносят его возникновение с началом XX в. Для описания объектов применяются методы статистической математики. В этом случае предполагается, что параметры, характеризующие каждый элемент, независимы друг от друга, их значения рассматриваются как случайные события, однако распределение этих значений имеет строго определенный вид.

Третий стиль научного мышления называют *постнеклассическим*, *кибернетическим*, *системным*, или *синергетическим*. Постнеклассическая наука основывается на синергетических и ценностно-целевых установках, которые прилагаются главным образом к биологическим и социальным объектам. Также в область приложения этого стиля входят экономика, медицина, неравновесная термодинамика, техника. Научные исследования носят преимущественно междисциплинарный характер, причем одна наука заимствует у другой методы и принципы. Объекты рассматриваются как саморазвивающиеся системы, а картина мира строится на основе принципа универсального эволюционизма.

В развитии техники также описывают три стиля (*механистический*, *вероятностный* и *системотехнический*), причем их периодизация проводится в тех же временных границах, что и для естественно-научных стилей мышления [Шубас, 1982]. Однако стилевые особенности естественных наук не столь четко проявляются на материале гуманитарных наук. К проявлениям классического стиля можно отнести стремление исследователей XVII в. излагать философию, право и т.д. геометрическим языком, но это направление не получило развития [Спекторский, 2006]. Черты неклассического стиля можно усмотреть в применении статистических методов в социологии, но разнообразие идей в общественных науках даже XIX в. настолько велико, что не вписывается в стилевые рамки естественных наук.



Как уже говорилось, представление о стилях научного мышления связано с осознанием того, что квантовая механика в отличие от классической предполагает иную онтологию микрообъектов и иную методологию. Однако классическая механика продолжает существовать наряду с квантовой, причем вполне очевидно, что вероятностный подход бесполезен для расчета орбит планет. Точно так же применение разных наблюдательных приборов в астрономии может обуславливать только степень точности определения тех или иных параметров небесных объектов. Таким образом, предыдущий стиль не отрицает с утверждением нового, а сосуществует с ним: «В истории науки нет формально-логической связи между понятиями и их доказательствами: последние часто подгоняются к теоретическим концепциям и, наоборот, концепции подгоняются к доказательствам. Концепции не являются логическими системами, хотя всегда стремятся к этому, но они суть смысловые конструкты, соответствующие стилю мышления, и лишь в качестве таковых они развиваются или подлежат забвению, переходят в другие конструкты вместе с доказательствами. Как и всякая социальная структура, каждая историческая культурная эпоха имеет свои доминирующие концепции, но при этом сохраняет концепции, оставшиеся от прошлых эпох, а также зародыши концепций, которым суждено будущее» [Флек, 1999: 54]. С этой точки зрения стили мышления не сменяют друг друга, а параллельно сосуществуют, хотя и возникают в разное время. Новый стиль формируется одновременно с новой дисциплиной, а затем пытается распространить свое влияние на смежные естественно-научные дисциплины. Например, в последнее время в естествознании тон задает синергетика, которая пытается распространить свое влияние не только на все естественные, но и на гуманитарные науки.

Итак, стиль научного мышления отражает онтологию, эпистемологию и методологию лидирующей в данную эпоху научной дисциплины. Таким образом, появляется основание для сомнения в том, что он отражает стадии в развитии естественно-научного мышления в целом. В связи со сказанным возникает вопрос: действительно ли научные картины мира классической и квантовой механики настолько сильно различаются, что их следует интерпретировать как несовместимые? Надо заметить, что в современном естествознании научная картина мира понимается как систематизированное знание об устройстве мира, включающее совокупность различных теорий и



моделей, поэтому структурно общенаучная картина мира представляет собой иерархию различных частнонаучных картин мира: физическую, химическую, биологическую и т.д., которые в свою очередь включают картины мира поддисциплин. В целом с Нового времени развитие общенаучной картины мира происходит кумулятивно – путем добавления новых элементов и детализации старых. Поэтому имеет смысл попробовать определить отношение стиля не к научной картине мира, а к *базисной модели устройства мира*, которая, как предполагается, составляет основу стиля научного мышления и обуславливает его познавательные и методологические принципы [Сачков, 1993].

Базисная модель устройства мира и стиль научного мышления

Исторически прототип современной модели мироустройства формировался в противопоставлении с картезианской моделью, согласно которой мир составляют две субстанции: протяженная и мыслящая, причем сущность тел заключается в их *протяженности*: «Пространство или внутреннее место также разнится от телесной субстанции, заключенной в этом пространстве, лишь в нашем мышлении» [Декарт, 1950: 469]. С этой точки зрения движение «есть перемещение одной части материи, или одного тела, из соседства тех тел, которые непосредственно его касались и которые мы рассматриваем как находящиеся в покое, в соседство других тел» [Декарт, 1950: 477], т.е. оно имеет относительный характер. Наполненность мира материей и трактовка движения как перемещения означает, что любое изменение положения тела относительно других тел требует непосредственного (механического) контакта между перемещаемыми телами. Именно отсюда вытекают представления о механизме движения, эволюции и т.д., а также идея необходимости материального посредника при взаимодействии объектов физического мира. Итак, картезианская базисная модель мироустройства – это протяженная материя, структурированная на тела различной плотности и агрегатных состояний.

В противоположность Р. Декарту И. Ньютон в качестве существенного атрибута тел признал не протяженность, а *массивность* (тяжесть). Таким образом, согласно представлениям Декарта, мир – это сплошная среда, т.е. он протяженен и телесен, а согласно



представлениям И. Ньютона, мир – это пустота, в которой изредка встречаются тела, т.е. он только протяженен. Признание мира пустым означает невозможность перемещения многих тел, особенно небесных, путем механического контакта с другими телами. Чтобы допустить возможность движения, Ньютон вводит принцип, позже названный принципом *дальнодействия*, согласно которому взаимодействие тел может осуществляться без материальных посредников. Кстати, часто повторяемое ньютоновское «гипотез не измышляю» направлено как раз против требования обязательного обоснования движения механизмом или материальным посредником. Итак, *тяготение*, по пояснениям самого Ньютона и его последователей (Р. Котс, У. Уитсон), представляет собой не механическую (результат соприкосновения тел), а метафизическую причину. Собственно, Ньютон видел причину тяготения в Боге, воспринимаемая пространство как Его «чувствилище». Возможно, здесь сказалось влияние Г. Мора, считавшего, что пространство является атрибутом Бога, т.е. если Декарт с пространством отождествил материю, то Мор – мыслящую субстанцию [Койре, 2001: 134].

Итак, ньютоновская базисная модель мироустройства включает абсолютные *пространство* и *время*, массивные *тела*: «Мир Ньютона ... это бесконечная пустота, только очень малая часть которой – бесконечно малая часть – заполнена материей, телами, движущимися свободно, безразлично, без всякой связи, не встречая препятствий, сквозь эту бездну без дна и краев» [Койре, 1968; цит. по: Парахонский, 1982: 103]. В этом мире движение не может быть описано в механических терминах, однако оно происходит в соответствии с законами, которые можно сформулировать в строгой математической форме. Например, С. Кларк, проясняя принципы ньютоновской механики в письме к Г.В. Лейбницу, заметил, что «средство, с помощью которого два тела притягиваются, может быть невидимым, неосознаваемым и принципиально отличающимся от механизма, но оно все-таки может быть названо естественным из-за своего регулярного и постоянного способа действия» [Лейбниц, 1984: 465]. Приняв наличие такого необъяснимого взаимодействия как естественную данность, можно дать динамическое описание мира в количественной форме, с точностью, обусловленной точностью измерений. Хотя механицисты еще долго критиковали Ньютона за введение «мистических агентов», или, в более мягкой формулировке, скрытых качеств, но возможность расчета движения небесных тел, да и объяснение с единой точки



зрения движения разных объектов в конечном счете привели к принятию ньютоновской картины мира.

Дальнейшим основным направлением развития базисной модели устройства мира оказалось пифагорейство, т.е. путь признания реальности математических (в узком смысле – геометрических) объектов [Аронов, 1997]. Пространство, интерпретируемое как геометрический объект, стали рассматривать как основу, из которой можно вывести все элементы мира, или, иными словами, представить их как состояния пространства.

Так, изучение электрических и магнитных явлений во второй половине XIX в. завершилось созданием теории электромагнитного поля. Дальнейшие исследования показали, что «в учении об электричестве обнаружило свою недостаточность понятие силы, с какой одно тело действует на другое. Фарадей первым указал на то, что мы лучше поймем электрические явления, если будем считать силу функцией пространства и времени, уподобляя ее распределению скоростей или напряжений в жидкости или упругом теле, – другими словами, если перейдем к понятию поля сил» [Гейзенберг, 1987: 191]. Таким образом, получается, что источником силы является пространство (именно так предполагал Ньютон в отношении силы тяготения), а материальные объекты имеют атрибуты (массу, заряд), которые позволяют им испытывать (воспринимать) действие этой силы. Внешне (со стороны стороннего наблюдателя) все это выглядит так, что источником полей являются сами материальные тела.

К началу XX в. изменилось представление и о самом пространстве. Согласно Ньютону, абсолютное пространство субстанциально и служитместищем для материальных объектов. Относительное пространство является мерой абсолютного пространства и по сути представляет его геометрический образ. Сначала как само собой разумеющееся считалось, что относительное пространство имеет евклидову геометрию. Однако после создания неевклидовых геометрий возникла идея, что геометрия пространства также неевклидова. С этой точки зрения движение можно объяснить изменяющейся кривизной пространства [Clifford, 1885: 225]. Правда, с помощью физических экспериментов невозможно установить, какова геометрия реального пространства. Это возможно только в случае выхода в пространство высшего измерения [Клиффорд, 1979: 44]. Идею кривизны пространства использовал А. Эйнштейн, который был знаком с книгой В. Клиффорда, в общей теории относительности, в которой сила гравитации рассматривается как обусловленная римановой геометрией пространст-



ва-времени [Эйнштейн, 1966]. С этой точки зрения поле можно интерпретировать как состояние пространства, а волну как распространяющееся изменение этого состояния. Таким образом, с помощью разных топологических ухищрений можно из искривленного пустого пространства вывести не только гравитационное и электромагнитное поля, но и заряд и массу рассматривать как состояние пространства [Мизнер, Уилер, 1979: 552].

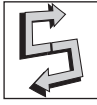
Другим способом, а именно путем введения пятого измерения, электромагнитное поле может быть сведено к единому геометрическому образу мира [Калуца, 1979: 530]. Это направление развивается до сих пор в форме теорий, требующих различного количества размерностей (до восьми) для единого описания физических явлений, вплоть до нескольких теорий струн, включающих 10 или 26 размерностей [Каку, 1999].

Говорить о времени в любом случае можно лишь тогда, когда что-то изменилось, т.е. время в широком смысле выступает как мерило движения. Так как механическое движение – это пространственное перемещение тел, возникает соблазн жестко связать время с пространством: «Отныне пространство само по себе и время само по себе должны обратиться в фикции и лишь некоторый вид соединения обоих должен еще сохранить самостоятельность» [Минковский, 1935: 181]. Представление времени как одной из координат пространственно-временного континуума позволяет наглядно продемонстрировать конечную скорость распространения взаимодействий, а возможность передвижения вдоль этой координаты в обоих направлениях – симметричность законов физики относительно «хода времени».

Несмотря на утверждение, что в пространственно-временном континууме пространство и время равноправны, т.е. не теряют своей специфики, на самом деле время в нем занимает подчиненное положение: «Время входит в геометрические конструкции лишь как *динамика* их пространственных элементов. Время в геометрии всегда есть лишь *движение пространственных элементов*. *Время как таковое* не подлежит не только геометрическому, но и математическому изучению вообще, да и *движение как таковое* также. Лишь подменив время движением, а движение его пространственным следом (траекторией), мы можем сделать их предметом математического изучения. По существу мы будем изучать при этом не время и не движение, а особенности пространственной организации самой траектории» [Шапошников, 1999: 153]. Таким образом, время и движение получают наглядный пространственный (геометрический) образ, т.е. сводятся к пространству.



Пифагорейский характер физики XX в. подчеркивал Эйнштейн: «Мы приходим к странному выводу: сейчас нам начинает казаться, что первичную роль играет пространство; материя же должна быть получена из пространства, так сказать, на следующем этапе. Пространство поглощает материю. Мы всегда рассматривали материю первичной, а пространство вторичным. Пространство, образно говоря, берет реванш и “съедает” материю. Однако все это остается пока лишь сокровенной мечтой» [Эйнштейн, 1966: 243]. Мечта физиков XX в. о чисто пифагорейском мироустройстве разбивается грубой материей, поскольку они в пифагорейские концепции пытаются включить картезианские элементы. Так, релятивистская концепция пространства и времени, основанная на геометрическом четырехмерном пространственно-временном континууме, почему-то требует наблюдателя и материальных посредников: «Философский смысл изменений, внесенных теорией относительности в существовавшие до ее появления представления о сущности пространства и времени, состоит, таким образом, в том, что последние с точки зрения этой теории имеют физический смысл только для событий, *связанных между собой материальными взаимодействиями* [курсив мой. – А.П.], и поэтому время нельзя уже рассматривать как некую универсальную систему отсчета, относительно которой происходит упорядочивание всех событий» [Молчанов, 1964: 58]. Однако установление одновременности удаленных событий в принципе невозможно, так как для этого нужно знать скорость материального посредника (переносчика информации), для измерения которой необходимо зафиксировать одновременность удаленных событий [Рейхенбах, 1985: 146–147]. Также объяснение взаимодействия тел путем обмена материальными посредниками в теории фундаментальных полей является уступкой картезианской модели мира, требующей физического контакта тел для изменения их движения. Это объяснение наглядно, но от него суть движения не становится понятнее. Так, фотоны, испускаемые положительными и отрицательными зарядами, одинаковы (неразличимы). Тогда почему обмен фотонами приводит к расхождению тел с одинаковыми зарядами, но к сближению с разными зарядами? Введение картезианских элементов в пифагорейскую теорию вряд ли способствует точности в описании мира. Например, гравитоны и гравитационные волны, предположительно отвечающие за взаимодействие массивных тел, до сих пор не обнаружены, хотя современные приборы в состоянии зафиксировать эффекты, предсказываемые соответствующей теорией.



Однако возможности ньютоновского направления в физике далеко не исчерпаны. Так, онтология и специальной теории относительности, и квантовой механики может быть основана на ослабленной формулировке онтологических гипотез классической (ньютоновской) механики [Миттельштедт, 2011: 176]. Таким образом, нельзя сказать, что картины мира классической механики, специальной теории относительности и квантовой механики резко различаются и они несовместимы. По сути в первой трети XX в. происходит завершение развития научной картины мира, начало которой было положено в Новое время.

Если связывать функционирование стиля мышления с научной картиной мира, в чем у нас нет оснований сомневаться, то следует признать, что с начала Нового времени и примерно до середины XX в. в науке господствовал единый способ мышления, основанный на символе бесконечного пространства. Материальные частицы интерпретируются как флуктуации пространства. Их проявление описывается корпускулярными теориями, т.е. проблема признания самостоятельности материи лежит исключительно в теоретической плоскости. Возможно, для отличия от сложившихся представлений о стилях следует ввести свой термин для обозначения данного способа мышления – *метастиль*.

Пространственно-атомистический метастиль

Название полностью отражает существенные черты этого метастиля. Например, как утверждал Борн, ученые отвергают идеи, чуждые принятому стилю. Однако проще выяснить не то, какие идеи были отвергнуты, а то, какие из них оказались принятыми. Из таких идей, касающихся общего представления о мире, следует указать идею тепловой смерти Вселенной, сформулированную как следствие из второго начала термодинамики. Второй идеей является сценарий будущего Вселенной, возникшей в результате Большого взрыва. Согласно одной из версий этого сценария расширение Вселенной будет продолжаться до бесконечности, с определенного момента времени вещество будет распадаться в излучение, так что в конце концов останется безграничное пространство, в котором изредка будут встречаться фотоны. Таким образом, совместимыми с данным метастилем оказываются идеи, основанные на пространстве.

Как раз метастиль соответствует идее «единого стиля научного мышления» [Малиновский, 1986: 43], так как его проявление



можно отметить в биологии и гуманитарных науках. Так, в биологии в качестве научной признана систематика К. Линнея, в основании которой лежит описание *пространственной организации* особей, т.е. индивиды рассматриваются как *геометрические тела*. Признанные создатели эволюционного учения Ч. Дарвин и А.Р. Уоллес основали свои идеи на интуиции *биологического пространства*, плотно заполненного организмами [Поздняков, 2013].

Изначально *индивид* (организм, особь), состоящий из органов, не способных к самостоятельному существованию, но совокупно составлявших целостный организм, рассматривался в качестве элементарного объекта. Однако в дальнейшем в качестве такого объекта стали рассматривать части индивида, которые, как считается, обуславливают его существенные свойства и деятельность. Так, в конце 1850-х гг. была обоснована универсальность клеточного строения всех живых существ. На этой основе было сформулировано представление, что рост и развитие особей происходят путем деления и дифференциации *клеток*. Все разнообразие живого можно представить как непрерывный поток делящихся клеток, образующих в том числе и многоклеточные организмы. Проблема происхождения жизни на этом этапе воспринимается как проблема происхождения клетки. Экспериментальным путем создают прототипы клеток – коацерваты [Опарин, 1968].

Дальнейшим этапом в развитии биологического атомизма явился поиск внутриклеточных элементов, к которым можно было бы свести наследственность и который в итоге привел к представлению о *генах* как единицах наследственности. Открытие ДНК подвело материальную базу под генетическую теорию наследственности. Проблема происхождения жизни стала восприниматься как проблема происхождения молекул с простейшими генетически кодирующими свойствами, в качестве которых рассматриваются рибозимы.

Нуклеотиды – мономеры нуклеиновых кислот – в настоящее время рассматриваются как наименьшие элементы живого. Нуклеотид – это минимальная единица, на основе которой еще возможны биологически интерпретированные построения. Так, нуклеотид рассматривается в качестве единицы мутации, а мутационная теория является важнейшей составной частью синтетической теории эволюции. На основе сравнения состава нуклеотидов строится филогения организмов. Таким образом, развитие пространственно-атомистического метастиля в биологии достигло своего предела. Например, исследование явлений на более глубоких уровнях, чем нуклеотидный, будет выводить уже в область химии.



В лингвистике проявление пространственно-атомистического метастиля можно усмотреть в двух основных формах. Во-первых, под влиянием дарвинизма лингвисты стали строить деревья, отражающие генетические отношения между языками. Биологическая идея описания филогении в терминах предков–потомков проявилась в лингвистике в форме реконструкции праязыков путем исключения всех слов, не входящих в общий тезаурус группы языков, считающихся родственными. Важным моментом компаративистики является реконструкция праформ, которые можно сопоставить со схематичными предковыми формами в биологии, реально не существовавшими. Праформа – это идеальная конструкция, позволяющая путем модификаций получить весь спектр словоформ данной лексемы. На основе реконструированных идеальных лексиконов праязыков пытаются строить генетические связи между языковыми группами, ставить в соответствие топонимику и языковую характеристику этносов, населявших данную территорию, а также очерчивать территорию (прародину), на которой сформировалась выбранная лингвистическая группа. Как и в биологии, введение в лингвистику идеальных конструкций, анализируемых наравне с реально существующими и существовавшими (засвидетельствованными) языковыми явлениями, придает весьма сомнительный характер этимологическим, генетическим, ареальным и прочим исследованиям.

Во-вторых, по современным взглядам слово представляет собой знак, случайно связанный со своим значением. Также слово воспринимается как элемент, атом, на котором базируется речь и лексика. Принимается, что эволюция языка осуществляется путем случайного изменения слов. Это предположение лежит в основе глоттохронологии.

В истории пространственно-атомистический метастиль также проявляется в нескольких формах. Во-первых, на историческом атомизме основано утверждение, что историю делают личности. Так, многие исторические сочинения представляют историю как описание деяний разных владетельных особ: князей, царей, императоров. С этой точки зрения описание войн сводится к действиям полководцев. Во-вторых, с позиции этого метастиля история предстает как событийный континуум. Объяснить какое-либо событие означает, что следует выстроить цепь причинно-следственных связей, приведших к данному событию.

В социологии с точки зрения этого метастиля общество интерпретируется как продукт произвольного договора индивидов.



Пространственно-атомистическому метастилю следует противопоставить метастиль, основанный на такой картине мира, в которой пространство занимает подчиненное положение. Этому условию удовлетворяет системный стиль, применяемый преимущественно в биологии под названием *общая теория систем* и включающий широкий, довольно расплывчатый круг представлений. Этот стиль не связан с новыми естественно-научными дисциплинами, занимающимися исследованием новых областей природы, не дал никаких открытий, не сделал никаких предсказаний. По сути он занимается перетолковыванием уже известных явлений с точки зрения новых представлений. В этом отношении системный стиль нельзя ставить в один ряд с жесткодeterminистическим и вероятностным стилями, связанными с определенными научными дисциплинами.

Итак, различия между жесткодeterminистическим и вероятностным стилями, а также между сопоставляемой с ними классической и неклассической наукой, относятся к субъектной стороне научной деятельности [Маркова, 2011: 53]. В то же время если объектом постнеклассической науки являются сложные саморазвивающиеся системы [Степин, 2013: 81], то объектом и классической, и неклассической науки является пространство.

Возвращаясь к эпохальной концепции стилей, нам осталось сопоставить их с другими типологиями.

Типологии способов описания мира

Исследователи, анализирующие науку в контексте стилей мышления, пытаются включить в этот же контекст другие типологии. В частности, парадигмы и научно-исследовательские программы рассматриваются как формы стиля. Так, парадигма воспринимается как форма, отражающая функционирование стиля в научном сообществе, а научно-исследовательская программа – как форма, отражающая функционирование стиля в научной школе [Андрюхина, 1978]. Сопоставляя парадигмы и стили мышления, Л.А. Микешина сделала вывод, что, несмотря на сходство этих понятий, парадигма употребляется Т. Куном «как синоним некоторого методологического стереотипа, набора предписаний для научных групп и тогда она по сути лишь логико-методологическое ядро господствующего стиля мышления, которое может изменяться при сохранении стиля» [Микешина, 1977: 64]. Правда, здесь остается некоторая неясность и противоречивость: если па-



радика – это ядро стиля, то каким образом «возможно одновременное существование различных стилей мышления, тогда как парадигмы несовместимы» [Микешина, 1977: 64]? В других работах стиль мышления сопоставляется с философией, мировоззрением, методологией, что предполагает более высокий статус этого понятия по сравнению с парадигмой. С этой точки зрения «стиль – структурное образование, обеспечивающее ценностную связь научного познания с другими сферами деятельности, с культурным целым» [Устюгова, 1984: 128].

Сам Кун фокусировал внимание на социокультурной стороне парадигмы и не попытался построить их типологию на основе конкретного содержания знания. В единственной такой попытке насчитывается три парадигмы в истории физики: классическая механика, классическая теория поля, квантовая теория поля [Кобзарев, 1995: 124]. Типология научно-исследовательских программ описана П.П. Гайденко, хотя она использовала эту концепцию в более широком смысле, чем И. Лакатос. Так, по ее мнению, начиная с античных времен и до XVIII в. возникли и развивались следующие научные программы: *атомистическая* (Левкипп, Демокрит, Гассенди, Гюйгенс, Бойль, Бошкович), *математическая* (Платон), *континуалистская* (Аристотель), *картезианская* (Декарт), *ньютоновская* (Ньютон, Кейл, Фрейнд, Мопертюи, Эйлер, Кондильяк, Лаплас), *лейбнизианская* (Лейбниц, Вольф) [Гайденко, 1980; Гайденко, 1987]. Итак, между стилями мышления, парадигмами и научно-исследовательскими программами не обнаруживается типологических соответствий.

Однако соответствие обнаруживается между стилями мышления и основными познавательными моделями [Чайковский, 1992]. Механическая познавательная модель явно соответствует классическому стилю мышления, статистическая – неклассическому (вероятностному), системная – кибернетическому (системному). Эпохальные границы между стилями (в версии Сачкова) и познавательными моделями совпадают.

Но познавательные модели и стили мышления в границах между эпохами явно не соотносятся с эпистемами [Фуко, 1994]. Несмотря на то что эти типологии основаны на разных принципах, они предполагают последовательную смену типов во времени. В данном случае можно поставить вопрос: возможно ли свести эти типологии к единой схеме? Иными словами, возможно ли свести их к основанию более высокого уровня или они принципиально несовместимы? Ответ на этот вопрос в первую очередь связан с



проведением границ между историческими эпохами, выделяемыми в контексте эпистем, стилей, моделей. Если граница между второй и третьей эпохами (третьей эпохи нет в типологии Фуко) определяется однозначно и ее связывают с распространением системных представлений, то проблема заключается в установлении границы между первой и второй эпохами.

На первый взгляд разные версии в проведении этой границы обусловлены различиями в проанализированном материале. Так, Фуко для обоснования границы между эпистемами привлек биологические данные, причем главные события в истории связываются им с идеями французских ученых. Если различия между эпистемами соотносить с идеями, олицетворяемыми именами Ж. Турнефора (и К. Линнея) и Ж. Кювье, то проведение границы между эпистемами на рубеже XVIII и XIX вв. является вполне обоснованным. По другой версии ключевым моментом, маркирующим границы между стилями мышления в понимании Сачкова и познавательными моделями, является публикация «Происхождения видов» Дарвина, т.е. главные события связываются с идеями, возникающими в англоязычном пространстве.

Граница между стилями мышления в истории физики маркируется появлением квантовой теории и теории относительности, т.е. началом XX в. Однако в истории физики имеется событие, которое можно сопоставить с версией Фуко, а именно признание *волновой теории света*, произошедшее в начале XIX в. Если до этого события мир рассматривался как состоящий из пустого пространства, в котором размещались различные материальные корпускулярные объекты, то с признанием волновой теории света, можно сказать, в мире появился еще один класс объектов, принципиально отличающихся по своим свойствам от *корпускул*. Таким образом, мир стал представляться более сложным. Теория электромагнитного поля и квантовая теория по сути представляют собой лишь усовершенствование волновой теории.

Итак, если основываться на точке зрения, что проведение границ между эпохами должно маркироваться событиями в истории естествознания безотносительно к тому, в какие метатеории они включаются, то первую границу необходимо проводить по рубежу XVIII и XIX вв. Однако если основываться на точке зрения, что определяющее значение должен иметь не эмпирический событийный материал, а метатеории, с которыми он соотносится, то получается совсем иная картина. Например, если в качестве метатеорий принять мировые гипотезы С. Пеппера, то идеи Линнея и Дарвина следует рассматривать в контексте механической мировой



гипотезы, тогда как идеи Кювье – в контексте органической мировой гипотезы. Таким образом, в истории биологии можно говорить о двух направлениях, оказывающих влияние друг на друга. В частности, французские исследователи долго шли своим путем в биологии [Назаров, 1974; Назаров, 1984].

Историю естествознания следует рассматривать в контексте соответствующей мировой гипотезы. Если в качестве такой гипотезы принимается *механицизм*, то в истории науки необходимо выделять не три эпохи, а четыре, условными маркерами границ которых будут 1859–1864 гг. (создание клеточной теории в биологии, теории электромагнитного поля в физике), 1897–1901 гг. (открытие электрона, генетическая концепция) и 1957–1964 гг. (открытие ДНК, кварковая гипотеза), символизирующие проникновение на более глубокие структурные уровни.

В заключение мне хотелось бы подчеркнуть, что взгляд на историю науки как на поступательное развитие некоего целого с выделением эпох, характеризуемых определенным стилем мышления, парадигмой и т.д., явно односторонен. Более соответствует действительности представление о развитии науки в контексте нескольких метатеоретических систем, взаимовлияющих друг на друга.

Библиографический список

Андрюхина, 1978 – *Андрюхина Л.М.* Стиль мышления и его формы в научном познании // Диалектика, логика и методология науки. Свердловск, 1978.

Андрюхина, 1984 – *Андрюхина Л.М.* Стиль мышления в структуре научно-познавательной деятельности // Анализ системы научного познания. Свердловск, 1984.

Аронов, 1997 – *Аронов Р.А.* Театр абсурда: нужен ли он современной физике? // Вопросы философии. 1997. № 12.

Борн, 1963 – *Борн М.* Физика в жизни моего поколения. М., 1963.

Гайденко, 1980 – *Гайденко П.П.* Эволюция понятия науки: становление и развитие первых научных программ. М., 1980.

Гайденко, 1987 – *Гайденко П.П.* Эволюция понятия науки (XVII–XVIII вв.): формирование научных программ нового времени. М., 1987.

Гейзенберг, 1987 – *Гейзенберг В.* Шаги за горизонт. М., 1987.

Декарт, 1950 – *Декарт Р.* Избранные произведения. М.; Л., 1950.

Ивин, 2011 – *Ивин А.А.* Классический стиль мышления Нового времени // Философский журнал. 2011. № 2 (7).

Каку, 1999 – *Каку М.* Введение в теорию суперструн. М., 1999.



- Калуца, 1979 – *Калуца Т.* К проблеме единства физики // Альберт Эйнштейн и теория гравитации. М., 1979.
- Клиффорд, 1979 – *Клиффорд В.* Здравый смысл точных наук // Альберт Эйнштейн и теория гравитации. М., 1979.
- Кобзарев, 1995 – *Кобзарев И.Ю.* Присутствуем ли мы при кризисе базисной программы парадигмы современной теоретической физики? // Философские проблемы физики элементарных частиц (тридцать лет спустя). М., 1995.
- Койре, 2001 – *Койре А.* От замкнутого мира к бесконечной вселенной. М., 2001.
- Кравец, 1981 – *Кравец А.С.* Стиль научного мышления как понятие и реальный научный феномен // Стиль мышления как выражение единства научного знания. Воронеж, 1981.
- Лейбниц, 1984 – *Лейбниц Г.В.* Соч. В 4 т. Т. 1. М., 1984.
- Малиновский, 1986 – *Малиновский П.В.* Проблема стиля научного мышления : научно-аналитический обзор. М., 1986.
- Маркова, 2011 – *Маркова Л.А.* Наука без истины, субъекта и объекта, что дальше? // Эпистемология и философия науки. 2011. Т. 30. № 4.
- Мизнер, Уилер, 1979 – *Мизнер Ч., Уилер Дж.* Классическая физика как геометрия // Альберт Эйнштейн и теория гравитации. М., 1979.
- Микешина, 1977 – *Микешина Л.А.* Детерминация естественно-научного познания. Л., 1977.
- Минковский, 1935 – *Минковский Г.* Пространство и время // Принцип относительности. 1935.
- Миттельштедт, 2011 – *Миттельштедт П.* Проблема интерпретации в современной физике // Эпистемология и философия науки. 2011. Т. 28. № 2.
- Молчанов, 1964 – *Молчанов Ю.Б.* Понятие одновременности и его эволюция // Вопросы философии. 1964. № 9.
- Назаров, 1974 – *Назаров В.И.* Эволюционная теория во Франции после Дарвина. М., 1974.
- Назаров, 1984 – *Назаров В.И.* Финализм в современном эволюционном учении. М., 1984.
- Опарин, 1968 – *Опарин А.И.* Жизнь, ее природа, происхождение и развитие. М., 1968.
- Парахонский, 1982 – *Парахонский Б.А.* Стиль мышления: философские аспекты анализа стиля в сфере языка, культуры и познания. Киев, 1982.
- Поздняков, 2013 – *Поздняков А.А.* Понятие естественного отбора в дарвинизме и синтетической теории эволюции // Философия науки. 2013. № 1.
- Порус, 1994 – *Порус В.Н.* Стиль научного мышления в когнитивно-методологическом, социологическом и психологическом аспектах // Познание в социальном контексте. М., 1994.
- Пружинин, 2009 – *Пружинин Б.И.* Racio serviens? Контуры культурно-исторической эпистемологии. М., 2009.
- Рейхенбах, 1985 – *Рейхенбах Г.* Философия пространства и времени. М., 1985.
- Сачков, 1968 – *Сачков Ю.В.* Эволюция стиля мышления в естествознании // Вопросы философии. 1968. № 4.
- Сачков, 1993 – *Сачков Ю.В.* Типология стилей мышления (Историко-логический аспект) // Стереотипы и динамика мышления. Минск, 1993.
- Спекторский, 2006 – *Спекторский Е.В.* Проблема социальной физики в XVII столетии. Т. 1. СПб., 2006.



- Степин, 1999 – *Степин В.С.* Теоретическое знание. М., 1999.
- Степин, 2013 – *Степин В.С.* Особенности научного познания и критерии типов научной рациональности // Эпистемология и философия науки. 2013. Т. 36. № 2.
- Устюгова, 1984 – *Устюгова Е.Н.* Стиль научного мышления как культурологическая проблема // Наука и культура. М., 1984.
- Флек, 1999 – *Флек Л.* Возникновение и развитие научного факта: введение в теорию стиля мышления и мыслительного коллектива. М., 1999.
- Фуко, 1994 – *Фуко М.* Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994.
- Чайковский, 1992 – *Чайковский Ю.В.* Познавательные модели, плюрализм и выживание // Путь. № 1. 1992.
- Шапошников, 1999 – *Шапошников В.А.* Математическая мифология и пангеометризм // Стили в математике: социокультурная философия математики. СПб., 1999.
- Шубас, 1982 – *Шубас М.Л.* Инженерное мышление и научно-технический прогресс: стиль мышления, картина мира, мировоззрение. Вильнюс, 1982.
- Эйнштейн, 1966 – *Эйнштейн А.* Собрание научных трудов. Т. 2. М., 1966.
- Clifford, 1885 – *Clifford W.K.* The common sense of the exact sciences. N.Y., 1885.
- Crombie, 1994 – *Crombie A.C.* Styles of scientific thinking in the European tradition. 3 vols. L., 1994.
- Hacking, 1992 – *Hacking I.* 'Style' for historians and philosophers // Studies in History and Philosophy of Science. 1992. Vol. 23, No 1.
- Hacking, 2002 – *Hacking I.* Historical ontology. Cambridge, 2002.



РЕДУКЦИОНИЗМ И ХОЛИЗМ В ПОЗНАНИИ ЖИВОГО: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ

Елена Борисовна Музрукова – доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН.

Роман Алексеевич Фандо – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН. E-mail: fando@mail.ru

В статье проанализировано, как разные методологические подходы (редукционизм и холизм) позволили изучать одну познавательную модель – клетку живого организма. Показано, как исследования этой модели различными учеными привели к современным представлениям молекулярной биологии и генетики. Приведенные примеры из истории науки наглядно демонстрируют, что в области биологических дисциплин происходит закономерное взаимопроникновение методологий и эвристических гипотез. Это связано с системной сложностью биологических объектов, так как на различных уровнях элементарные структуры и процессы приобретают определенное значение только в рамках целостного контекста, который сам по себе является многомерным образованием.

Ключевые слова: методология биологического познания, междисциплинарность, история естествознания, философия науки, познавательные модели, развитие фундаментальных направлений физико-химической биологии, место субъекта в научном исследовании.

REDUCTIONISM AND HOLISM IN A PROCESS OF COGNITION OF THE LIVING: A METHODOLOGICAL DIALOGUE

Elena Muzrukova – doctor of science (biology), professor, leading researcher of the Institute for the history of science and technology, the Russian Academy of Sciences.

Roman Fando – candidate of science (biology), senior researcher of the Institute for the history of science and technology, the Russian Academy of Sciences.

The article analyzes how different methodological approaches (reductionism and holism) allow one to study one cognitive model – the cell of a living organism. It is shown how the study of this model by different scientists have led to modern concepts of molecular biology and genetics. These examples from the history of science clearly show that in the biological sciences the interpenetration of natural methodologies and heuristic hypotheses is. This is due to the complexity of the biological system, since different levels of the elementary structures and processes have a definite meaning only within the context of integral, which in itself is a multidimensional form.

Key words: methodology of biological cognition, interdisciplinary, history of science, philosophy of science, cognitive models, the development of the fundamental areas of physico-chemical biology, place a subject in a research study.





Процесс познания осуществляется на основе смены различных фундаментальных теорий, которые и выстраивают научные факты. Из созданного фактами материала вырастают разнообразные проблемы изучения живого: проблема целостности, эволюции, детерминации, самоорганизации.

Биология и химия на первых этапах своей истории отличались и объектами, и методами исследования, однако в ходе развития этих наук изменялась их методология и расширялось исследовательское поле. Если в эпоху Средневековья главной целью исследователей было описать различные организмы и их органы, то в течение последующих столетий внимание ученых было сконцентрировано на других уровнях организации живого (видовом, популяционном, биоценологическом, тканевом, клеточном, молекулярном).

В истории изучения живого всегда существовало два противоположных течения – холизм и редуccionизм. Представители холизма (от греч. *holos* – целое) считают, что живые организмы отличаются от неживой природы особыми качествами, поэтому к биологическим объектам не применимы полностью законы физики и химии. Холизм включает в себя множество различных направлений, наиболее яркими из которых являются иррациональный и рациональный холизм. Иррациональный холизм основывается на постулате о непознаваемости особого качества жизни, а рациональный, допуская отличие живого от неживого, считает возможным познание детерминант живого благодаря научному инструментарию.

Парадоксальная ситуация сложилась в эмбриологии. Принцип однозначного детерминизма (редуccionизм), входя в противоречие с фактами, применялся в эмбриологии с большим догматизмом, чем в науках, у которых он был заимствован. Л.В. Белоусов показал историю неприятия «закона Дриша» научным сообществом [Белоусов, 2005]. Из достаточно простых опытов Дриша следовало, что ни о каких индивидуальных и четко локализованных причинах (детерминантах) онтогенеза не может быть и речи, вплоть до тех стадий развития, на которых происходит усложнение структуры зародыша, заведомо выходящее за пределы однозначного детерминизма. «Дриш, не остановившись на этом негативном утверждении, предложил лапидарную формулировку того, что же определяет... судьбу каждой части зародыша, т.е. весь путь его дальнейшего развития. Это, по Дришу, положение данной части в целом зародыше. Здесь мы имеем дело с совершенно новым для науки того времени двухуровневым каузальным по-

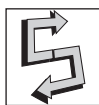


строением, когда частные события подчиняются более общему началу» [Белоусов, 2007: 72]. Это начало не обязательно телеологично, хотя и может быть таковым.

В отличие от холизма редукционизм (от лат. *reductio* – упрощение) сводит живые объекты и процессы к физико-химическим закономерностям. Представители редукционизма объясняют законы биологии на языке химии и физики, т.е. наук, подчиняющихся четким законам. В свою очередь данное направление философы условно делят на два течения – сильный и слабый редукционизм [Моисеев, 2007]. Сильный редукционизм опирается на радикальные представления о возможности объяснения феномена живого только с помощью методологического аппарата физики, науки номотетической, т.е. подчиняющейся определенным законам. Ярким представителем этого течения являлся приверженец логического позитивизма Рудольф Карнап (1891–1970). Он считал, что все науки, включая психологию, возможно свести к основным физическим понятиям [Карнап, 1971].

Сторонники слабого редукционизма считают, что для понимания биологических процессов возможности классической физики порой бывают лимитированы, поэтому для познания живого необходимо привлекать новые методы исследования, заимствованные, например, из квантовой физики и химии. Представители «слабого» редукционизма готовы к преобразованию самого фундамента классической физики для решения некоторых вопросов естествознания. Один из создателей квантовой механики Эрвин Шредингер по этому поводу писал: «Развертывание событий в жизненном цикле организма обнаруживает удивительную регулярность и упорядоченность, не имеющие себе равных среди всего, с чем мы встречаемся в неодушевленных предметах... Нас не должны поэтому обескураживать трудности объяснения жизни с привлечением обыкновенных законов физики. Ибо это именно то, чего следует ожидать исходя из наших знаний относительно структуры живой материи. Мы вправе предполагать, что живая материя подчиняется новому типу физического закона» [Шредингер, 2002: 79]. Таким образом, Шредингер фактически постулировал специфику живого.

В философии бывает тяжело классифицировать различные методологические подходы и найти четкие грани между слабым редукционизмом и рациональным холизмом. Выделение того или иного философского направления и придание ему особого места в методологической системе носит условный характер, приобретая



индивидуальные черты в связи с историческим, культурологическим и психологическим контекстами.

В.И. Моисеев отмечает, что развитие биологии и медицины шло от принятия крайних форм холизма и редукционизма к постепенному сближению их позиций [Моисеев, 2007: 27]. Представления о феномене жизни со стороны всех направлений холизма и редукционизма Моисеев представил в виде рисунка (рис. 1), где большие эллипсы символизируют исследовательские границы классической физики, общей физики, науки и культуры, а малым кругам соответствуют различные методологические направления. Согласно предложенной схеме, редукционизм полагает, что феномен жизни лежит внутри области классической физики, а рациональный холизм считает, что изучение живого не должно быть прерогативой классической физики и физики вообще, а лишь следовать логике научного познания.

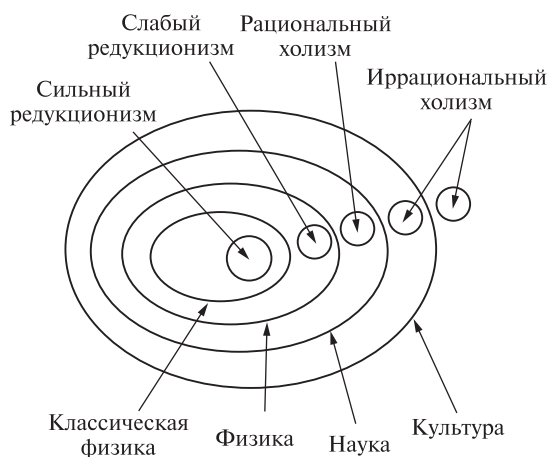


Рис. 1. Представление о феномене жизни со стороны всех разновидностей редукционизма и холизма (по В.И. Моисееву)

Действительно, на заре зарождения представлений о клетке как структурной единице живого господствовал либо холизм, либо редукционизм, что приводило ученых к спорам и резкому неприятию идей противоположного лагеря.

Многое изменилось с возникновением и формированием цитохимии. Исторически методы и задачи цитохимии, возникшей достаточно поздно, были тесно связаны с гистохимией и морфологией клетки. Однако тенденция развития цитохимии в XX в. – это постепенное сближение с биохимией в исследовании изолированных клеточных структур (метод дифференциального центрифуги-

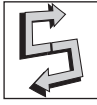


рования). В дальнейшем именно пограничное положение на стыке различных наук сделало химию клетки одной из главных «точек роста» физико-химической биологии. Наибольшее значение это направление имело для развития цитологии и биохимии, а в дальнейшем и генетики. Основной задачей цитологии на новом этапе развития стало изучение функционального взаимодействия клеточных компонентов в процессе жизнедеятельности клетки. Биохимическое изучение клетки должно было дать представление о координированной деятельности ее ферментных систем, что было невозможно без исследования их топографии и организации в цитоплазме [Музрукова, 1988: 103–104].

Сведение закономерностей одного уровня организации к другому на определенных исторических этапах оправдывало себя. В настоящее время внимание историков биологии и методологов науки привлекает анализ методологических оснований хромосомной теории наследственности и молекулярной биологии. И это вполне закономерно. Биология хочет осознать и понять себя. А это означает прежде всего осознание и понимание возникновения и развития тех «точек интенсивности», которые позволили биологии перейти на качественно иной уровень, увеличив эвристические возможности познания.

Достижения хромосомной теории наследственности и связанное с ними дальнейшее развитие генетики и генетики популяций неизмеримо повысили престиж биологии. Они показали, что по существу биология является такой же фундаментальной и точной наукой, как физика и химия. Достижения молекулярной биологии последних лет, успехи генной инженерии еще больше укрепили положение биологии в системе естественных наук. Интересно, как исторически формировались основные методологические направления биологической науки.

Анализируя методологию биологических исследований применительно к работе школы Т.Х. Моргана, Н. Ролл-Хансен выделил три основных методологических направления, сыгравших главную роль в конкретных биологических исследованиях [Roll-Hansen, 1979]: редукционизм в его классической форме; онтологический холизм в формулировке Г. Дриша и эпистемологический холизм. Последний, по мнению Ролл-Хансена, отвергает механистические теории не потому, что они находятся в противоречии с реальными свойствами живой материи, а потому, что они ограничивают исследовательское поле только экспериментальными результатами. Представителем этого направления Ролл-Хансен считал Клода Бернара. Понимание Бернаром ограниченности



актуально достигаемых экспериментальных результатов было направлено в основном на предотвращение экспансии физики и химии в физиологию. Интересен тезис Ролл-Хансена о том, что редукционизм во многих областях исследования вовсе не отвергает возможности одновременного наличия антиредукционистских программ, что отразилось в истории зарождения и развития генетики.

Становление знаний о наследственности происходило очень медленно, а связь между фенотипическими признаками и материальными основами генетики была абсолютно не ясна; даже до наших дней эта проблема не решена окончательно [Roll-Hansen, 1979].

Несмотря на то что представления о передаче признаков возникли давно, генетика как наука оформилась только с момента переоткрытия законов Менделя. Основатель генетики Грегор Мендель открыл закономерность передачи наследственности с помощью достаточно элементарных математических понятий и сознательного ухода от традиционного организмоцентрического мышления. Он интуитивно пришел к пониманию существования отдельных элементов наследственности. Удачный выбор объекта для проведения гибридологических экспериментов (горох посевной *Pisum*) и четкий математический подход позволили Менделю сформулировать свои знаменитые законы (правила). Полученные опытным путем гибриды наследуют один элемент от каждого родителя, например, от одного – элемент, дающий гладкие семена, от другого – элемент, дающий морщинистые семена. Ни один из этих элементов при первом скрещивании не видоизменяется под действием другого. Это отражает суть менделевского закона единообразия гибридов первого поколения. При этом во всем первом поколении гибридов обнаруживается исключительно один из признаков – доминантный. В противоположность доминантному другой признак был назван рецессивным. Во втором поколении гибридов обе наследственные черты проявляются вновь: некоторые растения имеют гладкие семена, некоторые – морщинистые (закон расщепления). «Элементы» Менделя в 1909 г. Иогансен назвал термином «гены».

Чтобы получить осмысленную статистику в своих экспериментах, Мендель сократил число переменных до минимума. Он прорастил 14 000 растений гороха, различавшихся только по одному признаку, и обнаружил, что во втором поколении доминантные и рецессивные наследственные черты проявляются в отношении 3:1.



Мендель выращивал растения, отличавшиеся по двум, трем и более признакам, и открыл, что наследование одного элемента никак не влияет на наследование другого. Им было обнаружено, что все семь признаков проявляются независимо друг от друга. Этот закон получил название закона независимого расщепления.

Открытия Менделя позволили взглянуть на проблему передачи признаков с позиций, противоречащих дарвиновской гипотезе о слитной наследственности. Согласно Ч. Дарвину, живой организм обладал «восковой пластичностью». Принятие этого исходного хаоса изменений, или, как назвал их А.А. Любищев, постулата о «тихогенетическом характере изменчивости», было существенно для дарвинистов. М.Д. Голубовский пишет, что в доменделевскую эпоху многообразие форм в потомстве гибридов объясняли «ослаблением силы наследственности», поэтому исследователи «терялись в противоречивых частностях и сложной мозаике признаков» [Голубовский, 2000: 262].

Только благодаря открытиям Менделя хаос, царивший в отношении наследственности, был подчинен математическому порядку. Идеи менделизма были поддержаны только спустя десятилетия. Английский естествоиспытатель Уильям Бэтсон одним из первых подверг критике дарвиновскую теорию о непрерывности изменчивости в эволюции, бросив вызов господствующему в то время дарвинизму¹. Бэтсоном была предложена особая форма наследственной изменчивости – альтернативная, принципиально отличающаяся от признанной в то время слитной наследственности. Кстати, Бэтсон одним из первых предлагал при изучении генетики использовать физико-химический подход. В 1913 г. он писал, что с помощью химии хаос биологических факторов может быть обобщен и систематизирован. Бэтсон высказал гипотезу о том, что действие генов можно объяснить их энзиматической активностью, хотя и не развил ее, поскольку считал, что для объяснения подобного явления еще недостаточно фактов [Серебровский [и др.], 1928].

В 1900 г. работы Менделя получили особое звучание, после того как Гуго де Фриз в Голландии, Карл Корренс в Германии и Эрих Чермак в Австрии почти одновременно и независимо друг от друга на собственном опыте убедились в справедливости менделевских выводов. Его законы фактически открыли второй раз и тем самым подготовили новый этап в исследовании проблем на-

¹ Т.Е. Либацкая показала, как Бэтсон сумел правильно понять сущность классических работ Менделя и представить основы менделизма англоговорящему миру (см. [Либацкая, 2006]).



следственности и изменчивости. Конечно, до понимания глубинных механизмов наследственности в то время было еще далеко, но ученые, уверовав в законы менделизма, были полны оптимизма. Вскоре после переоткрытия законов Менделя, в 1902 г., американский биолог Уильям Сэттон, ученик Э. Вильсона, высказал предположение, что гипотетические «факторы наследственности» Менделя находятся в особых структурах клеточного ядра – хромосомах. Однако прямых подтверждений гипотезы Сэттона еще не было, необходимы были экспериментальные доказательства.

Доказательства были получены после серии работ американского эмбриолога и генетика Томаса Моргана и его учеников. Морган интересовали мутации и их роль в формировании изменчивости вида. Он экспериментально доказал, что гены, ответственные за определенные признаки, локализованы в хромосомах клеточного ядра. Анализируя результаты своих наблюдений, Морган пришел к выводу, что ряд качеств передается потомкам в совокупности. Впоследствии это назвали слитной наследственностью, что позволило высказать гипотезу о том, что гены не разбросаны по всей клетке, а сцеплены в некие кластеры на хромосомах, что было подтверждено открытием кроссинговера.

К пониманию материальных основ гена Морган пришел с помощью редукционного подхода при объяснении результатов проведенных экспериментов. Данный подход критиковали Бэтсон и Иогансен, так как считали, что Морган оставляет без внимания целостность организма, анализируя лишь его составные части. Они, конечно, не были рьяными сторонниками натуралистического описания или метафизических спекуляций и приписывали ведущую роль не отдельным частицам, а внутренней среде хромосомы (континуальная модель хромосомы Р. Гольдшмидта). Критика в адрес хромосомной теории со стороны Бэтсона и Иогансена представляла собой своеобразную исследовательскую программу, основанную на примате целого. Иогансен считал генотип неразложимым целым исходя из представления о нем как об абстракции, в которой невозможно выделить определенные составляющие части. Понятие гена он считал условным.

Сами по себе методологические основания «холистических» концепций Бэтсона и Иогансена имели свою эвристическую ценность. С современной точки зрения представления Иогансена о гене отражают состояние генотипической среды на молекулярном уровне. Однако не следует забывать, и мы уже говорили об этом, что на разных исторических этапах развития науки происходило познание живого на различных его уровнях. Во время формирова-



ния хромосомной теории наследственности основную роль в методологической программе Моргана сыграл именно цитологический редукционизм, связанный с цитологическим анализом закономерностей хромосомных перестроек.

Взгляды Моргана о неделимости гена были пересмотрены уже в конце 1920-х – начале 1930-х гг. после работ А.С. Серебровского и сотрудников его лаборатории по изучению мутаций дрозофилы [Серебровский [и др.], 1928]. Именно благодаря этим исследованиям была доказана гипотеза о сложном строении гена, получившая название «гипотеза дробимости гена».

Сразу после своего появления теория дробимости гена подверглась резкой критике. Ее опровержению посвятили свою статью А.Х. Стертевант и Дж. Шульц. Морган, упоминая работы по ступенчатому аллеломорфизму, отмечал, что для данной теории необходимы дальнейшие доказательства [Морган, 1996]. Генетикам было очень тяжело отказаться от признанного всеми постулата «ген не дробим». Только после получения мутаций *achaete-scute* и их анализа в исследованиях отечественных генетиков (1929–1935) принципиально изменился взгляд на проблему строения гена [Дубинин, 1929; Агол, 1929]. Теоретически были предсказаны составляющие единицы гена – субгены, которые предположительно располагались в гене в линейном порядке. Впоследствии Н.П. Дубинин, Н.Н. Соколов и Г.Г. Тиняков, исследуя комплекс *achaete-scute*, показали, что между субгенами может осуществляться рекомбинация [Дубинин, Соколов, Тиняков, 1937]. Данная работа в очередной раз подтвердила сложную материальную пространственную структуру гена, которая может подвергаться рекомбинациям.

После разработки методик молекулярных исследований стало возможным перепроверить основные постулаты теории сложного строения гена. Действительно, после открытия полинуклеотидной природы молекулы ДНК было доказано, что ген дробим на составляющие его части, располагающиеся в нем в линейном порядке.

Идею о связи наследственности с веществами в начале XX в. высказали независимо друг от друга представители различных наук, преимущественно химики, так как в то время были предприняты попытки объяснить суть биологических процессов с позиции молекулярных взаимодействий. В 1908 г. В. Оствальд, а в 1911 г. А. Хагедоорн выдвинули предположение о том, что факторам наследственности свойственны некоторые аутокаталитические особенности. Примерно в это же время, в 1914 г., появляется гипотеза американского биохимика Л. Троланда об энзимной природе на-



следственного вещества. Данные представления отражали наиболее распространенные взгляды биохимиков того времени, справедливо названного «золотым веком» энзимологии [Музрукова, 2002].

Постепенно с развитием биохимической цитологии, биохимии и генетики происходило стирание границ между холизмом и редуccionизмом, так как не только менялись представления о строении и функциях биологических структур с физико-химических позиций, но происходила также трансформация этих позиций благодаря открытиям в области биологии.

Для понимания сущности различных явлений ученому необходимо целостное восприятие объектов исследования, расширение исследовательского кругозора, использование методик других наук. Поэтому одновременно с дифференциацией в науке происходят интегративные процессы, способствующие взаимопроникновению и объединению в единое целое самых различных направлений научного познания мира. Для развития научного направления часто используются знания, полученные другими науками. «Ход мыслей, развитый в одной ветви науки, – отмечали А. Эйнштейн и Л. Инфельд, – часто может быть применен к описанию явлений, с виду совершенно отличных. В этом процессе первоначальные понятия часто видоизменяются, чтобы продвинуть понимание как явлений, из которых они произошли, так и тех, к которым они вновь применены» [Эйнштейн, Инфельд, 1965: 34].

В середине XX в. междисциплинарность приобрела статус методологического принципа. Междисциплинарность как методологический принцип научного исследования нуждается в использовании информации независимо от ее дисциплинарной принадлежности. «Происходит реальный синтез научных дисциплин как в отдельных исследованиях, так и в крупных проектах. С помощью междисциплинарного подхода решаются проблемы экологии и культуры, биологии и медицины. Это отражает осознание исследователями недостаточности одностороннего дисциплинарного принципа научного познания. Если дисциплинарный подход дает возможность изучать разнообразные свойства объекта, то междисциплинарный дает его целостное видение» [Музрукова, 2008: 4].

В процессе познания структурной организации макромолекул возникла реальная необходимость учитывать не только физико-химические, но и иные закономерности строения, а также объединять различные данные в некое системное целое. Молекулы



нуклеиновых кислот оказались достаточно сложными структурами. Несмотря на многочисленные данные о составных частях ДНК и РНК, ученым очень долго не удавалось хоть сколько-нибудь близко подойти к созданию цельной картины строения и установления роли этих соединений. При решении данного вопроса они столкнулись с организованной сложностью молекул, целостность которых была гораздо больше суммы их частей. Справиться со сложной задачей стало возможно благодаря междисциплинарному подходу и использованию новых физико-химических методов исследования.

Начиная со второй четверти прошлого столетия в биологические лаборатории и институты стали активно привлекаться различные специалисты: физики, математики, химики. Да и самые, казалось бы, далекие от биологической проблематики ученые стали интересоваться вопросами организации и функционирования живого, происхождения жизни, передачи наследственных признаков, адаптации различных видов к изменяющимся условиям среды обитания, движущих сил эволюции и причин многообразия живого.

Внедрение новых физико-химических методов исследования произошло и в изучении молекулярных основ жизни. Понимание феномена жизни представляло интерес не только для биологов. На данную проблему ученые пытались смотреть гораздо шире, тем самым значительно обогащая содержательную и методологическую стороны молекулярно-биологических исследований.

История изучения структуры нуклеиновых кислот наглядно демонстрирует нам, как методами физики были найдены ответы на вопросы, долгие годы волновавшие биохимиков, генетиков, физиологов, эволюционистов. Физик Френсис Крик писал по поводу удачного взаимодействия физики и биологии в познании структуры молекул – хранителей наследственной информации: «По-настоящему ценить связь между двумя областями людей представляют новые и поразительные результаты, связывающие эти области весьма впечатляющим и очевидным образом. Один хороший пример стоит тонны теоретических аргументов. Тогда мост между двумя областями быстро заполняется исследователями с обеих сторон, жаждущими объединиться в новом подходе» [Крик, 2004: 115].

Идеи выдающихся физиков в значительной степени повлияли на раскрытие тайн строения основных молекул жизни. К началу 1930-х гг. у большинства физиков появилось ощущение всемогущества. Ученые все больше и больше постигали частицы микро-



мира: после изучения молекул перешли к атому, а затем и к элементарным атомным частицам. Конкуренция в области квантовой и ядерной физики была очень высока, поэтому многие ученые обратили свое внимание на «святая святых» и перешли к изучению того, о чем раньше физики не могли и мечтать, – самой жизни [Франк-Каменецкий, 2004; 2010].

Значимой фигурой, повлиявшей на сближение генетики и физики, был Шредингер. В 1944 г. вышла его книга «Что такое жизнь?», на русский язык ее перевели в 1947 г., как раз незадолго до августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г. В своей книге ученый четко изложил основы генетики, сделав доступными для многих своих коллег-физиков абстрактные биологические понятия и законы наследственности. Шредингер развил идеи Дельбрюка и Тимофеева-Ресовского о связи генетики и квантовой механики. До выхода в свет его революционного труда мало кто из физиков придавал особое значение работам неизвестных в их среде ученых, но когда об этой проблеме заговорил сам Шредингер, специалисты из разных областей знаний из разных стран мира стали штурмовать вершины познания природы гена.

В своей книге Шредингер выдвинул смелую идею о генетической макромолекуле, которая, «во-первых, должна была быть способна к самоудвоению – только при этом условии наследственная информация будет передаваться, а во-вторых, она должна была представлять собой “апериодический кристалл”, то есть иметь достаточно сложную и стабильную структуру» [Беркинблит, Глаголев, Фуралев, 1999: 145]. Кроме того, Шредингер предположил, что генетическая макромолекула способна кодировать наследственные свойства. Эти взгляды имели много общего с представлениями Н.К. Кольцова, пророчески предсказавшего в 1920-е гг. возможность хранения наследственной информации в гигантских молекулах. В 1927 г. Кольцов выдвинул теоретическую гипотезу о хромосомах, состоящих из гигантских молекул белков, воспроизводящихся по матричному принципу. Передача наследственных признаков обусловлена последовательностью радикалов в цепочке белковой молекулы. Кольцов ошибся в материальном субстрате носителя наследственной информации, но выдвинутая им идея о матричном синтезе наследственного материала стала впоследствии руководящей идеей молекулярной биологии.

Понять физическую природу гена удалось спустя несколько лет. Лидерами в этом поиске оказались две лаборатории – Кавендишская лаборатория в Кембридже и лаборатория Королевского колледжа в Лондоне. Приоритет принадлежал английским уче-



ным не случайно, именно в Великобритании к началу 1950-х гг. сформировалась крупнейшая школа в области рентгеноструктурного анализа. Применение рентгеновских лучей помогло ученым понять природу молекул наследственности.

Одной из сложных задач, которую поставили перед собой сотрудники Кавендишской лаборатории, стала расшифровка пространственного строения макромолекул. Ведь молекулы в своем активном состоянии далеки от идеальной линейной цепочки. Обычно они представляют собой расположенные в трехмерном пространстве молекулы с множественными изгибами, петлями, завитками и т.п. За определение структуры молекулы белка велась ожесточенная борьба исследователей. Только к середине 1950-х гг. Джону Кендрию и Максу Перуцу удалось добиться успеха в этом поиске, они смогли смоделировать трехмерную молекулу белков.

В Кавендишской лаборатории внимание многих ученых было сосредоточено только на рентгеноструктурном анализе белков, а нуклеиновыми кислотами там почему-то не занимались. Два совсем молодых исследователя, встретившиеся в Кавендишской лаборатории, Джеймс Уотсон и Френсис Крик, заинтересовались вопросом изучения строения ДНК методами рентгенографии. Оказалось, что данную работу уже провели Морис Уилкинсон и Розалинда Франклин в Королевском колледже в Лондоне. Крик, впоследствии вспоминая важность нового метода, писал: «Теория дифракции рентгеновских лучей в кристаллах является прямой, и потому большинство современных физиков находят ее довольно скучной. Несмотря на то что она требует умения выполнять некоторые алгебраические манипуляции, я вскоре обнаружил, что могу найти ответы на многие из этих математических задач путем осмысления изображений на рентгенограммах и логических рассуждений, избежав, таким образом, рутинных математических расчетов» [Крик, 2004: 53].

Сопоставив и проанализировав данные рентгеноструктурного анализа ДНК, проведенного Уилкинсоном и Франклин, Уотсон и Крик в 1953 г. пришли к расшифровке структуры нуклеиновой макромолекулы [Watson, Crick, 1953].

Если на первых порах своего развития молекулярная биология занималась вопросами структурной организации макромолекул, то по мере накопления соответствующих знаний она стала уделять пристальное внимание химическим свойствам и роли белков и нуклеиновых кислот в процессах жизнедеятельности организмов различных видов. С развитием новых физико-химических мето-



дов исследования ученые вплотную подошли к детальному изучению строения молекул с целью выяснения их функций в тех или иных процессах.

В молекулярно-биологических построениях также имели место как редукционизм, так и холизм. История молекулярной генетики и биохимии мало проанализирована под этим углом зрения, несмотря на то что она изобилует различными примерами применения этих методологических установок. Не стоит забывать, что принятие редукционизма или холизма связано с внутренними установками ученых, с их субъективным отношением к объектам исследования. Поппер, например, считал, что настоящий ученый должен быть редукционистом, применяя абстрактные законы к явлениям природы, помня при этом, что даже неудавшаяся редукция дает науке очень многое [Popper, 1968]. А наш соотечественник С.В. Мейен заявлял, что проблема редукционизма – это еще и этическая проблема. «Вера в редукционизм ведет к неверию в гуманистические ценности, удерживающие смысл лишь в рамках эгоизма и гедонизма... Я недавно мысленно отобрал среди своих знакомых убежденных редукционистов. Все они, кроме одного (у которого редукционизм сочетается с дуализмом), откровенные циники» [Мейен, 2001: 5].

Редукционизм как методология биологического познания успешно и плодотворно действовал в первые десятилетия XX в. наряду с попытками целостного подхода к организму, ярко проявившемуся не только в эмбриологии и биологии развития, но и в морфологии (Беклемишев, Любищев). Само различие исследовательских подходов двух выдающихся ученых и близких друзей Дриша и Моргана дает замечательный пример того, как быстро проникает в науку соответствующая мотивация. Часто это происходит неявно и бессознательно, но вполне объяснимо в терминах когнитивной внутренней связи.

Приведенные примеры из истории науки наглядно демонстрируют, что в области биологических дисциплин наблюдается закономерное взаимопроникновение методологий и эвристических гипотез. Это связано с системной сложностью биологических объектов, так как на различных уровнях элементарные структуры и процессы приобретают определенное значение только в рамках целостного контекста, который сам по себе является многомерным образованием. Таким образом, создаются новые познавательные модели.

В начале XX в. биология переживала трудные времена, связанные со становлением генетики, новым подходом к эмбриоло-



гии, созданием синтетической теории эволюции (СТЭ). Здесь уместно вспомнить слова Райнера Марии Рильке: «Трудные времена никогда не бывают потерянными временами». Но уже к концу XX в. стало ясно, сколь весомый вклад способна внести биология в современное понимание мира и человека.

Библиографический список

- Агол, 1929 – *Агол И.И.* Ступенчатый аллеломорфизм у *Drosophila melanogaster*. Трансген scute // Журнал экспериментальной биологии. 1929. Т. 5, вып. 4. С. 23–37.
- Белоусов, 2005 – *Белоусов Л.В.* Основы общей эмбриологии. М., 2005.
- Белоусов, 2007 – *Белоусов Л.В.* Наука о развитии организмов и ее место в системе современного естествознания // Грани познания. М., 2007.
- Беркинблит, Глаголев, Фуралев, 1999 – *Беркинблит М.Б., Глаголев С.М., Фуралев В.А.* Общая биология. М., 1999.
- Голубовский, 2000 – *Голубовский М.Д.* Век генетики: эволюция идей и понятий. СПб., 2000.
- Дубинин, 1929 – *Дубинин Н.П.* Исследование явления ступенчатого аллеломорфизма у *Drosophila melanogaster* // Журнал экспериментальной биологии. 1929. Т. 5, вып. 2. 1929. С. 53–84.
- Дубинин, Соколов, Тиняков, 1937 – *Дубинин Н.П., Соколов Н.Н., Тиняков Г.Г.* Внутривидовая хромосомная изменчивость // Биологический журнал. 1937. Т. 6, № 5–6. С. 1007–1054.
- Карнап, 1971 – *Карнап Р.* Философские основания физики. Введение в философию науки. М., 1971.
- Крик, 2004 – *Крик Ф.* Безумный поиск: личный взгляд на научное открытие. М.; Ижевск, 2004.
- Лобацкая, 2006 – *Лобацкая Т.Е.* У истоков генетики. М., 2006.
- Мейен, 2007 – *Мейен С.В.* Заметки о редукционизме // Методология биологии: новые идеи (синергетика, семиотика, коэволюция). М., 2001.
- Моисеев, 2007 – *Моисеев В.И.* Философия биологии и медицины. М., 2007.
- Морган, 1996 – *Морган Т.Х.* Экспериментальные основы эволюции. М.; Л., 1996.
- Музрукова, 1988 – *Музрукова Е.Б.* Роль цитологии в формировании и развитии общебиологических проблем. М., 1988.
- Музрукова, 2002 – *Музрукова Е.Б.* Т.Х. Морган и генетика. Научная программа школы Т.Х. Моргана в контексте развития биологии XX столетия. М., 2002.
- Музрукова, 2008 – *Музрукова Е.Б.* Предисловие // Междисциплинарный синтез в биологии: история и современность. М., 2008.
- Серебровский и др., 1928 – Получение мутаций рентгеновскими лучами у *Drosophila melanogaster* / А.С. Серебровский [и др.] // Журнал экспериментальной биологии. 1928. Т. 4, вып. 34. С. 161–180.
- Франк-Каменецкий, 2004 – *Франк-Каменецкий М.Д.* Век ДНК. М., 2004.



Франк-Каменецкий, 2010 – *Франк-Каменецкий М.Д.* Королева живой клетки: от структуры ДНК к биотехнологической революции. М., 2010.

Шредингер, 2002 – *Шредингер Э.* Что такое жизнь? Физический аспект живой клетки. М. ; Ижевск, 2002.

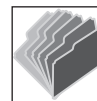
Эйнштейн, Инфельд, 1965 – *Эйнштейн А., Инфельд Л.* Эволюция физики. М., 1965.

Popper, 1968 – *Popper K.R.* Epistemology without a knowing subject // *Logic, Methodology and Philosophy of Science, III* // *Proceedings of the Third International Congress for Logic, Methodology and Philosophy of Science, Amsterdam, 1967.* Amsterdam, 1968.

Roll-Hansen, 1979 – *Roll-Hansen N.* Reductionism in biological research: Reflections on some historical case studies in experimental biology // *Perspectives in Metascience.* Oslo, 1979.

Sturtevant, Schultz, 1931 – *Sturtevant A.H., Schultz J.* The inadequacy of the sub-gene hypothesis of the nature of the scute allelomorphs of *Drosophila* // *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.* 1931. Vol. 17. P. 265–270.

Watson, Crick, 1953 – *Watson J.D., Crick F.H.C.* Molecular structure of nucleic acids // *Nature.* 1953. Vol. 171. P. 738–740.



ОТТО НЕЙРАТ И ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕДИНСТВО НАУКИ

TRANSLATION: OTTO NEURATH. DIE NEUE ENZYKLOPAEDIE DES WISSENSCHAFTLICHEN EMPIRISMUS

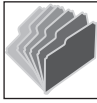
Виталий Валерьевич Болатаев – аспирант кафедры онтологии, логики и теории познания факультета философии НИУ ВШЭ. E-mail: v.v.bolataev@gmail.com

Vitaly Bolataev – graduate student at the Department of Ontology, Logic and Theory of Cognition of the Faculty of Philosophy of NRU HSE.

Общепризнанно, что Отто фон Нейрат – философ языка, социолог, экономист и политический активист – являлся одной из самых ярких и сложных фигур в истории расцвета позитивизма Венского кружка. Многочисленные статьи и работы, носящие преимущественно популяризаторский характер, значительно повлияли на историко-философские оценки роли Нейрата в зарождении логического эмпиризма, представляя его зачастую как пропагандиста и просветителя и нередко умалчивая о его оригинальных философских заслугах.

Предлагаемая вниманию читателей статья «Новая энциклопедия научного эмпиризма» была написана Нейратом в 1937 г. для итальянского журнала «Scientia» в сложные для логического позитивизма годы. Политические обстоятельства заставили многих философов самых различных направлений и школ покинуть Австрию, среди них был и Нейрат, который вынужден был жить и работать сначала в Голландии, а затем в США. Статья фактически стала манифестом нового движения позитивизма, уже не связанного с Венским кружком и вбирающего в себя самые различные направления и течения философии науки того времени. Нейрат показывает, к каким конкретным результатам пришло движение логического позитивизма Венского кружка в ходе своей эволюции. Любопытно, что в качестве наиболее значимого итога он выделяет синтез различных теоретических ориентаций – австрийского логического позитивизма, американского прагматизма, инструментализма и французского конвенционализма, объединяя их под общим знаменем нового движения, названного им движением за единство наук.

Сциентистский поворот, осуществленный в начале XX в., привел к возникновению самого живого интереса к философии науки, историче-

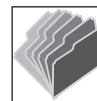


ское значение которого для современной эпистемологии трудно переоценить. В самом тексте статьи можно заметить и оригинальную философскую концепцию «эпистемологического нормативизма» Нейрата, возникшую в спорах с Р. Карнапом о роли и месте протоколов реальных научных дискуссий. Эпистемология, с точки зрения Нейрата, должна заниматься выработкой норм, направленных на совершенствование конкретного научного познания, а не дескриптивными исследованиями, в которых можно заметить тенденции метафизического «априоризма».

Вместо спекулятивных систем Нейрат предлагает более мягкую и динамическую модель интеграции научного знания, которую он сам называет «энциклопедизмом»: более или менее последовательные совокупности научных положений должны соединяться «связующими звеньями» с различными точными методами или техниками (теория вероятностей, статистика и т.д.). Нейрат говорил о «мозаике» и междисциплинарной «оркестровке» науки, которая более плюралистична, чем послевоенные теории Т. Куна, И. Лакатоса или К. Поппера. В связи с этим кажется парадоксальным, что «Структура научных революций», демонстрирующая жесткий каркас научного знания, впервые выходит именно как последний том Энциклопедии научного эмпиризма.

В той же статье Нейрат предлагает обратиться к проблеме экземплификации научного знания с целью максимально полного и адекватного отображения проблем и пробелов научного эмпиризма, им был разработан специальный язык ISOTYPE для визуализации сложных массивов информации, в том числе и для трансляции и передачи научного знания. Эти идеи нашли свое воплощение в фундаментальном исследовании соредатора Энциклопедии Чарльза Морриса «Основания теории знаков», который в ряде писем прямо ссылается на проект визуализации Нейрата.

Таким образом, проект Нейрата занимает важное место в традиции энциклопедизма, идущего еще от Г. Лейбница и Р. Луллия, а его теоретические исследования оказали огромное влияние на возникновение эпистемологического холизма в качестве методологической программы философии науки.



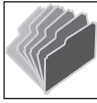
НОВАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НАУЧНОГО ЭМПИРИЗМА¹

Отто Нейрат

С давних пор существует и постоянно расширяется движение за прогресс, названное из-за своей теоретической основы логическим эмпиризмом, а из-за своих важных практических целей – движением за единство науки; в нем мы находим мыслителей и представителей различных дисциплин, объединенных эмпиристской антиаприористской позицией. Название «логический эмпиризм» связывает два направления – эмпиризм и логицизм, которые в истории развития человеческой мысли всегда были враждебны друг другу. Реализация этой основной идеи приводит к желанию исследовать логическую структуру в настоящее время обособленных конкретных научных дисциплин, показать их «перекрестные связи» и общий фундамент и представить их с помощью *единого языка* как части единой всеобъемлющей науки. Для выполнения этой программы с 1935 г. ежегодно проводятся *международные конгрессы за единство науки*. На первом из этих конгрессов (Париж, 1935) было принято решение содействовать предполагаемому изданию в институте Мунданеум международной энциклопедии единой науки. Первые две части, имеющие общевводный характер и подчеркивающие основные положения, должны выйти в 1938 и 1939 гг. В следующих частях будут рассматриваться логические основы специальных дисциплин; предполагается выделить разногласия и представить сторонников противоположных мнений, что будет способствовать и содействовать решению этих противоречий. Энциклопедия также предлагает всем заинтересованным обратить внимание на науку вообще.

Давно существует движение, подчеркивающее общность всех наук и доказывающее общность логических вспомогательных средств, на которых основаны предсказания высказываний наблюдения и проверки у физиков, геологов, социологов и историков. Движение “Unity of science movement”, как его называют, особенно американцы, сопряжено, с одной стороны, с систематическим использованием предложений наблюдения, а с другой – с важностью конструктивной работы логики; оно включает представителей двух направлений – *логического эмпиризма* (“Logical

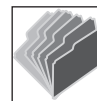
¹ Die neue enzyklopaedie des wissenschaftlichen empirismus // Scientia : rivista internazionale di sintesi scientifica. 1937. Vol. 62. P. 309–320.



Empiricism”) и *эмпирического рационализма* (“Rationalisme Experimental”), или «научного рационализма», в отличие от рационализма *a priori* основывающего свою аргументацию на абсолютных высказываниях. Философы, вышедшие из прагматизма, инструментализма, конвенционализма, в широком смысле позитивизма и других направлений, едины в этом вопросе. В то время как во всех этих тенденциях основополагающая роль принадлежит опытным высказываниям и релятивизму теорий, в последнее время все чаще говорят о *научном эмпиризме*. Обнаружена тесная связь между логическим анализом и эмпиризмом, и поэтому логический эмпиризм – дитя нашего времени. В работах Маха, Дюгейма, Энрикеса и других было показано, насколько анализ способствует историческому развитию. Обсуждение теорий прошлого предполагает формулировку «предложений о предложениях», поэтому каждая дисциплина перерабатывалась в соответствии с тем, что Рудольф Карнап предложил назвать «*логикой науки*».

Люди используют результаты научной работы в повседневной жизни гораздо чаще, чем раньше – едут ли они на поезде, работают в больнице, выводят новые сорта фруктов или пишут авторучкой. Однако не только среди тех, кто пользуется результатами научных исследований, но и среди тех, кто получил все эти результаты как специалисты, находятся очень многие, кто отнюдь не поддерживает *научное мировоззрение*, но либо подвержен спекулятивной метафизике, либо некритически использует довольно расплывчатые формулировки, опирающиеся на повседневный опыт.

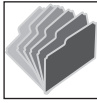
Современная форма научного эмпиризма наиболее основательно разрабатывается в Центральной Европе, возможно, потому, что люди здесь очень часто имеют дело с универсальной спекулятивной метафизикой и с «принципиально неясными» формулировками различных направлений. В Соединенных Штатах, где распространена философия здравого смысла, утвердилась крайне эмпирицистская атмосфера, в которой существуют, к примеру, много «метафизиков», имеющих дело с «миром как всеобъемлющей реальностью», т.е. их общеполитические соображения опираются на аргументы эмпиризма. Даже представители гуманистического синтеза обнаруживают там гораздо большую терпимость по отношению к логическому эмпиризму, нежели представители родственного направления в Центральной Европе, где многие влиятельные метафизики противостоят всему, что как-то связано с научным эмпиризмом.



Американскую позицию в несколько более слабой форме мы встречаем в Западной и Северной Европе. Возможно, тамошним людям критика центральноевропейской метафизики покажется несколько преувеличенной и странной, но, безусловно, конструктивная работа «логического позитивизма» будет оценена ими по достоинству. Очевидно, что в стране, в которой Пирс, Джеймс, Дьюи и другие создали общую эмпирицистскую атмосферу во многих областях, усилия Венского кружка и связанных с ним групп получили весьма дружелюбный прием. Американский образ мышления плодотворно и успешно соединяется с европейским, и можно ожидать серьезных результатов от такого сотрудничества.

Все более отчетливо проступает мысль о том, что речь идет не о простом построении какой-то «сверхнауки» в качестве «эризацфилософии», а о логическом анализе структуры науки в целом. Все усилия, которые прилагаются для демонстрации единства наук, выявляют «связующие звенья» между науками и даже создают новые, стимулируя разработку *общего языка* для всех реальных наук. Представители различных наук в разных странах расширяют это движение, несмотря на то что они не всегда знают об этой организации и, более того, не всегда могут согласиться с ясными принципами научного эмпиризма. Прежде всего речь идет об определенном практическом отношении, попытке преодолеть разобщенность наук из педагогических соображений. Внутри движения научного эмпиризма было принято решение создать программу «Единство наук» (“Unified Science”, “Science Unifinee”) для осуществления указанного синтеза.

Обращаясь к истории человеческой мысли, мы часто встречаем интерес к логике и математике со стороны ряда довольно метафизически настроенных мыслителей, особенно рационалистов, в то время как последователи вульгарного эмпиризма оценивают математику только как хороший инструмент, но не более того, что они считают низким «панлогизмом». Как Галилей противостоял схоластам и схоластической логике, так и Кант со своими последователями испытывал презрение к логике, не придавая большого значения логическим исследованиям Лейбница или интенциям Ламберта, являющегося его близким другом. То, что Григорий Ительсон называл эмпирическим рационализмом, а многие из нас называют логическим эмпиризмом, обозначает *преодоление довольно старой антитезы сочетанием эмпиризма с логицизмом*. Это не повод останавливаться в

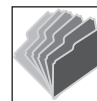


развитии², мы только хотим отметить всеобъемлющее начало сотрудничества в этой области с точки зрения как проблем, так и факта присоединения новых людей.

Ученые-активисты непрерывно присоединяются к этому движению. Не просто дать даже общий обзор групп и отдельных лиц, способствующих предлагаемому синтезу на основании логического эмпиризма, будь то расширение общей картины эмпиризма или тот факт, что они выполняют разные задачи как логики или ученые. Старое эмпирическое направление в англосаксонской или французской мысли по-прежнему существует и испытывает симпатию к научному эмпиризму. В Австрии колеблющихся больше, в Германии, однако, только задаются вопросом, в какой степени должна развиваться метафизика. В Польше, Венгрии, Италии, Скандинавии, Южной и Центральной Америке эмпиристская тенденция всегда была сильная и никогда полностью не прекращалась, в Польше, например, мы вновь встречаемся с позитивизмом Конта. Научный эмпиризм находит друзей и на Дальнем Востоке.

Во *Франции*, где образованию школ не уделяется большого внимания, мы встречаем много отдельных близких движению мыслителей, таких, как Болль, Лаланд, Леконт дю Ноуи, Леви-Брюль, Рожье и др.; сюда относятся те, кто связан с «Centre international de synthese»: Абель Рей, чья научная работа по логике повлияла на развитие логического эмпиризма в Центральной Европе, а с ним Поль Ланжевен, Генри Берр, Поль Массон-Урсель и Роберт Бувье, который находился под сильным влиянием Эрнста Маха. В *Англии* сильнейший импульс исходит от Бертрана Рассела, в котором логическая и эмпирическая традиции совмещаются в различных комбинациях, сам по себе он становится центром, из которого берут свое начало разные тенденции, хотя его «реализм» и подвергался некоторой критике. Из англичан, особенно близких нашему движению, следует назвать Айера, Стеббинг, Вуджера, а также таких людей, как Д.Б.С. Холдейн, которые непосредственно служат движению, не уделяя большого внимания общим идеям. Многие друзья и последователи движения в *Центральной Европе* продвигают результаты международного научного эмпиризма в различных странах, где ряд молодых исследователей перенимает традиции старшего поколения, продолжая строить здание единой науки. Из этого крыла можно назвать: Брунсвика (Вена и Беркли), Дуби-слава (Прага), Филиппа Франка (Прага), Фрэндлиха (Стамбул), Гёделя (Вена), Гемпеля (Брюссель и Чикаго), Александра Гельмгольца (Лондон), Холитшере (Вена), Мейнкса (Прага), Мизеса (Стамбул), Нейрата (Гаага), Оп-пенгейма (Брюссель), Рейхенбаха (Стамбул), Вальсмманна (Вена и Кембридж), Цильзеля (Вена), а также Ганса Хана и Морица Шлика, которых уже

² См.: Neurath O. Le Developpement du Cercle de Vienne et l'avenir de l'Empirisme logique. Übersetzt von Vouillemin. Einleitung von Rougier. P., Hermann & Cle, 1935; Joergensen J. Ansprache auf dem II. Internationalen Kongress für Einheit der Wissenschaft Kopenhagen, 1936 // Das Kausalproblem. Leipzig: Felix Meiner Verlag; Kopenhagen: Levin & Munksgaard Verlag, 1937.

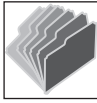


нет с нами. Польша славится великой школой, которая восходит через Твардовского (Львов) к Brentано, особенно активно в области логики, из них можно только упомянуть Айдукевича, Хвистека, Кокошинскую, Котарбинского, Лесьневского, Линденбаума, Лукасевича, Тарского, Завирского. В *Скандинавии* особенно активны в направлении научного эмпиризма Нильс Бор и Йоргенсен (Копенгаген) и Арне Несс (Осло), близки к ним Петцель (Гётеборг и Париж), Кайл (Гельсингфорс), Ююно Сарний (Турку), Альф Росс (Копенгаген), Рубина (Копенгаген), Трайекжаер-Расмуссен (Копенгаген); как и везде в мире, многие, кто восстал против принципов логического выражения эмпиризма, участвуют в широком обсуждении – Юлиус Крафт (Утрехт), феноменологи Феликс Кауфман (Вена) и Ингарден (Львов). Связь с немецкими исследователями включает в себя в основном логические работы, что заставляет думать о Беманне, Барнайсе, Буркампе и других, но особенно о Шольце и его мюнстерской группе. Хотя Шольц со своими сотрудниками ценит свой вклад в анализ науки, разработанная им теория представляет собой полностью метафизику. Сильную тенденцию к эмпиризму продемонстрировал Греллинг. Интерес к проблемам логического эмпиризма проявил Грете Герман и другие, вышедшие из Фриса и Нельсона. Логический эмпиризм находит отклик у молодых физиков: М. Штраус, швейцарцы Дюрр, Гонзет, Вальтер хотя и с некоторыми критическими оговорками, но присоединяются к движению.

Поскольку, как уже упоминалось, в *США* движение эмпиризма чрезвычайно распространено, вряд ли можно перечислить всех друзей научного эмпиризма. Упомяну несколько ведущих исследователей: Андраде, Бенджамин, Блумфилд и Рудольф Карнап (Чикаго), Бриджмен (Кембридж, штат Массачусетс), Моррис Коэн (Нью-Йорк), Джон Дьюи (Нью-Йорк), Герберт Фейгль (Айова-Сити), Олаф Хельмер и Гемпель (Чикаго), Сидни Хук (Нью-Йорк), Кларк Л. Халл (Нью-Хейвен, Коннектикут), Виктор Ф. Ленцен (Беркли), Курт Левин (Айова-Сити), К.И. Льюис (Кембридж), Чарльз У. Моррис (Чикаго), Эрнест Нагель (Нью-Йорк), Мейер Шапиро (Нью-Йорк), Сеньор (Чикаго), Тулмин и Брунsvик (Беркли), Луис Вирт (Чикаго). В Америке особенно сильно желание содействовать наукам через формализацию, строгие формулировки и всевозможный логический анализ. Все больше университетов вводят курс логики как на математическом, так и на философском факультете.

В *Италии* Пеано и его школа подготовила логикализацию всех наук. Крайне вдохновляет его проект по замене слов текста математическими представлениями через символизм. Также не остались без внимания малоизвестные работы Валлатиса. Традиция Пеано продолжается и сегодня, в частности в Падуе, как и в Германии, нашли своих последователей фундаментальные работы Фреге. Круг вокруг “Scientia”, особенно школа Энрикеса, предпочитает называть собственное направление научным рационализмом или экспериментальным рационализмом, но и они во многом связаны с темами научного эмпиризма. Эти и подобные им группы подчеркивают важность формирующихся теоретических образов и, утверждая исторический релятивизм, все еще резко выступают против любого рационалистического абсолютизма – в этом вопросе от них вполне можно ожидать единства.

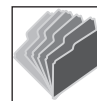
Комплексные тенденции проявляются в той или иной степени на ежегодных собраниях по усовершенствованию программы. На



этих сессиях приглашенные докладчики читают лекции по конкретным проблемам, а тщательно подготовленные дискуссии содействуют полезному обмену идей. На Международном конгрессе за единство науки, впервые состоявшемся в Париже в 1935 г., затем в Копенгагене в 1936 г. и в Париже в 1937 г., рассматривались детали новой энциклопедии, такие, как стандартизация логической символики. Организационный комитет (Карнап, Франк, Йоргенсен, Моррис, Нейрат, Рейхенбах, Рожье, Стеббинг) уже занят подготовкой двух следующих съездов. 18 июля 1938 г. откроется четвертая сессия в Лондоне. Ее основной темой будет язык науки. На 5 сентября 1939 г. намечено начало пятой сессии в Кембридже, штат Массачусетс, США (Гарвардский университет), основная тема – наука логики. Прошлый опыт показывает, что с каждым годом все большее количество людей приезжает для совместного обсуждения научного эмпиризма.

Парижская конференция 1937 г. подвела краткие итоги работе над энциклопедией, например работе комитета по символике, который был представлен на конгрессе в Париже. Нейрат рассказал об энциклопедии, Брунsvик провел дискуссию об интеграции психологии в точные науки и согласился с предложением использовать в будущем термин «бихевиоризм» (Behavioristics). Энрикес руководил дискуссией о месте в энциклопедии истории науки. В работе конференции среди прочих участвовали Айер, Вуджер, который занимается формализацией биологии. Кларк Л. Халл (Йельский университет) сообщил о работе своего института в области общественных отношений и своих усилиях по перестройке и реформированию социологии. Арне Несс, Гемпель и Оппенгейм, Хельмер, Дюрр, Гонзет, Крафт, Шольц и мюнстерская школа, Беман, Барнайс и другие подробно обсуждали вопрос символики. Карнап и Нейрат провели дискуссию о концепции семантической истинности, Карнап и Рейхенбах – по установлению истины и вероятности, в которых приняли участие как представители польской логической школы Тарский и Кокошинская, так и Р. фон Мизес. Бужье начал конференцию, а Филипп Франк выступил с последним словом, подведя итог работе конференции и обрисовав планы на будущее.

Движение неотделимо от различных совещаний и публикаций. Уже на первых двух «встречах по эпистемологии точных наук» в Праге в 1929 г. и в Кенигсберге в 1930 г. обсуждались важные проблемы, которые обсуждались в дальнейшем, например в «Erkenntnis», по поручению сообществ академической философии, основанных Р. Карнапом и Г. Рейхенбахом в Берлине, и Ас-



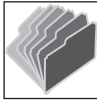
социации Э. Маха в Вене. Интерес к двум конференциям и «Международному конгрессу за единство наук» (Прага, 1934) быстро растет в различных науках, и круг проблем нового движения начинает рассматриваться в ряде журналов, например в «Scientia» всегда публиковались представители Венского кружка. В выпускаемом Л. Сьюзан Стеббинг «Analysis» (Лондон) Гемпель и Юхос с другими обсуждали вопросы логического эмпиризма. Даже «Theoria» (Гетеборг) демонстрирует крайнюю степень отзывчивости по отношению к представителям логического эмпиризма и способствует проведению конкретных дискуссий. Один из редакторов, Аке Петцель, уже некоторое время назад принимала участие в заседаниях Венского кружка Шлика и в двух выпусках обращалась к различным этапам его развития. В.М. Малисофф, главный редактор журнала «Философия науки» (Нью-Йорк), всегда предоставлял место в своем журнале участникам движения за единство науки. «Revue de Synthese» уделяет все больше и больше внимания научной унификации и проводит научный обзор целей научного эмпиризма. Все более дружественное отношение, заинтересованность или уважение к движению проявляют другие журналы и специализированная литература.

Такой широкий интерес к логическому эмпиризму и единству науки вызван планом фактически полного обзора здания наук взамен спекулятивной метафизики. Конгресс в Париже в 1935 г. был посвящен проекту «Международной энциклопедии единства наук» (International encyclopedia of unified science, Encyclopedie internationale de la science unifiée), определенной позиции в повестке дня³ и принятию решения о совместной разработке этого плана в «Институте Мунданеум». Подготовительные шаги комитета энциклопедии (Карнап, Франк, Йоргенсен, Моррис, Нейрат, Ружье) оказались настолько успешными, что для работы энциклопедии был создан специальный отдел в Мунданеуме, Международном институте по унификации науки (исполнительный комитет: Франк, Моррис, Нейрат).

Основная идея новой энциклопедии – продемонстрировать всю логическую основу нашей современной науки таким образом, чтобы вы были в курсе пробелов, трудностей и дискуссий и не создавалось ложное впечатление, что у «системы науки» есть жела-

³ См.: *Neurath O.* Une Encyclopedie Internationale de la Science Unitaire; *Morris Ch. W.* Remarks on the Proposed Encyclopedia; *Frank Ph.* Diskussionsbemerkungen zur Enzyklopadie. *Carnap R.* Ueber die Einheitssprache der Wissenschaft, logische Bemerkungen zum Projekt einer Enzyklopädie // Actes du Congres International de Philosophie Scientifique. II. P.: Hermann & Cle, 1936. *Neurath O.* Unified Science and its Encyclopedia // Philosophy of Science. 1937. April.





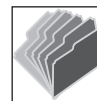
ние занять место спекулятивных систем. Программа такой фундаментальной системы будет обнаруживать метафизические и априористские тенденции. Против системного абсолютизма «энциклопедизм» выступает программно⁴. Согласно комплексному плану, энциклопедия должна быть выполнена в виде буклетов объемом примерно по 70 страниц, каждый из которых посвящен конкретной теме. Но это не набор отдельных статей, а скорее издание «связующих звеньев» от науки к науке и инициации стандартизации научного языка. Около 10 брошюр должны формировать группу. Весь план изложен так, что энциклопедия будет *подобно луковице состоять из множества оболочек*. К моменту написания последней строки первые опубликованные брошюры в нескольких изданиях уже должны существовать. Это призвано гарантировать общую завершенность. Если по какой-либо причине дальнейшие публикации прекратятся, то и *основной части не будет никогда*.

Университет Чикаго в 1938 и 1939 гг. выпустит первые два тома энциклопедии, которые сначала выйдут на английском языке⁵. Это будет текст из 20 глав под общим заглавием «Основы унификации науки». Два тома, предназначенные исключительно для подготовки последующих томов, образуют единое целое⁶. Задача первых двух томов – дать общее представление о вопросах современного научного эмпиризма. Поэтому работы будут сначала проявлять солидарность движения. В дополнение к представлению о логических границах отдельных дисциплин этот материал также должен показать, какие другие дисциплины отдельных отраслей знания надо воспитывать и какие сами обеспечивают себя в своих формулировках. Важно, чтобы уже в самом начале читатель понимал, как важны «перекрестные соединения», во многих смыслах являющиеся «мостами» между отдельными науками. Конечно, 20 книг также должны помочь показать огромное эмпирическое значение *систематизации* и *аксиоматизации* в рамках отдельных

⁴ См.: *Neurath O. L'Encyclopidie comme "Modele" // Revue de Syntese. Octobre 1936. Auszug in der "Scientia". S. 302.*

⁵ Под редакцией Отто Нейрата совместно с Рудольфом Карнапом и Чарльзом Моррисом. Вышеупомянутый оргкомитет энциклопедии является консультантом со стороны. В него вошли К. Айдукевич (Львов), Э. Брунвик (Вена и Беркли), Д. Клей (Амстердам), Дж. Ф. Дьюи (Нью-Йорк), Ф. Энрикес (Рим), Фейгль (Айова-Сити), В. Кампферт (Нью-Йорк), В.Ф. Ленцен (Беркли), Я. Лукасевич (Варшава), Малисофф (Нью-Йорк), Г. Маннури (Амстердам), Е. Нагель (Нью-Йорк), А. Несс (Осло), Г. Рейхенбах (Стамбул), Л.С. Стеббинг (Лондон), А. Тарский (Варшава), Е.С. Тулмин (Беркли), Дж.Х. Вуджер (Лондон).

⁶ Цена подписки каждого тома (примерно 10 брошюр) объемом около 700 страниц 7,50 долл. США, поздняя цена около 10 долл. США (Секретариат: Международный институт единства наук, Гаага, Нидерланды. Obrechtstraat. 267).

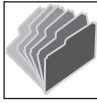


дисциплин или групп наук, но без чувства возбужденного ожидания «системы». Это позволит предположить, каким образом могут быть предотвращены определенные недоразумения в формулировках, когда термины вводят в заблуждение. Разные взгляды на отдельные вопросы только упомянуты в этих первых двух томах, но существует детальный план решения таких конфликтов в следующих выпусках: основные положения конкретного вопроса дополняются краткими рассмотрениями, написанными представителями противоположных взглядов.

В то время как, с одной стороны, энциклопедия и сообщество науки всячески подчеркивают новый контекст, особенно уникальную возможность стандартизации терминов и символов, с другой стороны, они ясно показывают пробелы и неопределенности, противоречия и трудности. Так что это не мавзолей с достижениями прошлого, а инструмент активной деятельности, особенно в свете решимости не оказаться забытыми в будущем из-за обилия обтекаемых заключений. Это и способ увидеть, что всех ждут новые проблемы. Сотни дверей открыты. В «вечной» энциклопедии, где каждая часть будет вводиться в новых изданиях по мере необходимости, все больше и больше логических научных деталей может обрабатываться в более поздних «оболочках», когда в качестве участников будет выступать молодежь. Есть много людей, которых интересует живая проблематика момента, они не возражают, если под сомнение ставятся устаревшие взгляды: «Не угодить тому, кто искушен, кто в становлении, будет покорен»⁷.

Темы и авторы первых двух томов. Унификация науки, вводные замечания: *Теория знаков*, Моррис (Чикаго); *Математика и логика*, Карнап (Чикаго); *Процедура эмпирической науки*, Ленцен (Беркли); *Физика*, Франк (Прага); *Космология*, Фрэйндлих (Стамбул); *Вероятность и эмпиризм*, Нагель (Нью-Йорк); *Биология*, Майнкс (Прага); *Формальная биология*, Вуджер (Лондон); *Бихевиоризм*, Брунсвик (Вена и Беркли) и Несс (Осло); *Социальные науки*, Нейрат (Гаага); *Эмпирическая аксиология*, Джон Дьюи (Нью-Йорк); *Общее языкознание*, Андраде (Чикаго); *Социология науки*, Вирт (Чикаго); *История науки*, Энрикес (Рим); *История логики*, Лукасевич (Варшава); *От рационализма априори к эмпиризму*, Ружье (Безансон и Каир); *Проблемы эмпиризма и рационализма*, Дубислав (Прага) и Саутиллана (Нью-Йорк); *Логический эмпиризм*, Йоргенсен (Копенгаген); *Библиография*, Гемпель (Брюссель), Йоргенсен (Копенгаген), Нейрат (Гаага).

⁷ Гёте И.В. Фауст : пер. с нем. Б.Л. Пастернака // Собр. соч. В 10 т. М., 1976. Т. 2.



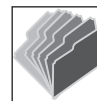
Данные инструкции обрисовывают контур области, которая будет охватывать следующие тома энциклопедии. Особое внимание следует уделять созданию международной библиографии научного эмпиризма. В брошюре «Библиография» в конце второго тома приводится только первый вводный обзор. Центральный офис энциклопедии представлен консультантами и корреспондентами из разных стран и областей науки, чтобы получить международную ориентацию на работу, которая прямо или косвенно будет посвящена логическому эмпиризму и унификации науки. Этому будет способствовать контакт с определенными научными институтами, научными обществами и другими органами.

Новая «Международная энциклопедия унифицированной науки» выйдет на английском языке, но не за горами ее издание на других языках. В любом случае если будет подготовлен выход из печати на нескольких языках, то следует быть готовыми к тому, что указания для перевода основных терминов должны быть разработаны и включены в отдельные папки. Важно отметить подготовительную работу Лаланда и его коллег, а также аналогичные изыскания в специализированных областях.

Поскольку новая энциклопедия не распространяется на специалистов, а, как правило, ориентирована на научно заинтересованных людей, особое внимание должно быть уделено презентации. Там, где это возможно, должно использоваться также графическое представление в едином стиле. Прежде всего необходимо обратиться к экземплификации⁸.

Так как энциклопедия не ставит перед собой задачу полностью передать отдельные факты, а показывает логическую структуру науки и приводит некоторые исторические выводы, которые будут способствовать развитию логического эмпиризма, *она не конкурирует с существующими энциклопедиями, но рассматривает их в качестве дополнения*. Поскольку энциклопедия имеет в виду все виды дисциплин, она будет иметь дело с так называемой прикладной наукой, с вопросом о том, как образование, медицина и прочие дисциплины логически связаны с другими, а также с вопросом о том, насколько этика, эстетика и им подобные проблемы являются научными. Научные исследования из различных лагерей могут оказаться плодотворными, поэтому представлены их основные результаты. Не является замыслом энциклопедии и представление исследований только своего собственного течения. История

⁸ Neurath O. International Picture Language. The first Rules of "Isotype". L. : Kegan Paul, 1936.

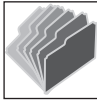


человеческой мысли ясно показывает нам, что общая антиэмпири-стская установка исследователя не всегда мешает ему получить важные отдельные результаты, которые научный эмпиризм обязан признать, так же как и наоборот, научные правила не волшебные, и те, кто следует им, не застрахован от совершения ошибок и неточностей, наносящих ущерб развитию научного эмпиризма. Это может подтолкнуть кого-то, кто без ложной скромности и при последовательном использовании эмпирической терминологии и принципов строгого эмпиризма способен пренебречь количественным научным контролем.

Идея возможного успешного синтеза наук, преодолевающего разделение на «науки о духе» и «ненауки о духе», является гораздо более распространенной, чем современная программа логического эмпиризма; эта идея занимает и сторонников движения за унификацию науки, и тех, кто атакует логический эмпиризм. Кроме того, высокая оценка вспомогательных средств логики и логического анализа исследователями в течение длительного времени еще не дает гарантии, что они доброжелательны к эмпиризму. Появляются люди, которые воспринимают унификацию науки как панлогизм и спекулятивную метафизику⁹. Это позволит поставить вопрос в энциклопедии о том, насколько сильным оказалось влияние определенных форм метафизики на развитие эмпирических наук, особенно рационализм априори, а также вопрос о том, заменяет ли она сегодня, как думают многие люди, столкнувшиеся с наукой. Все исследователи бихевиоризма [Forschungsbehavioristik], особенно представители более рационалистической метафизики, как правило, поддерживают эту точку зрения. Те, кто заинтересован в научной работе, гораздо более позитивно оценивают исследования спекулятивной метафизики.

В своей повседневной жизни люди зачастую сталкиваются с вопросами: какое представление может привнести в наше личное и социальное существование общее эмпирическое мировоззрение? Может ли такой всеобъемлющий научный анализ заменить то, что уже было достигнуто путем метафизики? Возможно, изучение древних философских школ, таких, как школы стоиков и эпикурейцев, и даст нам некоторую мудрость, но метафизические спекуляции играли в таких случаях незначительную роль (особенно у вторых). В соответствии с общим научным методом нужно тщательно исследовать все эти проблемы и не пытаться предуга-

⁹ Neurath O. Le développement du Cercle de Vienne et l'avenir de l'Empirisme logique. P. : Hermann Sc Cie, 1935, letzter Abschnitt.



дать ответ. Итак, мы как ответственные люди должны признать недостаточное понимание нашего разума. Эмпиризм особенно ясно показывает опасность переоценки целенаправленного размышления в отличие от «прыгающих выше головы» псевдорационалистов.

Организуя энциклопедию, мы не стремимся найти абсолютную истину. В той степени, в какой это возможно только сейчас, энциклопедия призвана стать выражением сознательной науки. Такие сознательные усилия должны иметь не только воспитательное значение, но и стимулировать сотрудничество, которое ранее было принято только в специальных областях. Некоторых удивляет, что энциклопедия не имеет программы, которая представляет всех работников. Этим энциклопедия показывает, что научный эмпиризм, в особенности логический эмпиризм и эмпирический рационализм, живы. Это что-то другое, чем то, что представляют собой пункты программы, что-то, что можно понять только в процессе научной работы. Совместная работа еще приведет к тому, что может быть обозначено программно.

Гаага

Перевод с немецкого В. Болатова



Ф ИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ В ИНСТИТУТЕ ФИЛОСОФИИ РАН¹

PHILOSOPHICAL INVESTIGATIONS OF MEANING AT THE INSTITUTE OF PHILOSOPHY, RAS

Куслий Петр Сергеевич – кандидат философских наук, научный сотрудник сектора социальной эпистемологии Института философии РАН. E-mail: kusliy@yandex.ru

Petr Kusliy – candidate of philosophical sciences, a researcher at the Institute of Philosophy, RAS.

(Рецензия на книгу: Лингвистика, коммуникация и история: семантический анализ ; отв. ред. А.Ю. Антоновский, А.Л. Никифоров. М. : ИФ РАН, 2013.)

(Review of *Lingvistika, komunikacija i istorija: semantičeskij analiz*. M., 2013 (Antonovski A. Nikiforov A. (eds.). *Linguistics, communication and history: semantic analysis*. M. : Institute of Philosophy RAS, 2013.))

В предисловии к изданию составители пишут, что вошедшие в него статьи посвящены анализу понятия значения и смысла в логической семантике, лингвистике, теории коммуникации и социальных науках. Это, по-видимому, не совсем так. Правильнее было бы сказать, что вошедшие в сборник статьи посвящены тем или иным проблемам в области формальной семантики, методологии гуманитарных наук и теории коммуникации, при решении которых используется семантический анализ, и так или иначе ставится вопрос о смысле и значении. И в этом аспекте данный сборник является действительно репрезентативным: он, насколько я могу судить, довольно полно представляет фи-

лософско-языковые исследования, которые ведутся сегодня в Институте философии РАН. С этой точки зрения обретает смысл и название сборника: речь идет о семантическом анализе в области проблем лингвистики, истории и коммуникации. Релевантность картинки с обложки, правда, остается за-



¹ Подготовлено при поддержке РГНФ, проект № 12-03-00588.



гадкой: силуэт взлетающей вороны на фоне силуэта молодой женщины – картина «Маленькая птичка». К чему бы это?

Как бы то ни было, такая дисциплинарная разнонаправленность представленных в сборнике девяти статей, авторами которых являются четыре сотрудника Института философии РАН, обязывает к обозрению содержания этой книги по принципу вклада каждого отдельного автора, поскольку именно этот критерий оказывается наиболее удачным для данных целей.

В статье «Интерпретация в естественных и гуманитарных науках» *А.Л. Никифоров* ставит вопрос об одном из различий в методологии естественных и гуманитарных наук: о специфике описания в них исследуемой области. Любое описание, утверждает автор, подразумевает интерпретацию описываемого объекта или события. Однако если в естественных науках интерпретация осуществляется на общепринятом научном языке, едином для всех исследователей, то описание в гуманитарных науках помимо интерпретации релевантных объектов и событий, подобно естественно-научной интерпретации, также включает в себя интерпретацию намерений и целей, которые приписываются действующим субъектам и играют немаловажную роль в общем гуманитарно-научном объяснении. На примерах исторических описаний автор иллюстрирует существующий в гуманитарных науках разброс интерпретаций при описании одних и тех же исторических событий.

Той же проблематике посвящены и две другие статьи Никифорова, в которых более подробно ис-

следуется работа историка. В них общая концепция автора дополняется исследованием дистанцированности между историком и объектом его исследования. В отличие от естествоиспытателя, имеющего дело с чувственным опытом или данными прибора, историк контактирует с объектом своего исследования опосредованно, через источники и свидетельства. Более того, намерения субъектов историка приходится реконструировать, имея еще меньше однозначных данных.

В порядке комментария к утверждениям автора хотелось бы отметить, что проблема временной дистанцированности историка от исследуемого события и необходимости опираться исключительно на источники вряд ли делает его работу специфически сложной. Ведь описание настоящего, в отличие от прошлого, оказывается не менее сложной задачей, ибо быть свидетелем события еще не значит быть способным дать ему удовлетворительное объяснение. По-видимому, помимо философии, нет дисциплины, занимающейся описанием настоящего, хотя другие отдельные гуманитарные науки (например, экономика, политология, социология) стремятся описывать настоящее в отдельных его аспектах. И если Никифоров прав насчет исследовательских особенностей гуманитарных наук, описанных выше, то задача историка представляется даже более простой, чем задача ученого-гуманитариста, описывающего настоящее: конечное число источников является важным ограничением исследовательской сферы историка и фактором, упрощающим его задачу. Тот, кто описывает настоя-



щее, имеет дело с несоизмеримо большим числом свидетельств, интенций и прочих доступных ему факторов. И если так, то, по-видимому, исследования настоящего (а не прошлого) должны служить наиболее показательными примерами исследовательской методологии гуманитаристики.

В статье «Коммуникация и наблюдение как универсальный биологический, нейрофизиологический и коммуникативный процесс» А.Ю. Антоновский исследует понятие наблюдения и его отношение к природе коммуникации. Причем коммуникация определяется как базовый элемент общества. Последнее сводится, по мнению автора, к совокупности коммуникаций. Понятие наблюдения представлено как родовое по отношению к коммуникации (и соответственно к базовым процессам, которые являются определяющими для понятия общества). Основополагающая функция наблюдения – это фиксация внимания (сознания) на каком-то определенном феномене, отделяемом от других (конкурирующих) феноменов в силу того или иного установленного отличия, которое ему присуще. Автор, используя понятийный аппарат современной теоретической социологии, анализирует ряд признаков, присущих составляющим общество коммуникациям: «наличие *собственных значений* как условий упорядочивания систем; замкнутый, рекурсивный характер коммуникативных систем и систем переживаний личности; временной или событийный характер протекания коммуникативных процессов; свойства “повторного вхождения” отличенного (от процессов сознания и коммуникации) “внутри” соз-

нания и “внутри” коммуникативного обсуждения; принцип “слепого пятна” или ненаблюдаемости самих медиа или средств наблюдения в процессе наблюдения» [Антоновский, 2013: 16–17]. Автор стремится продемонстрировать не только присутствие этих свойств в базовых процессах существования общества, но и указать на то, что они согласуются с базовыми процессами наблюдения в нейрофизиологических и биологических процессах, в частности в процессе появления аксона у одноклеточных. К сожалению, у меня нет возможности дать здесь обстоятельное описание и оценку данным идеям автора, поэтому я оставляю их читателю для самостоятельного ознакомления.

Статью «Форма и значение в языке, сознании и коммуникации» Антоновский посвящает понятию формы в его фундаментальном философском понимании. Присутствие данного понятия автор отслеживает в лингвистике и философии сознания с целью установить те способы, которыми форма обуславливает возможность понимания в указанных дисциплинах. Данная работа осуществляется на материале концепций Ф. Хайдера (медиавосприятия и медиакоммуникации) и Дж. Спенсера-Брауна (понятие формы в языке).

Статья А.В. Миглы «Проблемы антиреалистской интерпретации собственных имен в аналитической философии» посвящена, насколько я смог установить, не столько проблемам этих интерпретаций, сколько обстоятельному обзору самих этих интерпретаций или, точнее, теорий, авторы которых отстаивают антиреалистский подход к семантическому анализу



пустых имен. Суть данного подхода сводится к утверждению того, что пустых имен не существует, а языковые выражения, имеющие признаки имен собственных, но не обозначающие никакие конкретные объекты, именами не являются.

Чтение данного текста интересно: автор предлагает весьма точную характеристику упомянутых теорий и представляет их в максимально выгодном и убедительном свете, однако у читателя остается ощущение, что несмотря на всю их убедительность, сама автор не принимает данные теории. Защищенная А.В. Миглой в 2013 г. кандидатская диссертация «Референция “пустых” терминов как философская проблема», в которой автор отстаивает, наоборот, их реалистскую интерпретацию, объясняет данную стилистическую особенность статьи, которая, однако, сама по себе не содержит критики антиреалистских теорий, оставляя у читателя ощущение некоторой недосказанности. К странноватым особенностям текста хотелось бы отнести и то, что приводимые англоязычные цитаты автор не переводит, а дает в оригинале, что непривычным образом выделяет их внутри общего русскоязычного повествования.

В статье *Е.В. Востриковой* «Семантика и прагматика: современные подходы», как и следует из названия, представлен обзор концепций, так или иначе решающих вопрос о проведении границы между семантикой и прагматикой, вопрос, который является одним из наиболее обсуждаемых в современной философии языка. В статье показано, что ареной для дискуссий становится не столько класси-

ческое противостояние между денотативными концепциями значения и экспликациями значения языковых выражений в терминах употребления, сколько зависимость значений выражений от контекста (в том числе и контекста употребления). В статье перечислены основные проблемы для денотативной семантики, вокруг которых происходят дискуссии относительно границы между семантикой и прагматикой: семантика грамматического времени (которая рядом концепций объясняется прагматически); принципы ограничения сферы действия естественно-языковых кванторов; так называемые непересекающиеся (non-intersective) прилагательные и их семантика и др. Автор исследует ряд подходов (или кластеров теорий), предлагающих объяснение данным проблемам. Среди них два основных: контекстуализм и буквализм. Контекстуализм требует введения прагматических аспектов в семантику. Главным современным представителем контекстуализма является известный французский философ языка Ф. Реканати, работы которого практически не обсуждаются в отечественной философской традиции. Буквализм утверждает, что семантическое содержание высказываний – это то, что в них буквально сообщается, поэтому контекстно-зависимые прагматические факторы не могут оказывать какого-либо значимого влияния на семантическое содержание. К одному из подвидов буквализма относится такой известный современный философ языка, как Дж. Стэнли, чья концепция также рассматривается в обзоре.



В меньшей степени обзорной и в большей степени исследовательской является статья Востриковой «Проблема жесткой десигнации в семантике имен собственных» [Вострикова, 2013]. В ней автор формулирует и отстаивает так называемый метадескриптивный подход к семантике имен собственных. Данный подход заключается в экспликации имени собственного как определенной дескрипции, содержащей цитирование имени собственного, значением которого она является. Например, значением имени «Аристотель» является определенная дескрипция «человек, носящий имя “Аристотель”». Имена собственные, таким образом, согласно позиции автора, должны интерпретироваться как выражения, содержащие скрытый определенный артикль (подобно английскому the) и предикат (коим и является каждое имя собственное само по себе). Иными словами, по мнению автора, мы должны признать, что, говоря «Аристотель», мы имеем в виду «[the] Аристотель», и эта дескрипция тождественна дескрипции «[the] носитель имени “Аристотель”».

Данную концепцию Вострикова не просто постулирует, а подробно обосновывает, отличая от ряда других версий металингвистического дескриптивизма, а также защищая от ряда известных аргументов против имен как скрытых определенных дескрипций, сформулированных С. Крипке и некоторыми его последователями. Так, к важным доводам в поддержку металингвистического дескриптивизма, по мнению автора статьи, относятся: (i) тот факт, что в целом ряде естественных языков (среди которых испанский и некоторые диа-

лекты немецкого) имена собственные употребляются с артиклями; (ii) даже в тех языках, где такое употребление отсутствует в систематическом виде, существует набор случаев, где оно все же допустимо, причем не только с определенным артиклем, но и другими определителями (“the Smiths”, «некоторые Саши»); (iii) в естественном языке есть целый ряд случаев, когда имя собственное употребляется в значении «человек, именуемый так-то». (Здесь, пожалуй, парадигмальным примером будет приведенное Куайном предложение «Джорджионе так звали из-за его размера» (Giorgione was so-called because of his size) [Quine, 1953: 139].)

Металингвистический подход к семантике имен, по мнению Востриковой, дает простое и интуитивно понятное объяснение тому, почему оба предложения «Луис верит, что Супермен летает» и «Луис не верит, что Кларк Кент летает» могут быть истинными, не делая необходимым приписывание Луис противоречивости мышления (ибо Кент Кларк = Супермен). Защита от так называемого модального аргумента Крипке [Kripke, 1980], предлагаемая Востриковой, сводится к указанию на возможность манипулирования сферой действия определенной дескрипции: «Человек по имени Аристотель мог бы именоваться Аристотелем» может быть как всегда ложным (при de dicto прочтении), так и истинным (при de re прочтении определенной дескрипции).

Здесь, однако, остается непонятным, как автор объясняет случаи, при которых предложение «Аристотель мог бы не быть Аристотелем» рассматривается как ло-



гическое противоречие при наличии в мире оценки Аристотеля. Иными словами, если мы понимаем это предложение как всегда ложное, то, с точки зрения Востриковой, это возможно лишь при *de dicto* прочтении определенной дескрипции «человек, именуемый «Аристотель»». И тогда в каждом возможном мире, где есть тот или иной носитель имени «Аристотель», это предложение будет ложным. Однако в тех возможных мирах, где никто не носит имя «Аристотель», данное предложение не будет иметь истинностного значения. Это существенным образом отличается от того, что мы имеем, если рассматриваем имя собственное как обозначающее конкретного индивида. В описанной ситуации предложение «Аристотель мог бы не быть Аристотелем» будет ложным во всех мирах, а не только в тех, где кто-то носит это имя. И в этом, как мне представляется, заключается важная особенность семантики имен собственных, которая не вполне учитывается в аргументации по этому вопросу, приводимой Востриковой. Проще говоря, в описанной ситуации будут миры, в которых теория Востриковой будет прогнозировать, что предложение «Аристотель не Аристотель» не имеет истинностного значения, тогда как правильное предсказание иное – оно будет носить значение «ложь».

Автор, однако, признает, что простые предложения «Аристотель именуется Аристотелем» и «Человек по имени Аристотель именуется Аристотелем» имеют «различный модальный профайл» (первое – случайная истина, второе – логическая истина). Это рассуждение приводит ее к распро-

страненной концепции введения переменных по возможным мирам в интерпретацию предикатов, которые указывают на тот мир, в котором интерпретируется предикат. Коротко говоря, это приводит автора к утверждению о том, что переменная при предикате определенной дескрипции должна иметь особый постоянный индекс, указывающий на действительный мир. Поэтому значением «Аристотель» в мире w_0 становится дескрипция «человек, носящий имя «Аристотель» в мире w_0 ».

В таком виде теория Е.В. Востриковой действительно технически корректно задает значение имени собственного посредством определенной дескрипции. Однако, насколько я могу судить, это дается весьма высокой ценой, поскольку здесь определенная дескрипция уже перестает, строго говоря, быть определенной дескрипцией в ее стандартном понимании. Такая дескрипция уже не выбирает в каждом возможном мире тот единственный объект, который является элементом множества, обозначаемого предикатом этой дескрипции в этом мире. Во всех мирах такая дескрипция уже выбирает один и тот же объект независимо от его свойств в этом мире. Данная специфика делает дескриптивное содержание подобной дескрипции не «квалитативным» в чистом виде, а, наоборот, превращает ее по всем своим логическим характеристикам в жесткий десигнатор. Если так, то тогда вряд ли можно считать металингвистический дескриптивизм Востриковой дескриптивизмом в полной мере этого слова. Думаю, здесь не лишним будет вспомнить, что в рамках классических дискуссий между сторонни-



ками теорий дескриптивной и прямой референции данные темы обсуждались применительно к использованию оператора «действительно» в определенной дескрипции. Н. Сэлмон по этому поводу пишет: «Такие термины, как “действительный” (actual), являются в точности теми терминами, на которые распространяется теория прямой референции. Свойство действительного авторства [в случаях определения имени “Шекспир” как человека, в действительности являющегося автором “Гамлета” (т.е. который в действительном мире написал “Гамлета”). – П.К.] не является чисто квалитативным свойством, которого требует ортодоксальная [дескриптивистская] теория» [Salmon, 2005: 27]. Таким образом, как мне представляется, есть основания признать, что либо представленная в статье теория металингвистического дескриптивизма дает неверные предсказания (как было показано выше), либо она не является в полной мере дескриптивистской.

Более того, предложенное рассмотрение имен собственных как предикатов, являющихся лишь частью определенной дескрипции, делает весьма затруднительным определение самих имен собственных. Если мы говорим, что «Аристотель» – это предикат, входящий в дескрипцию «[the] Аристотель», то что же тогда обозначается термином «Аристотель»? Обозначает ли «Аристотель» индивидуальный объект? Если я правильно понимаю автора, то, согласно представленной теории, «Аристотель» не обозначает индивидуального объекта; индивидуальный объект обозначается всей дескрипцией. Но если так, то это значит, что «Аристотель» уже и не

имя собственное, а предикатный знак. Но мы ведь все же отличаем такие термины, как «Аристотель», от таких стандартных предикатов, как «сильный», «бежит» и др. Таким образом, принимая концепцию Востриковой, мы, как кажется, теряем возможность отличать такие термины, как «Аристотель», от таких терминов, как «сильный».

В указанной сложности есть и положительный аспект, который, на мой взгляд, является главной заслугой данной статьи. Автор наглядно показывает, что если строго и последовательно рассматривать имена собственные как конкретные выражения естественного языка, то следует признать, что данные *выражения* могут иметь вхождение как на позиции того, что в логической семантике считается именем, так и на позиции того, что в ней считается предикатом. А если так, то из этого следует, что имя собственное, о котором говорят философы и логики, это логико-семантическая категория и ее правильнее было бы обозначать «жестким десигнатором». В таком случае Вострикова права, а Крипке не прав, ибо такие естественно-языковые выражения, как «Аристотель», которые мы, тем не менее, считаем именами собственными, не всегда выполняют функцию жесткой десигнации. Иногда в естественных языках функцию жесткой десигнации выполняет не имя «Katja», а выражение «die Katja». Имена собственные в логическом смысле (т.е. индивидуальные константы) и то, что называется именами собственными в естественном языке, не всегда одно и то же.

Сказанное, однако, оставляет без ответа вопрос о том, что же тогда такое имена собственные в ес-



тественном языке. К счастью, его исследование не входит в задачи данной рецензии.

Заканчивая общий обзор, книги хотелось бы отметить некоторые особенности издания. Во-первых, как в ряде случаев следует из указаний самих авторов, некоторые тексты являются доработанными версиями работ, опубликованных ранее в периодических научных изданиях. Во-вторых, замет-

на недостаточно качественная работа редакции: в текстах довольно много опечаток и других ошибок, отсутствует унификация в написании фамилий отдельных западных философов (например, «Строссон» и «Строссон»).

В целом же хотелось бы еще раз подчеркнуть репрезентативный характер издания и высокий качественный уровень вошедших в него исследований.

Библиографический список

Антоновский, 2013 – *Антоновский А.Ю.* Коммуникация и наблюдение как универсальный биологический, нейрофизиологический и коммуникативный процесс // *Лингвистика, коммуникация и история: семантический анализ.* М., 2013. С. 16–30.

Антоновский, Никифоров, 2013 – *Лингвистика, коммуникация и история: семантический анализ*; отв. ред. А.Ю. Антоновский, А.Л. Никифоров. М., 2013.

Вострикова, 2013 – *Вострикова Е.В.* Проблема жесткой десигна-

ции в семантике имен собственных // *Лингвистика, коммуникация и история: семантический анализ.* М., 2013. С. 163–182.

Kripke, 1980 – *Kripke S.* Naming and Necessity. Cambridge, 1980.

Quine, 1953 – *Quine W.V.* Reference and Modality // *From a Logical Point of View.* N.Y., 1953.

Salmon, 2005 – *Salmon N.* Reference and Essence. 2nd edition. Armherst, N.Y., 2005.



РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И КУЛЬТУРА

RATIONALITY AND CULTURE

Виталий Валерьевич Болатаев – аспирант кафедры онтологии, логики и теории познания факультета философии НИУ ВШЭ. E-mail: v.v.bolataev@gmail.com

Vitaly Bolataev – graduate student at the Department of Ontology, Logic and Theory of Cognition of the Faculty of Philosophy of NRU HSE.

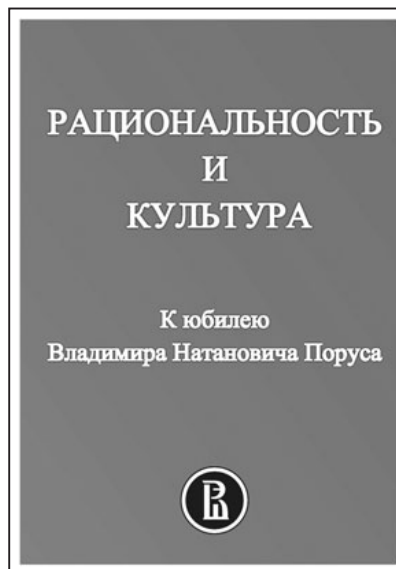
(Рецензия на книгу: Рациональность и культура. К юбилею Владимира Натановича Поруса ; отв. ред. Е.Г. Драгалина-Черная, В.В. Долгоруков. СПб. : Алетей, 2013. 326 с.)

(Review of: Racional'nost' i kul'tura; отв. red. E.G. Dragalina-Chernaya, V.V. Dolgorukov. SPb., 2013. – Rationality and Culture. Moscow, 2013.)

Коллективная монография, вышедшая к юбилею ординарного профессора и заведующего кафедрой онтологии, логики и теории познания Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Владимира Натановича Поруса, посвящена вопросам многогранности и парадоксальности рациональности в контексте современной культуры. Тема монографии выбрана не случайно, ведь Владимир Натанович Порус – один из самых известных и авторитетных исследователей проблематики рационального мышления и его взаимодействия с культурными ценностями и социальными нормами. Само название книги «Рациональность и культура» отражает основную сферу научных интересов ученого, косвенно подразумевая наличие связи между этими двумя понятиями философии. Совместная работа коллег и учеников юбиляра выступает в качестве продолжения многочисленных

исследований В.Н. Поруса в области эпистемологии, демонстрируя многообещающую перспективу дальнейших исследований о роли места рациональной философии в обществе. Сборник статей разделен на две части – «Рациональность культуры» и «Культура рациональности», каждая из которых предлагает различные фокусы рассмотрения рациональности.

Вступительная статья самого юбиляра примечательна тем, что все теоре-





тические положения используются при анализе актуальных примеров из современной жизни, рисуя отчасти пессимистичную картину кризиса вузовской философии. Особое внимание уделено тем нестандартным концепциям, которые манифестируют или частично подразумевают переход от старых методов академической профессиональной философии к новым проектам предметного поля философии, цель которых – воссоздать связь курсов философии с актуальной повседневностью научного сообщества. Автор подчеркивает связь кризиса философии с кризисом образования в целом, уделяя особое внимание вопросу о функции университета в современном обществе. Если университет – фабрика по производству специалистов, то философии, по мнению В.Н. Поруса, не остается места в культурном поле, а изменение институционализации знания очень долгий и кропотливый процесс, требующий рефлексии будущих поколений философов. На них в своей вступительной статье и надеется автор.

Статья Л.А. Микешиной во многом продолжает тематику парадоксальности рациональности, которую в своих работах проблематизировал В.Н. Порус: «Необходимо различать научную рациональность и ее методологические модели, которые создаются исследователями для разных целей и могут существенно различаться, не сводясь к “единственно правильной”». Догматическое следование таким моделям рациональности в свою очередь оказывается иррациональным. Такой парадокс рациональности, когда логическое обоснование не всегда является ра-

циональным, а рациональное не всегда имеет под собой достаточное логическое обоснование, позволил В.Н. Порусу заново сформулировать и творчески осмыслить проблемы конвенционализма как методологической концепции философии науки. Микешина не только описывает широкий исторический контекст конвенционализма, раскрывая теоретические особенности концепций К. Айдукевича, А. Пуанкаре, М. Вебера, Д. Дэвидсона, К.О. Апеля и Ю. Хабермаса, но и ставит вопрос о обусловленности конвенционализма социокультурными и ценностно-коммуникативными факторами, позволяя иначе взглянуть на статус рациональности в неклассической эпистемологии.

В своей статье «Рациональность: дополнительность и парадоксальность» И.Т. Касавин точно избирает ракурсы обсуждения природы рационального субъекта. Одним из таких ракурсов является сравнение рациональности с другими типами мышления и мировоззрения, например с традицией. Речь идет о социальном производстве знания как о выработке социальных смыслов не только познания, но и культурных феноменов, в котором когнитивные механизмы оказываются базисом культурного универсума. Чтобы более тщательно рассмотреть эту взаимосвязь, И.Т. Касавин предлагает обратиться к методу *grid-group analysis* М. Дугласа для классификации типов сознания разных социальных общностей. Принимая рациональность в качестве специфической структуры группы, И.Т. Касавин приходит к выводу о дифференциальной форме рациональности со сложной специализацией и про-



грессирующей профессионализацией, что в очередной раз подчеркивает парадоксальность рациональности, ее невозможность выйти за пределы наличных границ.

З.А. Сокулер в своей статье «Социальный конструктивизм, релятивизм и поиск истины» остроумно и эвристически плодотворно разграничивает релятивистские и классические теории истины. Ни отказать от классического понимания истины, ни ограничиться только им мы не можем – таков основной тезис статьи. Особое место в работе занимает анализ непосредственных интенций субъекта к поиску истины, основанных на авторской трактовке истинности как события, которое позволяет вписать социальный конструктивизм в контекст современных исследований культурной рациональности.

Совершенно другой подход к обсуждению проблемы парадокса рациональности предлагает Е.Г. Драгалина-Черная. Современная прагматика языка долгое время находилась за пределами интересов логических исследований, что было во многом обусловлено антиметафизической направленностью логического позитивизма. Аллергия на тавтологии и противоречия, по мнению автора, не позволяла переосмыслить значимость многих постулатов европейского рационализма предыдущих эпох. В качестве примеров такого рода продуктивных тавтологий Драгалина-Черная предлагает принцип «Cogito» Р. Декарта, который был заново интерпретирован выдающимся финским логиком и философом языка Я. Хинтикой с позиции анализа перформативности высказывания путем доказательства прагматической невозможности

его отрицания. Эта методологическая установка получила убедительную апробацию на конкретном историко-философском материале – знаменитом афоризме 6.54 «Логико-философского трактата» Л. Витгенштейна, который постулирует общую семантическую бессмысленность чтения самого текста, а неустранимость прагматических факторов из логики еще более подчеркивает оригинальность концепции парадоксальности В.Н. Поруса.

В статье С.С. Гусева рассмотрены основные философские проблемы «ограниченной» рациональности в качестве доминирующей формы рациональности. Авторский анализ формирования новых культурных условий привел к выводу о существовании новых типов рациональности, основанных на глобальном личном интересе познающего субъекта.

Тема границ рационального получила развитие в статье В.П. Зинченко, посвященной проблемам соотношения событийной и описательной психологии. Автор показывает, почему именно анализ событий является эвристически более продуктивным в вопросах анализа рационального мышления.

Вторая часть сборника начинается с совместной статьи Б.И. Пружинина и Т.Г. Щедриной «Антиномизм как принцип культурно-исторической эпистемологии, или Об одной линии преемственности в русской философии», которая посвящена традиции решения антиномий в русской философии. Сама культура во всех ее противоречивых (антиномичных) формах существования предстает для многих отечественных мыслителей как целостный рациональный феномен,



что не могло не найти отражения в творчестве юбиляра.

Культурным особенностям рациональности эпохи Просвещения посвящено весьма обстоятельное исследование А.Л. Доброхотова. Оно представлено в виде подробного культурно-исторического анализа понятия фантазии в традиции европейского рационализма и предлагает эксплицировать опыт высокого Просвещения в качестве пропедевтики «новой рациональности». Важный социальный фон сборнику придает статья В.К. Кантора «О необходимости в России бюрократии». Автор рассмотрел основные стратегии и механизмы формирования рационального типа бюрократии в России, затрагивая большой исторический пери-

од. В качестве главных фигур были выбраны отечественные мыслители, уделившие особое внимание бюрократии в своих работах.

Эссе Д.А. Шамис и М.В. Румянцева показывают, как пронесенные через всю жизнь идеалы рациональности культуры В.Н. Поруса привели к созданию целых философско-педагогических концепций и помогли сформировать новое поколение ученых в нашей стране.

Подводя итоги, следует отметить, что выход в свет сборника статей «Рациональность и культура» представляет собой важное и актуальное событие в процессе развития отечественной философии, а многогранность и вариативность концепций рациональности вызовут интерес у самого широкого круга читателей.

Памятка для авторов

1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При написании статей рекомендуется учитывать профиль издания и строить содержание и форму статьи применительно к одной из рубрик журнала. Предлагаемые материалы должны являться не опубликованными ранее научно-философскими текстами, обладающими актуальностью и новизной. Объем любого материала – до 1 а.л.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ:

- материалы принимаются по электронной почте в формате doc;
- файл с текстом статьи должен также содержать краткую аннотацию на русском языке (500–1000 знаков) со списком ключевых слов, название и аннотацию на английском языке (1500–2000 знаков) со списком ключевых слов, фотографию автора, информацию об авторе по образцу: *ФИО, ученая степень (если есть), ученое звание (если есть), должность и место работы. E-mail*;
- ссылки в низу страницы, сквозная нумерация;
- отдельный приставленный список использованной литературы (в дополнение к постраничным сноскам), в котором все источники указаны латиницей (т.е. русскоязычные транслитерированы).

В ССЫЛКАХ ОСТАВЛЯТЬ ТОЛЬКО СЛЕДУЮЩИЕ СОКРАЩЕНИЯ:

- нем., англ., амер., греч., лат. – и др. языки;
- пер. – перевод;
- соч. – сочинение, сочинения;
- кн. – книга;
- Т. – том;
- Ч. – часть.

СОКРАЩАЮТСЯ НАЗВАНИЯ ГОРОДОВ (В ССЫЛКАХ):

М., Л., СПб. – Москва, Ленинград, Санкт-Петербург.
L., P., N.Y., F.a.M. – Лондон, Париж, Нью-Йорк, Франкфурт-на-Майне.
Сначала идут русские названия (если есть), затем – названия на иностранном языке. Автор, название, место и год издания – Л., 1965; М., 1995. Работы отделяются друг от друга точкой с запятой (;). Если в библиографию включается статья, то книга или журнал, в которых она напечатана, приводится через знак //. Названия журналов – без кавычек, без курсива и без сокращений.
Иванов В. С. Либерализм Ф. Хайека. М., 1997; *Popper K.* Open Society. V. 1. Oxford, 1956.

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ СТАТЬИ

Материалы рассматриваются в течение трех месяцев двумя независимыми рецензентами и далее редколлегией, которая принимает окончательное решение о публикации.

4. МАТЕРИАЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:

journal@iph.ras.ru

5. По желанию автора ему может быть представлен мотивированный отзыв в случае отказа редакции журнала от публикации его статьи.
6. С автором текста, одобренного редколлегией, заключается договор о передаче ИД «Альфа-М» исключительных прав на его публикацию сроком на 1 год.

За публикацию материалов плата не взимается и гонорар не выплачивается.

Information for Contributors

All manuscripts are submitted by email and must be sent to: journal@iph.ras.ru.

Requirements for articles and book reviews:

Please, use DOC file type. Page size: A4. Font: Times New Roman, size 12. Do not double-space. Author information, abstract and key words must be sent in a separate file while another separate file containing the text must be devoid of personal data and prepared for the blind peer review. Please, use notes on the page they appear in the text. The list of references must follow the manuscript. In the text we prefer the references to be of the following style: author's last name (date), section or page(s).

The article's recommended size is 3000–6000 words.

Review and Publication Time

Evaluation time for manuscripts of articles by blind peer reviewers is up to 3 months. All evaluated materials can be revised by the editorial board within 3 months after evaluation. Publication time for approved materials is within 3 months. Total publication time is up to 9 months.

Unsolicited book reviews are invited. The standard size of a review is 1 thousand words.

Подписка

Уважаемые коллеги. Наш журнал распространяется как в розницу, так и по подписке. Журнал выходит ежеквартально. Годовая подписка состоит из 4 номеров.

Кроме того, в настоящее время альтернативную подписку журнала осуществляют: «Интерпочта» (Москва), «Информнаука» (Москва), «Красносельское агентство “Союзпечать”» (Москва), «Пресс Инфо» (Казань).

Читатели могут также получить любое количество номеров журнала (от 1 до 4 в год), лично обратившись в редакцию.

Индекс в каталоге Респечати: **46318**

Адрес редакции:

119991, Москва, Волхонка, 14/1, стр. 5
Институт философии РАН
Телефон: (495) 697-9576
Факс: (495) 697-9576
Электронная почта:
journal@iph.ras.ru

Адрес издательства:

127282, Москва, ул. Поляная, д. 31В,
стр. 1
Издательский Дом «Альфа-М»
Тел./факс: (495) 363-4260 (доб. 573)
Электронная почта: alfa-m@inbox.ru

Более подробную информацию см. на сайте журнала <http://iph.ras.ru/journal.htm>

Subscription Information

All potential subscribers from outside the Russian Federation or CIS countries must contact the editor: journal@iph.ras.ru.

Current rates for institutional subscribers: 270 USD per year, 80 USD per issue; for individual subscribers: 220 USD per year, 60 USD per issue.

For more information please see the journal's web page: eng.iph.ras.ru/journal.htm.

Эпистемология & философия науки. 2014. Т. XXXIX. № 1

Главный редактор чл.-корр. РАН *И.Т. Касавин*
Заместитель главного редактора д-р филос. наук *И.А. Герасимова*
Ответственный секретарь канд. филос. наук *П.С. Куслий*
Компьютерная верстка *О.С. Тониной*

Подписано в печать 04.03.2014
Формат 60 × 100 ¹/₁₆. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Печ. л. 16,0. Тираж 1000 экз. Заказ 119

Издательский Дом «Альфа-М»
Адрес: 127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1
Тел./факс: (495) 363-4260 (доб. 573)
E-mail: alfa-m@inbox.ru

Адрес редакции: 119991, Москва, Волхонка, 14/1, стр. 5
Институт философии РАН. Тел.: (495) 697-9576
Факс: (495) 697-9576. *E-mail:* journal@iph.ras.ru

Отпечатано в ООО «Аполлон принт»
Адрес: 127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1

Вниманию подписчиков

Редакция журнала «Эпистемология & философия науки» предлагает вашему вниманию книги:

- ✓ Дэвид Юм и современная философия ; под ред. И.Т. Касавина. – М. : Альфа-М, 2012. – 352 с. – (Библиотека журнала «Эпистемология и философия науки»).
(цена в издательстве 198 руб. включая НДС)
- ✓ Мышление ученого вчера и сегодня ; под ред. Л.А. Марковой. – М. : Альфа-М, 2012. – 358 с. – (Библиотека журнала «Эпистемология и философия науки»).
(цена в издательстве 176 руб. включая НДС)
- ✓ Проблема «Я»: философские традиции и современность ; под ред. В.Н. Поруса. – М. : Альфа-М, 2012. – 352 с. – (Библиотека журнала «Эпистемология и философия науки»).
(цена в издательстве 187 руб. включая НДС)
- ✓ Коммуникативная рациональность и социальные коммуникации ; под ред. И.Т. Касавина, В.Н. Поруса. – М. : Альфа-М, 2012. – 464 с. – (Библиотека журнала «Эпистемология и философия науки»).
(цена в издательстве 297 руб. включая НДС)
- ✓ Общество. Техника. Наука. На пути к теории социальных технологий ; под ред. И.Т. Касавина. – М. : Альфа-М, 2012. – 480 с. – (Библиотека журнала «Эпистемология и философия науки»).
(цена в издательстве 297 руб. включая НДС)
- ✓ Язык – знание – реальность ; под ред. И.Т. Касавина, П.С. Куслия. – М. : Альфа-М, 2011. – 352 с. – (Библиотека журнала «Эпистемология и философия науки»).
(цена в издательстве 187 руб. включая НДС)
- ✓ Энциклопедический словарь по эпистемологии ; под ред. И.Т. Касавина. – М. : Альфа-М, 2011. – 480 с. – (Библиотека журнала «Эпистемология и философия науки»).
(цена в издательстве 330 руб. включая НДС)
- ✓ Экзистенциальный опыт и когнитивные практики в науках и теологии ; под ред. И.Т. Касавина, В.П. Филатова, М.О. Шахова. – М. : Альфа-М, 2010. – 512 с. – (Библиотека журнала «Эпистемология и философия науки»).
(цена в издательстве 319 руб. включая НДС)
- ✓ Истина в науках и философии ; под ред. И.Т. Касавина, Е.Н. Князевой, В.А. Лекторского. – М. : Альфа-М, 2010. – 496 с. – (Библиотека журнала «Эпистемология и философия науки»).
(цена в издательстве 308 руб. включая НДС)

По вопросам приобретения книг следует обращаться в издательство «Альфа-М»:
127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1;
тел./факс: (495) 363-4270 (доб. 573); e-mail: alfa-m@inbox.ru